

UNIwersytet WarMińsko-Mazurski w Olsztynie
UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURY IN OLSZTYN

Acta
Polono-
Ruthenica

XXI



WYDAWNICTWO
UNIwersytetu WarMińsko-Mazurskiego
OLSZTYN 2016

Komitet Redakcyjny

Roza Alimpijewa (Kaliningrad), Ludmiła Babienko (Jekaterynburg), Jan Czykwin (Białystok),
Indira Dzagania (Suchumi), Wolfgang Gladrow (Berlin), Andrzej Ksenicz (Zielona Góra),
Czesław Lachur (Opole), Natalia Lichina (Kaliningrad), Leonid Malcew (Kaliningrad),
Walentina Masłowa (Witebsk), Joanna Mianowska (Bydgoszcz), Leontij Mironiuk (Olsztyn),
Vera Ozheli (Kutaisi), Walenty Piłat (Olsztyn, przewodniczący), Irena Rudziewicz (Olsztyn),
Tatiana Rybalczenko (Tomsk), Michał Sarnowski (Wrocław),
Izabella Siemianowska (Olsztyn, sekretarz), Andrzej Sitarski (Poznań),
Swietłana Waulina (Kaliningrad), Alicja Wołodźko-Butkiewicz (Warszawa)

Recenzenci

Franciszek Apanowicz, Nina Barszczewska, Iryna Betko, Jolanta Brzykcy,
Halina Chałacińska-Wiertelak, Wojciech Michał Chlebda, Jan Czykwin, Adam Fałowski,
Piotr Fast, Anna Horniatko-Szumiłowicz, Bronisław Kodzis, Stefan Kozak, Iwona Anna Ndiaye,
Grzegorz Ojcewicz, Joanna Orzechowska, Joanna Mianowska, Bogusław Mucha, Walenty Piłat,
Michał Sarnowski, Andrzej Staniszewski, Halina Twaranowicz, Wanda Zmarzer

Redaktor tomu
Walenty Piłat

Redaktor wydawniczy
Elżbieta Pietraszkiewicz

Projekt okładki
Barbara Lis-Romańczukowa

Adres redakcji
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM
ul. Kurta Obitzta 1, 10-725 Olsztyn
tel./fax 89 527 58 47, e-mail: acta.pol.rut@wp.pl

ISSN 1427-549X

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego • Olsztyn 2016

Wydawnictwo UWM
ul. Jana Heweliusza 14, 10-718 Olsztyn
tel. 89 523 36 61, fax 89 523 34 38
www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/
e-mail: wydawca@uwm.edu.pl

Ark. wyd. 21,8; ark. druk. 18,5
Nakład: egz. 120. Druk: Zakład Poligraficzny UWM w Olsztynie, zam. 411

Od Redaktora

Powinowactwa polsko-wschodniosłowiańskie wciąż fascynują literaturoznawców, językoznawców i kulturoznawców. Potwierdza to niniejszy zeszyt „Acta Polono-Ruthenica”. W całości jest to interesujący przegląd badawczy różnych aspektów wzajemnych powiązań i oddziaływań literatur, kultur i języków wschodniosłowiańskich.

Jak zawsze zachęcamy do współpracy z naszym periodykiem, licząc na interesujące i nowatorskie prace.

Prof. zw. dr hab. Walenty Piłat

Językoznawstwo

Aigul Bahanova, Lyudmila Kilevaya
Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny. Abaja w Aimacie
(Kazachstan)

Вербализация каритивной семантики в русском и польском экономическом дискурсе

Антропоцентрическое направление в лингвистике предопределяет исследование языка в неразрывной связи с его носителем. Это обуславливает возросший в последние десятилетия интерес к функциональной стороне языка, следовательно к семантике языковых единиц и полевым конструктам, структурирующим данную семантику. В лингвистической литературе последних десятилетий даже в связи со всплеском исследований по функциональной лингвистике практически не затрагивался вопрос организации языковых элементов со значением частного отрицания и лишения. В отличие от лишительной семантики, подробное описание в научной и учебной лингвистической литературе находит посессивная семантика. Выделяется даже отдельная категория посессивности, подробно анализируемая в функциональной грамматике. Оппозиционную же данной категории с общей семантикой „отсутствие принадлежности, необладание” впервые в лингвистике относительно недавно обозначает В.В. Иванов. При этом, анализируя формы выражения обозначенной семантики, ученый подчеркивает существенное отличие языкового отрицания, относящегося только к части предложения, от логического отрицания, передаваемого посредством отрицательной частицы *не* и относящегося ко всему предложению в целом: „С общелингвистической точки зрения интерес этих форм прежде всего состоит в том, что они могут выражать не глобальное отрицание, касающееся всего высказывания, а только отрицание обладания по отношению к предметам, обозначаемым отдельными локальными частями высказывания, не влияющими непосредственно на истинность или ложность всего утверждения в целом”¹. Иными словами, специфика форм

¹ В.В. Иванов, *Типология лишительности (каритивности)*, [в:] В.В. Иванов, Т.Н. Малошная, А.В. Головачева, Т.Н. Свешникова, *Этюды по типологии грамматических категорий в славянских и балканских языках*, Индрик, Москва 1995, с. 5.

со значением необладания, или, согласно устоявшемуся в лингвистической литературе термину, каритивных форм, состоит в том, что отрицание в высказывании является не предикативным, а локальным.

Как известно, предикативное отрицание имеет место в собственно отрицательных предложениях. Согласно данным исследований, предикативное отрицание передается посредством частицы *не* при глаголе-сказуемом (*трудностей не встречается*), слова *нет* (*нет времени*); слов категории состояния *нельзя*, *невозможно*, *немыслимо* (*Нельзя пройти*; *Немыслимо забыть*; *Невозможно разговаривать*); частицы *ни* (*Ни души*); отрицательных местоимений *никто*, *ничто*; местоимения-прилагательного *никакой* (*Ничего нового*; *Никаких проблем*)². В представленных случаях полностью отрицается предикативный признак, что придает отрицательное значение всему предложению. Каритивное же значение связано с частным отрицанием, при котором отрицается не самое действие, не вся ситуация в целом, а лишь какая-то ее часть, на основании чего отрицание приобретает частный характер, например: *Не брат ходил в библиотеку*; *Брат ходил вчера не в библиотеку*³.

Каритивная семантика представляет собой важный признак категории лишительности, которая в исследованиях ученых интерпретируется как оппозиционный коррелят категории посессивности (притяжательности)⁴, что, на наш взгляд, является, однако, не бесспорным. Ведь к такой интерпретации приводит отождествление категорий каритивности и лишительности. В то же время данные категории отличаются своим доминирующим категориальным признаком. Для категории лишительности таковым является каузативный показатель реализации действия, для категории каритивности – значение частного отрицания, необладания.

Определение категории лишительности как семантической категории обуславливается тем, что она включена в систему понятийных категорий носителей флективного и агглютинативного типов языков.

В настоящее время назрела необходимость систематизации вербальных средств воплощения категории лишительности в виде функционально-семантического поля в конкретном языке. Иными словами, актуальным представляется выявление формальных средств воплощения данной категории, следовательно, границ функционирования ее вербальных

² Русская грамматика, т. 2: Синтаксис, Наука, Москва 1982, с. 402–405.

³ Ibidem, с. 408.

⁴ В.В. Иванов, *op. cit.*, с. 5.

показателей. Определенные усилия исследователей в данном направлении имеют место применительно к каритивной семантике на материале русского языка, что позволяет в дальнейшем произвести такого рода исследования относительно семантики лишительной с целью их разграничения. Подробный анализ в сопоставительном аспекте дает возможность выявить типичные языковые единицы, используемые для вербализации рассматриваемых категорий.

В представленной статье произведена попытка обозначения вербальных компонентов каритивной семантики на материале русского и польского языков, поскольку корпус языковых единиц со значением каритивности в русском и польском языках до настоящего времени не получил своего обозначения ни с точки зрения наполняемости, ни с точки зрения статуса.

Поскольку в семантической категории отражается состояние окружающей действительности, необходимым представляется выявление и анализ языковых фактов в экономическом дискурсе. Данный дискурс отражает реальное состояние дел в экономике, от которого состоит благосостояние населения страны. Таким образом, предметом исследования выступает комплекс языковых единиц с каритивной семантикой в аспекте их функционирования в экономическом дискурсе. Под дискурсом понимается совокупность текстов, отражающих социальные, культурные и глобальные изменения в мире и способных управлять социальными последствиями. Экономический дискурс представляет собой фрагмент общего дискурса.

Фактическим материалом исследования служат языковые единицы с каритивной семантикой и тексты экономических газет, в которых отражено частное отрицание в разных его вариантах. Было проанализировано 220 языковых единиц, извлеченных из 42 текстов казахстанских русскоязычных газет и польских газет. Отбор фактического материала производился как методом сплошной выборки, так и избирательным методом. Источниками фактического материала послужили материалы казахстанских газет экономической тематики: „Я покупатель и собственник”, „Деловой Казахстан”, „Экономика”. Данные газеты представляют собой интересы как государственной власти, в частности „Деловой Казахстан”, так и оппозиционеров РК („Я покупатель и собственник”). Отбор статей в газетах разнонаправленной ориентации позволяет сопоставить степень функциональной значимости языковых единиц с каритивной семантикой в экономическом дискурсе внутри разных

идеологий. Фрагменты польских текстов извлекались главным образом из экономического блока газеты „Rzeczpospolita”.

Проанализированный материал свидетельствует о том, что праславянский язык, как общий источник русской и польской языковых систем, обеспечивает идентичность семантического пространства в области отрицания обладания по отношению к предметам или явлениям, обозначаемым отдельными частями высказывания. Анализ каритивной семантики данных языков и вербальных средств ее выражения свидетельствует о том, что она передается двумя типами отрицания: аффиксальным и словесным. К ним относятся приставки, лексические единицы со значением необладания, глаголы перформативной семантики, предлоги типа *bez/без*, обособленные дополнения и другие компоненты. Широким спектром союзов в русском и польском языках представлены придаточные части со значением уступительности, участвующие в формировании каритивной семантики. Это прежде всего польский союз *mimo że*, тождественный русскому союзу *несмотря на то что*.

Применительно к русской языковой системе к аффиксальному отрицанию, с опорой на исследования А.И. Мельчука, Ю.Д. Апресяна, В.В. Иванов относит прилагательные с приставкой *не-* типа *недобрый, небольшой, немалый* и под; существительные с этой же приставкой типа *неволя, неверие, недуг, немощь, неправда, неприязнь, нечисть*, а также существительные и прилагательные с приставкой *бес-*: *бесслаvie, бессмертный, безрукий, безногий*⁵. По нашим наблюдениям, значима также в воплощении каритивной семантики роль префикса *у-*: *убогий, удушье*. Данные приставки можно интерпретировать в качестве формальных критериев, позволяющих выявлять каритивную семантику.

Согласно нашим наблюдениям, в равной степени регулярностью в русском языке отличается приставка *вы-*, употребляемая в составе глаголов, например: *вымести столовую* – ‘лишить столовую сора’; *выбить пыль из покрывала* – ‘лишить покрывало пыли’; *выскрести остатки пищи из сковороды* – ‘лишить сковороду остатков пищи’.

По располагаемым данным, в аффиксальном типе частного отрицания в русском и польском экономическом дискурсе превалируют лексемы с приставкой *bez/без* и предложно-падежные сочетания с соответствующими предлогами, что, на наш взгляд, обусловливается общекризисной ситуацией стран мира и ее последствиями, одним из которых является

⁵ Ibidem, с. 11–13.

безработица. Знаменательна в этом плане польская статья *Dwa miliony bezrobotnych*, в которой мы произвели выборку и дальнейший количественный анализ. Оказалось, что на 58 знаменательных слов одного абзаца в ней приходится около 5 слов каритивной семантики, наиболее распространенными из которых является сама лексема *bezrobocie*. Вот только некоторые из примеров: *Wniosek o uwolnienie środków na aktywną walkę z bezrobociem już w przyszłym tygodniu ma trafić na biurko Jacka Rostowskiego*; *Dla tego trzeba zrobić wszystko, aby pomóc ludziom **bez pracy***; *W ustawie zapisano też konkretne możliwości pomocy dla osób długotrwale **bezpracownych*** [Rzeczpospolita, 9.07.2013, № 158, с. А7].

К словесному типу частного отрицания, необладания В. В. Иванов относит слова типа *холостой*, универсальное отрицательное слово *нет*⁶. Сюда же, на наш взгляд, следует отнести прилагательное *нищий* и содержащие перформативную семантику глаголы русского языка *лишить*, *отсутствовать*, *терять*, *утратить*; глаголы польского языка *brakować*, *oszczędzać*, *pozbawiać*, *gubić*, *spadać*, *zwołnić*, *kończyć*, *zmniejszyć* и соответствующие отглагольные образования. Согласно исследованному материалу, к словесному типу каритивных форм относятся также лексемы *убивать*, *исчезать*, *выбросить*. Приведем следующий иллюстративный материал: (об отдыхе на Алаколе) *Но прилагаемый к этому великолепию прямо-таки нещерный сервис желание повторить этот отдых **убивает** напрочь* [„Я покупатель-собственник”, 27.04.2012, № 17, с. 1]; *Вмешательство человека в сложную экосистему природного парка, где обитают многие виды **исчезающих** и редких растений и животных, в любом случае приведет к необратимым последствиям* [„Я покупатель-собственник”, 27.04.2012, № 17, с. 1]; *велик риск **выбросить** огромные суммы просто на ветер* [„Я покупатель-собственник”, 27.04.2012, № 17, с. 1]. Промежуточную позицию занимают глагольные лексемы типа *сократить* и отглагольные существительные, в частности *затрата*, *ограничение*, *срыв*, *износ*, *отпуск*. Важно подчеркнуть, что в экономическом дискурсе казахстанских русскоязычных газет данные лексемы выделены в пределах одной статьи. Словесный тип отрицания наблюдается также в польском экономическом дискурсе: *W budżecie wojewódzwa **brakuje** dziś ponad 300 mln zł* [„Rzeczpospolita”, 9.07.2013, № 158, с. А3]; ***Oszczędności** w OFE znaczenie częściej jako własne traktują zarówno przedsiębiorcy, pracownicy umysłowi...* [„Rzeczpospolita”, 9.07.2013, № 158, с. А3]; *Moim zdaniem to skutek tego,*

⁶ Ibidem, с. 13.

że kończą się już pieniądze na aktywizację zawodową, a gospodarka bardzo silnie zwolniła. [„Rzeczpospolita”, 9.07.2013, № 158, с. А7]; *Niemiecki eksport do państw strefy euro zmniejszył się w maju o 9,6 proc.* [„Rzeczpospolita”, 9.07.2013, № 158, с. А7].

С точки зрения передачи каритивной семантики словесного типа требуют интерпретации прилагательные типа *слепой*, *глухой* и их польские соответствия *głuchy*, *ślepy* в их прямом значении, то есть в виде определения, применяемого к человеку. Встает вопрос: насколько абсолютным является каритивное значение в данных прилагательных с точки зрения современной методологии? Постструктуралистский подход не позволяет положительно ответить на поставленный вопрос. Подтверждением служат конструкции, приводимые Ю.Д. Апресяном при анализе синонимической семантики типа *Она притворялась глухой; Она симулировала полную потерю слуха; Она делала вид, что глуха; Ее глухота была притворной*⁷. В приведенных конструкциях прилагательное *глухой*, не утрачивая своего лексического значения, обозначает признак, не присущий данному субъекту, что свидетельствует об отсутствии в нем каритивной семантики в рассматриваемом контексте. Это обуславливает то обстоятельство, что выявлять каритивную семантику в словесном типе языковых единиц целесообразнее в контекстных или конситуативных условиях.

Приведенное утверждение в равной мере относится к лексемам с семантическим критерием „отнятие чего-либо”, передаваемым глаголами *воровать*, *грабить* в русском языке и глаголами *kraść*, *grabieć* в польском языке. В данных глаголах заложена валентность перехода действия на „некоторый отбираемый объект”. Однако реальность действия, связанного с насильственным лишением субъекта чего-либо, зависит от истинности или ложности высказывания. В равной мере обозначенные факторы влияют на сохранение каритивной семантики в русских глаголах типа *продать*, *истратить деньги* и соответствующих польских глаголов *sprzedać*, *wydać pieniądze*.

Особо следует подчеркнуть, что в оппозиции „лишение-приобретение” первый компонент, несмотря на семантику каритивности, в экономическом дискурсе способен передавать положительные процессы или явления. Это касается, в частности, высказываний с глаголом *устранить* и его образованиями, который в своей семантике содержит сему „изъятие

⁷ Ю.Д. Апресян, *Избранные труды*, I: *Лексическая семантика*, Школа „Языки русской культуры”, Издательская фирма „Восточная литература” РАН, Москва 1995, 472с.

определенных неполадок”. В данном случае речь идет о так называемом двойном отрицании, являющемся специфической принадлежностью современного русского языка. В отличие от представленных выше языковых единиц со значением лишительности, имеющих негативную коннотацию, глагол *устранить* наделен положительной коннотацией. При этом категориальная ситуация, в которой он функционирует, ограничена его семантико-синтаксической связью со словом каритивной семантики, чаще всего существительным с приставкой *не-*, например: *все оплошности и недодделки строителей, которые допустили при ремонте домов в прошлом году, будут **устранены** в этом году за счет подрядчиков; Дополнительных денег за **устранение недоработок** строителей с жильцов домов **взиматься не будет*** [„Я покупатель-собственник”, 27.04.2012, № 17, с. 3]. Из приведённых примеров вытекает, что в пределах категории лишительности глаголы *взимать*, *взиматься* и их синонимы *взять*, *брать*, а также соответствующие отглагольные образования заслуживают особого рассмотрения. Приведем подобный пример: *И только после этого начнем заниматься возвратом **взятых** населением в кредит денег* [„Я покупатель-собственник”, 27.04.2012, № 17, с. 3].

Даже самый общий обзор языковых средств, воплощающих каритивную семантику, свидетельствует о достаточной степени размытости ее вербализации, не позволяющей обозначить определенную системность в кругу выявленных языковых средств. Во многом это обуславливается размытостью определения термина „каритивность” в лингвистических источниках, некоторой фрагментарностью фактов о смежной с ней категорией лишительности, которая до настоящего времени не актуализируется в них, а затрагивается лишь попутно, наряду с основными положениями по семантике. Так, важным аспектом проблемы является вопрос о статусе категории лишительности.

Подчеркнем, что автор идеи категории лишительности В.В. Иванов определяет ее то как грамматическую категорию, то вовсе игнорирует этот вопрос⁸. Мы интерпретируем данную категорию, наряду с категорией каритивности, как семантическую категорию в силу того, что вышеуказанные вариантные языковые значения соответствуют общему инвариантному значению, что укладывается в понятие семантической категории, обозначенной в трудах А.В. Бондарко⁹. Базирующиеся на данной

⁸ В.В. Иванов, *op. cit.*, с. 64.

⁹ А.В. Бондарко, *Теория функциональной грамматики: Введение, аспектуальность, временная локализованность*, УРСС, Москва 2003, с. 12.

семантической категории языковые единицы относятся как к грамматике, так и к лексике. Они взаимодействуют между собой на основе общности семантической функции, что определяется в лингвистической литературе как функционально-семантическое поле¹⁰.

В противоположность сказанному трудно уложить билатеральный комплекс плана содержания и плана выражения категории лишительности в понятие грамматической категории. Грамматическая категория предполагает объединённый на основе общей семантики комплекс оппозиций, проявляемых в противопоставленных друг другу грамматических значениях. В то же время отчетливо прослеживаются черты, свойственные семантической категории: понятийность, фокусирующая на функционально-семантическое поле. Не случайно категорию лишительности можно интерпретировать в аспекте оппозиции категории посессивности (принадлежности), определяемой в лингвистических источниках как семантическая.

Произведенное описание комплекса вербального воплощения каритивной семантики в русской и польской языковых системах в свете теоретических выкладок позволяет утверждать, что, составляя ядерную часть семантической категории каритивности, она передается целым комплексом языковых средств, которые организуют соответствующее функционально-семантическое поле в русском и польском языках. При всей нерешенности проблемы ядерного и периферийных компонентов поля представленный анализ эффективен в том смысле, что он выявляет достаточную тождественность вербализации каритивной семантики в славянских языках, представляющих разные языковые группы внутри славянской ветви. Это, безусловно, сможет способствовать дальнейшим поискам в структурировании поля каритивности. Вместе с тем приведенные вербальные средства представляют собой лишь часть того арсенала, благодаря которому достигается передача каритивной семантики в русском и польском языках, что свидетельствует о необходимости дальнейших исследований в этом направлении.

¹⁰ Ibidem, с. 11.

Streszczenie

Werbalizacja semantyki karytywnej w rosyjskim i polskim dyskursach ekonomicznych

Celem artykułu jest analiza środków językowych stosowanych w rosyjskim i polskim dyskursie ekonomicznym na podstawie artykułów publikowanych w rosyjskojęzycznych gazetach Kazachstanu oraz w gazetach polskich. Punktem centralnym rozważań jest semantyka karytywna, interpretowana jako główna część kategorii pozbawienia. Stwierdzono, iż w rosyjskim i polskim dyskursach ekonomicznych wykorzystuje się identyczne środki językowe, co jest efektem wspólnego pochodzenia wybranych systemów językowych z języka prasłowiańskiego oraz zbliżonej interpretacji stanu ekonomicznego w Kazachstanie i Polsce.

Summary

The verbalization of karitive semantic in Russian and English economic discourse

The paper analyzes the linguistic means incarnation karitive semantics in Russian and Polish economic discourse. The material of the study uses data Kazakh Russian-language newspapers and Polish newspapers. Karitive semantics interpreted as the nuclear part of the category of lackness. In Russian and Polish speech activity on economics, used identical language units. This is due to a common origin of language systems, dating back to the pre-Slavic language, and with respect to the interpretation of the general problems of the economy in Kazakhstan and Poland.

Key words: Karitive semantics, lackness, discourse, semantic category, the possessive.

Kamil Dwornik
Uniwersytet Warszawski

Stanowisko ks. Josyfa Łewyckiego (1801–1860) w sporze o alfabet języka ruskiego (ukraińskiego) w Galicji w latach 30. i 40. XIX wieku*

Wprowadzenie

Ruch narodowy Rusinów galicyjskich, jak w większości przypadków w XIX wieku w Europie Środkowo-Wschodniej, w swojej pierwszej fazie koncentrował się bardzo silnie na kodyfikacji języka. Kwestia ta była dosyć skomplikowana, ponieważ działacze narodowi musieli wybrać, co ma stanowić podstawę ustandaryzowanego języka: teksty literackie czy tzw. żywa mowa ludu. Dyskusja nad tym dylematem zeszła nieco na drugi plan po opublikowaniu w 1834 r. przez grekokatolickiego duchownego Josyfa Łozynskiego (1807–1889) artykułu *O wprowadzeniu abecadła polskiego do pismnictwa ruskiego*¹. Ukazał się on we lwowskich „Rozmaitościach”, które wcześniej publikowały już teksty ruskojęzyczne alfabetem łacińskim, tak aby były one zrozumiałe dla polskiego czytelnika. Na łamach gazety ukazały się na przykład pieśni Tomasza Padury (1801–1871)². Czasopismo pozytywnie odniosło się także do zbioru *Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego* Wacława Zaleskiego (1799–1849), który również użył łacinki do zapisu pieśni ruskich³. O ile próby Polaków drukowania polskim abecadłem języka ruskiego dla polskich czytelników nie budziły zastrzeżeń, o tyle poważna propozycja rezygnacji z cyrylicy ze strony Rusina sprowokowała burzliwą dyskusję określaną później jako *азбучна війна* (wojna

* Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych Rzeczypospolitej Polskiej na naukę w latach 2012–2015 jako projekt badawczy nr DI2011 006541 w ramach programu dla młodych naukowców pod nazwą „Diamantowy Grant”.

¹ J. Łoziński, *O wprowadzeniu abecadła polskiego do pismnictwa ruskiego*, „Rozmaitości” pismo dodatkowe do „Gazety Lwowskiej” 1834, nr 29, s. 228–230.

² *Pieśni Józefa [sic!] Padurzy w dyalekcie mało-ruskim*, „Rozmaitości” pismo dodatkowe do „Gazety Lwowskiej” 1832, nr 48, s. 394–393; *Jeszcze jedna pieśń Padurzy*, „Rozmaitości” pismo dodatkowe do „Gazety Lwowskiej” 1833, nr 13, s. 112–113.

³ W. Zaleski, *Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego*, Lwów 1833.

abecadłowa). Oprócz wspomnianego Josyfa Łozynskiego wzięli w niej udział Rusini: Denys Zubryckij (1777–1862), Josyf Łewyckij i Markijan Szaszkewycz (1811–1843), a także literaci z polskiej grupy „Ziewonia” – August Bielowski (1806–1876) i Lucjan Siemieński (1807–1877). W niniejszym artykule szerzej przedstawiono postać i argumenty Josyfa Łewyckiego.

Ksiądz Josyf Łewyckij urodził się w 1801 r. w Baranczyczach, a zmarł w 1860 w Nahujewyczach. W wieku 24 lat ukończył greckokatolickie seminarium duchowne w Wiedniu (*Barbareum*) i został kapelanem biskupa przemyskiego Iwana Snihurskiego (1784–1847), z polecenia którego utworzył chór cerkiewny⁴. Od 1 września 1832 r. do 17 marca 1834 r. kierował drukarnią władzy w Przemyślu⁵. Następnie pełnił posługę kapłańską we wsi Szkło. W 1834 r. wydał swoją pierwszą gramatykę: *Grammatik der ruthenischen oder kleinrussischen Sprache* oraz wystąpił przeciwko próbie latinizacji pisma języka ruskiego w krótkim dziele *Odpowiedź na zdanie o zaprowadzenia abecadła polskiego do piśmiennictwa ruskiego*⁶. Zostało ono wydrukowane w typografii przemyskiej i kolportowane jako dodatek do 52 numeru „Rozmaitości” na rok 1834.

Trudno ustalić, dlaczego Josyfowi Łewyckiemu nie umożliwiono opublikowania artykułu na takich samych prawach, jak pół roku wcześniej inicjatorowi latinizacji, Josyfowi Łozynskiemu. Zdaniem Wasyla Szczurata (1871–1948) pomysł wprowadzenia łacinki był bardzo żywo popierany w redakcji „Rozmaitości”, a dystrybucja polemiki razem z czasopismem mogła być powodem odejścia redaktora Mykoły Mychałowycza (1792–1846). Następny numer (1 na rok 1835) był już redagowany przez konserwatywnego Polaka Jana Nepomucena Kamińskiego (1777–1855)⁷.

Spora część argumentów w *Odpowiedzi...* Josyfa Łewyckiego była powtórzeniem *Apologii Cyryliki czyli Azbuki Ruskiej* autorstwa historyka Denysa Zubryckiego, która krążyła wśród Rusinów w anonimowych odpisach. Nie można tutaj jednak mówić o plagiacie. Josyf Łewyckij zapewne chciał zebrać wszystkie argumenty w mocnej polemice, która ostudziłaby zapal zwolenników abecadłowej

⁴ В. Пилипович, *Єпископ Іван Снігурський в літературі перемиського бідермасру*, Перемиський відділ ОУП, Перемишль 2009, s. 131.

⁵ Archiwum Państwowe w Przemyślu (APP), nr zespołu 143 „Kapituła Greckokatolicka w Przemyślu”, sygn. 165: *Inwentarz narzędzi, pism i innych sprzętów drukarni biskupiej przemyskiej przynależnych z końcem roku 1840*, s. 1.

⁶ J. Lewicki, *Odpowiedź na zdanie o zaprowadzenie abecadła polskiego polskiego do piśmiennictwa ruskiego*, „Rozmaitości” pismo dodatkowe do „Gazety Lwowskiej”, 1834, nr 52, wkładka s. 1–4.

⁷ М. Возняк, *Авторство азбучної статті з 1834 р.*, „Записки Науково Товариства імені Т. Шевченка”, 1925, t. 136–137, s. 109.

reformy. Za pośrednictwem „Rozmaitości” dotarłaby również ona do zainteresowanych tą kwestią Polaków. Tezy Łewyckiego, które wyszły w niewielkiej broszurce, można podzielić na historyczno-kulturowe i przede wszystkim językowe.

Argumenty historyczno-kulturowe

Duchowny zwrócił uwagę na bardzo długą tradycję historyczną cyrylicy, która została przecież stworzona specjalnie dla Słowian. Zdaniem Łewyckiego opracował ją jeden z braci sołuńskich św. Cyryl (Konstanty Filozof). W tym czasie było to powszechne przekonanie nie tylko wśród gminu i duchownych, ale również uczonych sławistów. Tymczasem Polacy, zdaniem Łewyckiego, pożyczili swój łaciński alfabet i musieli go dostosować przez dołączenie znaków diakrytycznych, przez co dla parocha ze Szklą nie używali już „prawdziwego” pisma Rzymian. Co więcej, początkowo pisali i drukowali swoje książki nieczytelnymi czcionkami gotyckimi.

Jak podkreślił Łewyckij w swojej polemice, pismo cyrylickie było używane na ziemiach ruskich od IX wieku aż do czasów obecnych. Przetrwało ono pomimo wprowadzenia w 1697 r. w Wielkim Księstwie Litewskim języka polskiego jako urzędowego. Cyrylicy używano w kancelarii książęcej, w korespondencji szlachty i magnatów. Natomiast pierwsza książka została wydrukowana cyrylicą w roku 1491 przez Szwajpoltę Fiola (?–1525/6) w Krakowie.

Duchowny ze Szklą powołuje się również na powszechnie znane autorytety zagranicznych sławistów, m.in. Czecha Josefa Dobrovskiego (1753–1829), który miał stwierdzić, że litery cyrylickie najlepiej oddają dźwięki słowiańskie. Co więcej, w swoich pracach wybitny sławista wykorzystywał mieszany alfabet. Głoski, które nie można było zapisać za pomocą alfabetu łacińskiego, zapisywał cyrylicą.

Dla Łewyckiego jako duchownego nie bez znaczenia był również fakt, że to cyrylicą zapisywano księgi liturgiczne. Był to więc jeden z elementów obrządku greckokatolickiego – czynnika, który wyznaczał ówczesnie identyfikację narodową.

Polemista powtarza argument Denysa Zubryckiego, że książki drukowane alfabetem łacińskim pojawiały się już wcześniej w wyniku polonizacyjnych zaopędów władzy po przyjęciu unii brzeskiej oraz z powodu braku funduszy na zakup bardzo drogich czcionek przez drukarnie:

Typografie nie posiadając drogich druków ruskich, a chcąc zaopatrzyć w towar waleśających się po odpustach kramarzy, robiły takowe nakłady, towar popłacał,

gawieź pobożna lecz ruskiego piśmiennictwa nieświadoma skwapliwie kupowała nabożne pieśni i modlitwy ruskie.⁸

Należy podkreślić, że dla niepotrafiącej czytać, głęboko wierzącej ludności wiejskiej samo posiadanie książki ze świętym obrazkiem miało wielkie znaczenie. Z inwentarza drukarni biskupa greckokatolickiego w Przemyślu wynika, że dysponowała ona czcionkami cyrylicy już w grudniu 1832 r.⁹ Niektórzy badacze uważają, że mogła tłoczyć książki cyrylicą nawet rok wcześniej¹⁰. Ksiądz Łewyćkyj zadaje w swojej polemice pytanie, kto sfinansuje przedruk wszystkich ruskich książek na łacinkę. Jeśli ich się nie przedrukuje, to wraz z zanikaniem umiejętności czytania cyrylicy Rusini będą tracić kontakt ze swoją przeszłością.

Duchowny ze Szkoła chwali intencje pomysłodawcy latynizacji, ks. Josyfa Łozynskiego, związane z chęcią rozślawienia dzieł ruskojęzycznych w Europie. Niemniej jednak projekt zwiększenia dostępności literatury przez przyswojenie cudzego alfabetu ocenia jako utopijny. Jak zauważa, w Europie istnieją różne języki i każdy ma swoją ortografię. Na przykład Niemcy czytają z jak [c]. Nawet Słowianie Zachodni, tj. Czesi i Polacy, nie mają takich samych liter na te same dźwięki, jak na przykład [ż].

[Czyż] Niemcy przez używanie druku szwabachskiego i przez swój różny od łacińskiego [sic!] skoropis [...] zamknęli się w skorupie? I przeciwnie, czyliż więcej czytają dzieła węgierskie, czeskie, polskie, illiryjskie, słoweńskie, [c]horwackie, dla tego, że narody te piszą łacińskimi głoskami? I czyż Serbowie będąc podzieleni na różne partie [...] mogą mieć nadzieję na posiadanie literatury? Podobnie, czyli ięzyk Wołochów [tj. Rumunów] stał się już literackim z powodu, że od niejakiego czasu, zamiast cyrylicy zaczęli używać łacińskich druków?¹¹

W wymienionym wyżej spisie warto zwrócić uwagę, na Rumunów. Duchowni greckokatolicy z tzw. Szkoły Siedmiogrodzkiej (rum. *Școala Ardeleană*), uznając, że język rumuński jest jednym ze spadkobierców łaciny, zdecydowali się zmienić alfabet cyrylicy na zmodyfikowaną łacinkę.

Jak uważa Łewyćkyj, to nie zmiana alfabetu, ale wybitne dzieła i ich dobre przekłady na inne języki rozślawiają Rusinów w Europie. Istotne jest, że duchowny

⁸ J. Lewicki, *Odpowiedź na zdanie...*, s. 1.

⁹ APP, nr zespołu 143 „Kapituła Greckokatolicka w Przemyślu”, sygn. 382: *Drukarnia biskupa: spis rzeczy drukarni inwentarza 1830–1856*, s. 6.

¹⁰ A. Siciak, *Druki przemyskie 1754–1939. Bibliografia publikacji polskich, niemieckich, węgierskich, francuskich oraz żydowskich i ukraińskich wydanych alfabetem łacińskim*, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, Przemyśl 2002, s. 25.

¹¹ J. Lewicki, *Odpowiedź na zdanie...*, s. 1.

dostrzegł, iż nowy alfabet może doprowadzić do rozłamów w społeczności Rusinów galicyjskich, co uniemożliwiłoby przeciwstawienie się dominującej pozycji Polaków.

Argumenty językowe

Najwięcej uwagi ksiądz Łewyćkyj poświęcił krytyce zastosowanych uproszczeń w ortografii, zwłaszcza że uważał, iż język ksiąg cerkiewnych to prawdziwy język ruski sprzed wieków. W takim duchu była również napisana jego gramatyka. Rozbieżności między żywą mową ludu a językiem tekstów wyjaśniał następująco:

[...] lecz ci Grammatycy, postawiwszy prawo [...] za nadto surowo trzymali się onegoż, lud zaś pospolity nieznający pisma, niezważał na to, tylko mówił według zwyczajnej jednej formy i tych przypadkach, do czego przyczyniły się niektóre zestarzałe formy przy słowie (verbum) i z tąd teraz wydają się te Grammatyki staroruskie, nie ruskimi.¹²

Największą zaletą cyrylicy, zdaniem parocha ze Szklä, była możliwość oddania za jej pomocą wszystkich głosek języka ruskiego. Na zarzuty podniesione przez Łozynskiego, że niektóre dźwięki, jak na przykład [z] są przedstawiane za pomocą więcej niż jednej litery, Łewyćkyj odpowiadał, że należy je w takim razie wymawiać różnie.

Przeciwnik polskiego abecadła podkreślił również, że adoptowanie łacinki i wprowadzenie zasady „jeden dźwięk – jedna litera” wywoła eksplozję homonimów (*забила* [zabyła] – zabiła, *забыла* [zabyła] – zapomniała), której przy dotychczasowym alfabecie można uniknąć. Nie przekonuje Łewyćkiego częściowe panaceum na tę przypadłość abecadła w postaci oznaczania akcentów poziomą kreską (tzw. makronem). Jego zdaniem dodatkowo to skomplikuje ortografię.

Łewyćkyj zgadzał się z Łozynskim, że przedstawienie sylaby [jo] na piśmie jest problematyczne. Proponował pożyczyć z języka rosyjskiego literę *ѣ* dla oznaczenia tej sylaby w języku Rusinów, a nawet nie wykluczał zastosowania metody Vuka Karadžicia przez wprowadzenie łacińskiej litery *j* i pisanie jej przed *o*. Podobny problem dotyczył sposobu zapisywania sylaby [je] na początku wyrazów. Rozwiązanie proponowane przez Serba, czyli *je* pojawiło się w tytule panegirycznego utworu Łewyćkiego *Стих во честь Jego Преосвященству Кур Йоану*

¹² Ibidem.

Чигирському z 1837 r.¹³ Prawdopodobnie Łewyćkyj porzucił ostatecznie serbską innowację, ponieważ w wydanych w Przemyślu przekładach utworów Friedricha Schillera (1759–1805) *Борьба со смоком і Порука* (1842), *Нурок або водолаз* (1844) oraz swojej *Азбуки для наименьших дітей* (1843) używał już tylko ě.

Stosunek do grażdanki i kodyfikacji fonetycznej

Swój pogląd na reformę języka ruskiego, zgodnie z zasadą Karadżicia *piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano* (pisz tak, jak mówisz, czytaj tak, jak jest napisane), Josyf Łewyćkyj sformułował w broszurce *Listy dotyczące się pismennictwa ruskjego w Galicji*, wydanej w 1843 r. w Przemyślu nakładem drukarni biskupiej. Praca ta stanowi bardzo krytyczną recenzję zbioru *Rusalka Dniestrowa* autorstwa grupy literackiej „Ruska Trójca”.

Grażdanke, czyli wprowadzone w Rosji przez Piotra I świeckie „pismo obywatelskie”, Łewyćkyj nazywa w dwóch miejscach „czcionką nowego rżnięcia” (tj. kroju)¹⁴. Interesujący jest fakt, że określa grażdankę właśnie jako nową „czcionkę”, a nie oddzielny rodzaj pisma. Jeszcze parę lat wcześniej pisał przecież, że Niemcy, którzy używają szwabachy, a nie antykwy, nie piszą alfabetem łacińskim. Co prawda, gdy twierdził, iż „najpierwsze co wpada i razi oko ruskie swą dzikością, jest pisownia”¹⁵, miał raczej na myśli nową ortografię, która poszła w kierunku kodyfikacji fonetycznej opartej na żywym języku ludu. Jak już wspomniano, Łewyćkyj był zwolennikiem kodyfikacji etymologicznej.

Duchowny ze Szklä wystąpił również przeciwko zastosowanej w *Rusalkie Dniestrowej* literze ѣ. Była ona już wykorzystywana wcześniej przez Francyska Skarynę (1486?–1540?) w 1518 r., ale dla Łewyćkiego ponowne jej wprowadzenie było pomysłem chybnym. Jego zdaniem powinna to być litera л. Uzasadniał to tym, że chociaż Rusini wymawiają [u] niezgłoskotwórcze na końcu sylaby, np. w czasie przeszłym w rodzaju męskim, to w odmianie częściej pojawia się л. Ponadto sugerował, żeby przyjrzeć się Polakom, którzy dla Mazurów (tj. rzymskokatolickich chłopów w Galicji), nieumiejących poprawnie wymówić polskiego [ł], nie zmienili specjalnie swojej ortografii.

Wykreślenie z ruskiej azbuki ѣ na oznaczenie dźwięku [y] zgodnie z propozycjami Vuka Karadżicia (1787–1864) jest dla Łewyćkiego skandalem. Krytykuje on autorów *Rusalki Dniestrowej* za importowanie cudzoziemczyzny z języka,

¹³ Zob. В. Пилипович, op. cit., s. 50.

¹⁴ J. Lewicki, *Listy dotyczące się pismennictwa ruskjego w Galicji*, Przemyśl 1843, s. 3.

¹⁵ Ibidem, s. 4.

którego, jak widać, dobrze nie znają. Dla samogłoski [i] w sylabach zamkniętych zamiast *ï* lepiej, zdaniem Łewyckiego, wrowadzić *ö*, ponieważ właśnie *o* pojawia się po otwarciu sylaby. Tutaj ponownie wspiera się autorytetem zagranicznym, tym razem Mychajła Maksymowycza (1804–1873), który sam stosował takie oznaczenia. Jak twierdził Łewyckij, był on w posiadaniu rękopisu napisanego w Supraślu w XV lub XVI wieku, w którym również tak oznaczano [i] w zamkniętych sylabach. Łewyckij zastosował je w swoim pierwszym przekładzie *Ерлькснїѣ-Богиня* (1838) Johanna W. Goethego (1749–1832) oraz *Звѣнь* (1839) Schillera, które wydrukowano w typografii władycznej w Przemyślu.

Nie do przyjęcia dla autora *Listów* była również propozycja, aby miękkie spółgłoski oznaczać znakiem miękkim, a twarde pozostawiać bez dodatkowych oznaczeń – innymi słowy usunąć twarde znaki, tak jak uczynił to Vuk Karadžić:

[Autorzy *Rusałki*...] opuszczając wszędzie na końcu literę *ъ* [jer twarde], do której oko ruskie od wieków nawykło, a to dla oszczędzenia papieru według zasady J. Dobrowskiego lecz druk *Rusałki* nie bardzo zbijany, wiersze wiele zostawiają miejsca, a strofy szeroko poroskładane.¹⁶

Zdaniem Łewyckiego litera ze znakiem miękkim, ze znakiem twardym i bez żadnego z nich powinna być odczytywana na trzy różne sposoby. Z krytyką spotkała się pożyczona z języka serbskiego litery *μ*:

Wprowadzają literę nową *μ* (dże), bo alfabet ruski bardzo krótki, którą to ze serbskiego wywodzą języka, a której alfabet ruski nie potrzebował i nie potrzebuje [...] któż ją z Rusinów ucząc się ze zwyczajnego Bukwara zna? [...] nie pomnażać liter bez potrzeby, a to tylko dla sławy Wukowej.¹⁷

Sam Łewyckij był zdania, że zarówno w języku polskim jak i ruskim dźwięk *дж* powinien być wymawiana oddzielnie. Stąd dwie litery *d* i *ž* są jak najbardziej na miejscu. Niemniej jednak zaproponował jako wariant symbol z miniaturowej litery *Ѧ*, pod którą stawiał literę *ж*. Pojawiła się ona między innymi w przekładzie Schillera *Борьба со смоком* i *Порука*. Na stronie 10 w słowie *ви^Ѧу*, jednak już na stronie 9 to samo słowo było zapisane przez dwie litery stojące obok siebie: *виджу*¹⁸. Ciekawe, że litery tej w ogóle nie było w wydanym rok później elementarzu *Азбука руская для наимениших дѣтей починающих ходити до школы*.

¹⁶ Ibidem, s. 13.

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Ф. Шільєр, *Борьба со смоком* i *Рукавичка*, Перемишль 1842, s. 9–10.

Zaskakuje, że pomimo generalnej krytyki założeń reformy ortograficznej języka serbskiego, Łewyćkyj oczekiwał, że „Ruska Trójca” wprowadzi litery ѣ i ѧ na wzór serbski:

Dodać należy, dlaczego Autorowie Rusalki przyjąwszy tyle niedorzeczności z języka serbskiego, nie przyjęli form liter ѣ, ѧ na sposób serbskiego ѣ, ѧ co właśnie było do rzeczy, bo skład ten nie jest przeciwny duchowi ruskiemu.¹⁹

Istotnym argumentem, podniesionym na korzyść kodyfikacji etymologicznej i konserwatywnego trzymania się języka cerkiewnego, było twierdzenie, że jest on jednak wspólny dla wszystkich greckokatolickich Rusinów i przez to niweluje różnice między dialektami.

Łewyćkyj wspomina tylko jednym zdaniem, że *Rusalka Dniestrowa* zawiera recenzję *Ruskiego Wesila* wydanego po rusku łacinką przez jego oponenta Josyfa Łozynskiego i że autorzy *Rusalki Dniestrowej* również krytykują zastosowanie łacinki.

Na końcu *Listów dotyczących się piśmiennictwa Ruskiego w Galicji* Josyf Łewyćkyj daje popis swojej lojalności dla cenzury, która wstrzymała dystrybucję dzieła „Ruskiej Trójcy”:

Dzięki więc niech będą Rządowi, który nie tylko stosunki poletyczne [sic!], lecz i na niepotrzebne nowości baczne ma oko, i Rusalkę Dniestrowej rozszerzyć się w tej formie, w jakiej z rąk triumviratu wyszła, nie pozwolił.²⁰

Zakończenie

W „wojnie abecadłowej” w Galicji Josyf Łewyćkyj stał na konserwatywnym stanowisku zachowania cyrylicy za wszelką cenę. Jego zdaniem lepiej, żeby literatura ruskojęzyczna nie była drukowana w ogóle, niż jeśli miałyby wychodzić czcionką łacińską. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jego sceptycyzm wyrządzał ruskiemu ruchowi narodowemu w Galicji więcej szkody niż pożytku. Czcionki cyryliczne były rzeczywiście bardzo drogie, co ograniczało możliwości i tak nielicznych drukarni. Kodyfikacja etymologiczna forsowana przez Łewyćkiego sprawiała, że język ruski był o wiele trudniejszy do nauki czytania i pisania, co hamowało zwalczanie analfabetyzmu na wsi. Cyrylica

¹⁹ J. Lewicki, *Listy dotyczące się piśmiennictwa...*, s. 15.

²⁰ Ibidem, s. 22.

spowolniała rozwój języka, ponieważ literaci nieustannie stawali przed dylematem, czy zapisać rodzime słowo w zniekształconej postaci, wykorzystując ortografię języka cerkiewnosłowiańskiego, czy też bezpośrednio stosować zapożyczenia z tego języka.

Z drugiej strony Łewyćkyj słusznie zauważył, że przyjęcie polskiego abecadła nie rozpowszechni literatury ruskiej w Europie. Co więcej, zastosowanie polskiego abecadła ukazałoby, jak bardzo oba języki w Galicji są do siebie podobne. Dałoby to konserwatywnym Polakom dodatkowych argumentów do twierdzenia, że język ruski to tylko jedna z gwar języka polskiego. W tej sytuacji utrzymanie cyrylicy – symbolu takiego samego jak trójkątne krzyże, wieńczące wieże cerkwi, czy juliański kalendarz liturgiczny – było wyrazem ostentacyjnego zamanifestowania odrębności kulturowej etnosu zagrożonego kulturową i językową asymilacją.

Резюме

Позиция отца Иосифа Левицкого (1801–1860) в „азбучной войне” русского (украинского) языка в Галиции в 30–40-е годы XIX века

В 30-е годы 19-го века „руское” (украинское) национальное движение в габсбургской Галиции волновала дилемма так называемой „азбучной войны”. Спор между национальными деятелями был порождён предложением заменить кириллицу на латинский алфавит заимствованный из польского языка. В данной статье представлены аргументы грекокатолического священника Иосифа Левицкого, который был самым влиятельным критиком идеи латинизации. Он опубликовал свои идеи в небольшой брошюре, которая была распространена вместе с польским еженедельником „Rozmaitości”. Левицкий обратил внимание на историю кириллицы и её уникальность. Более того, он утверждал, что новый алфавит не сделает „рускую” (украинскую) литературу более европейской и только даст полякам ещё один повод считать „русский” (украинский) язык говором польского языка. С другой стороны, Левицкий не признавал использование гражданки „Русской Троицей” и критиковал новую орфографию, которая была основана на фонетическом принципе кодификации.

Summary

Position of father Josyf Levytskyi (1807–1860) in the „alphabet war” of Ruthenian (Ukrainian) language in Austrian Galicia in 30s and 40s of 19th century

In the 30s of 19th century the Ruthenian (Ukrainian) national movement in the Austrian Galicia was dominated by the dilemma of so called *azbuchna vijna* (Ukrainian „alphabet war”). The dispute among the national activists was about the change the Cyrillic script to the Latin alphabet adopted from Polish language. This paper presents the arguments of Greek-Catholic

father Josyph Levytskyi, who was the most influential critic of the idea of latinization. He published his ideas in a small booklet that was distributed together with the Polish weekly „Rozmaitości”. Levytskyi stressed on long history of the Cyrillic alphabet and its uniqueness. Moreover, he claimed that new alphabet will not make Ruthenian literature more European and will only give the Poles another reason to call Ruthenian language a variety of Polish. On the other hand, Levytskyi did not appraised very much the usage of *grazhdanka* by the „Rus Trinity” and criticised the new orthography, which was based on phonetic principle.

Key words: Latin, Cyrillic, Ukrainian, alphabet war, Levytskyi.

Magdalena Jeż
Uniwersytet Warszawski

Фразеологізми з числовим компонентом в українській та польській мовах

Фразеологія – це порівняно молода лінгвістична дисципліна, що виникла тільки на початку XX століття і належить до тих галузей сучасної лінгвістики, що привертають увагу широких кіл дослідників: не тільки мовознавців, але також істориків, етнографів та філософів. Ідею про необхідність створення нової самостійної галузі мовознавства – фразеології – обґрунтував вчений Євгеній Поліванов. Він вважав, що цей розділ займатиме у майбутньому дуже важливу позицію у лінгвістиці¹. Хоча за час XX століття написано чимало наукових праць, що присвячені між іншим дослідженню походження фразеологічних одиниць, вивченню їх класифікації, питанню семантики компонентів фразеологічних одиниць, еквівалентності, проблемі системних відношень у фразеології, зокрема, варіантності та синонімії, здається, що основні поняття, обсяг проблематики та об'єкт вивчення фразеології ще остаточно не визначені.

Цінний внесок у лінгвістику зробили як дослідники польської, так і української фразеологічної науки, між іншим польські мовознавці: Станіслав Скорупка, Анна Пайдзінська, Анджей Левицький, Галіна Курковська, Станіслав Бомба; та українські мовознавці: Віктор Виноградов, Федір Медведев, Валерій Мокієнко, Лариса Скрипник, Віктор Ужченко, Олександр Юрченко, Леонід Булаховський. Всі вони у своїх дослідженнях зверталися до основних питань цієї галузі мовознавства. Їхні теоретичні та практичні розробки мали великий вплив на розвиток не лише польської та української, а й слов'янської фразеологічної науки².

Об'єктом дослідження у пропонованій статті стали семантичні особливості фразеологічних одиниць з числовим компонентом в українській та польській мовах. Матеріалом дослідження послужили базові фразеоло-

¹ Л. Г. Скрипник, *Фразеологія української мови*, Київ 1973, с. 6.

² Г. Крайчинська, *Розвиток фразеологічної науки у Польщі*, „Проблеми слов'янознавства” 2005, Вип. 55, с. 164–180.

гізми, зафіксовані у *Фразеологічному словнику української мови*³ та у фразеологічних словниках польської мови⁴, які у своєму лексичному складі мають числівник першого десятка, тобто: *укр. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять* // *поль. jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć*.

Метою контрастивного аналізу семантики цього фразеологічного матеріалу є: 1) визначити семантичні особливості фразеологічних одиниць з числівниковим компонентом в українській та польській мовах; 2) виділити еквіваленти польських та українських фразеологізмів з числовим компонентом; 3) проаналізувати основні системні відношення між фразеологічними одиницями; 4) виявити відмінні та спільні риси, що висвітлюються у „числівниковій фразеології” обох аналізованих мов.

Семантика фразеологізмів з числовим компонентом

Проблема фразеологічної семантики виникла разом зі становленням науки про фразеологію. Визначення семантичних особливостей фразеологічних одиниць будь-яких мов, навіть дуже близьких за походженням, дає підстави ствердити, що компонентний склад фразеологічних одиниць у цих аналізованих мовах часто має значні відмінності. Оскільки фразеологія відображає національну специфіку, спосіб життя, характер народу, його історію, традиції та звичаї, що зафіксовані власне у лексичному компоненті фразеологізмів, остільки для однієї мови характерна висока фразеологічна активність певного компонента, натомість в іншій мові фразеологізмів з цим компонентом може бути дуже мало.

Наше дослідження присвячене українським та польським фразеологізмам з числівниковим компонентом, який являється одним із найпоширеніших в обох аналізованих мовах (нам вдалося виділити 148 фразеологічних одиниць в українській мові та 97 у польській мові). Числівники грають дуже важливу роль у фразеології української та польської мов. Їх застосування у цих зворотах великою мірою пов'язане з числовою символікою і магією, яку слов'яни приділяли числам. Отже, число у фразеологізмах являється символом. „Числова символіка, пов'язана

³ В. М. Білоноженко (ред.), *Фразеологічний словник української мови*, у 2 кн., Київ 1999.

⁴ S. Skorupka (red.), *Słownik frazeologiczny języka polskiego*, Warszawa 1987; S. Bąba, J. Liberek, *Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny*, Warszawa 2001; A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz, *Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłówiami*, Warszawa 2005.

із стародавніми віруваннями в магічну природу числа. Практично у всіх культурах і релігіях світу числа мали сакральне значення, виражали не лише кількість, а й різні ідеї – сили”⁵. Цьому сприяло релігійно-філософське вчення піфагорійців. Їхнім головним постулатом була теорія числа, як основного принципу всього існуючого. Вони також розглядали числа як символ, що виражає певні ідеї й етапи становлення Всесвіту⁶.

Проаналізуймо детальніше, яке значення має числовий компонент у складі фразеологічних одиниць української та польської мов. Пропонуємо таку систему класифікації.

Фразеологізми з числівником *один* // *jeden*, позначають: людей без батьків, безрідних, які живуть одинаком, без нікого, самотою: *один як палець* // *sam jak palec*; однакових людей, схожих між собою характером, поглядом, поведінкою, способом життя: *з одного місця* // *z jednej gliny ulepieni*; *один одного вартий* // *jeden drugiego wart*, *в один голос* // *mówić jednym głosem*; спільні справи та досвід: *не один пуд сілі з’їсти* // *zjeść razem nie jedną beczkę soli*, *в одній команді грати* // *grać do jednej bramki*.

Інші виступають у значенні: миттю, протягом дуже короткого часу, моментально: *в один миг ока* // *w mgnieniu oka*; однаково, подібним чином: *міряти однією міркою* // *mierzyć jedną miarką*, *на один копил* // *na jedno kopyto*; робити щось швидко, безперервно, відразу: *за одним заходом* // *za jednym zachodem*; *в одну мить* // *w jednej chwili*.

Фразеологізми з числівником *два* // *dwa*, в основному, виступають у значенні: служити одночасно двом протилежним сторонам, підтримувати протилежні погляди, робити щось у двох напрямках одночасно та намагатися здобути успіх у двох різних справах: *на два фронти* // *działać na dwa fronty*, *сидіти на двох стільцях* // *siedzieć na dwóch stołkach*, *ганяти за двома зайцями* // *trzymać dwie sroki za ogon*.

Крім того, 3-поміж головних значень числівників у складі фразеологізмів слід виділити випадки, коли число позначає:

1) суму всіх частин, які складають цілісність: *в чотирьох стінах* // *w czterech ścianach*, *як двічі по два* // *jak dwa razy dwa cztery*; *в чотирі ока* // *w cztery oczy*; *на всі чотири сторони* // *na wszystkie cztery strony*;

2) процес повторювання дії: *п’ять разів повторювати* // *powtarzać pięć razy*;

⁵ О. І. Потапенко, М. К. Дмитренко, Г. І. Потапенко, *Словник символів*, Київ 1997, гасло „числова символика”, с. 576.

⁶ Т. Б. Лукінова, *Категорія кількості як елемент духовної культури давніх слов’ян*, [в:] *Слов’янське мовознавство*, Київ 1993, с. 23–24; див. також: Т. Б. Лукінова, *Числівники в слов’янських мовах*, Київ 2000.

3) умовну малу вартість: *у двох словах // w dwóch słowach* (сказати дуже коротко); *три чисниці до смерті // trzy ćwierci do śmierci* (дуже мало часу); *хоч по три за цибулю // nie wart trzech groszy* (дуже дешевий);

4) умовну велику вартість: *за сім земель // za siedmioma rzekami* (дуже далеко); *десята вода по киселі // dziesiąta woda po kisielu* (далека родина).

Еквіваленти фразеологізмів з числовим компонентом

При дослідженні польської та української фразеології з числівниками нам необхідно звернути увагу на питання фразеологічної еквівалентності. Залежно від того, наскільки у фразеологічних одиницях представлена національна специфіка та колорит, вони можуть мати національний або інтернаціональний характер. Отже, всі фразеологізми можна поділити на такі, що мають свої еквіваленти в інших мовах та безеквівалентні, зміст яких не зіставляється з будь-якою іншомовною фразеологічною одиницею.

Всі фразеологічні еквіваленти, як правило, поділяємо на повні та неповні. Повні еквіваленти співпадають за лексичним складом, граматичною структурою, за значенням, а також за образністю та стилістикою⁷. Таких фразеологічних відповідників небагато. Вони інтернаціонального характеру. В українській та польській мовах повними фразеологічними еквівалентами з числівниковим компонентом можна назвати між іншим одиниці: *один чорт // jeden diabeł*, *один бік медалі // jedna strona medalu*, *на один копил // na jedno kopyto*, *як дві краплі води // jak dwie krople wody*, *п'яте через десяте // piąte przez dziesiąte*. При зіставленні української та польської фразеології виявляється, що частина фразеологічних одиниць зближається або навіть накладається одна на одну внаслідок спільного походження і близької мовної картини світу⁸. Деякі українські та польські фразеологізми натомість повністю розходяться за своєю мотивацією і не мають своїх іншомовних еквівалентів: укр. *від горшка три вершка*, *сім мишків гречаної вовни*; pol. *mieć coś w jednym palcu*, *stawiać wszystko na jedną kartę*.

⁷ С. Винниченко, *Конотація як компонент значення: на матеріалі українських, польських та англійських фразеологічних одиниць з компонентом вода*, „Проблеми слов'янознавства” 2005, Вип. 55, с. 202.

⁸ В. І. Кононенко, І. В. Кононенко, *Контрастивна граматики української та польської мов*, Київ 2006, с. 138.

Фразеологізми з числівниковим компонентом в українській та польській мовах, беручи до уваги поняття, які вони виражають, можна розділити на п'ять груп:

У першій групі поняття, виражені фразеологізмами, співпадають повністю в українській та польській мовах. Повністю співпадають також слова для вираження даних понять (включаючи числівниковий компонент): *одна сторона медалі // jedna strona medalu*, *один Бог знає // Bóg jeden wie*, *як дві краплі води // jak dwie krople wody*, *на чотири вітри // na cztery wiatry*, *в три горла // na trzy głosy*, *як свої н'ять пальців // jak swoje pięć palców*.

У другій групі фразеологізмів виражені ними поняття співпадають повністю в обох аналізованих мовах. Слова для вираження цих понять співпадають тільки частково, але зберігається числівниковий компонент, який в обох мовах є однаковим, хоча має різні граматичні форми: *палиця з двома кінцями // kij ma dwa końce*, *з одного тіста // z jednej gliny ulepieni*, *міряти на один аришин // mierzyć jedną miarką*, *під трьома замками // na trzy spusty*.

Третя група – це фразеологізми, що виражають поняття, які співпадають повністю в українській та польській мовах, хоча числівниковий компонент залишається тільки в українській мові – у польській з'являється інше слово: *один як палець // sam jak palec*, *здирати десяту шкуру // zderzeć z kogoś skórę*, *жити не хлібом одним // nie samym chlebem żyje człowiek*, *в один миг ока // w mgnieniu oka*, *одні кістки та шкіра // same kości i skóra*, *сім футів під кілем // stopy wody pod kilem*.

Четверта група – це фразеологізми, що виражають поняття, які співпадають повністю в обох мовах, хоча числівникові компоненти залишаються – вони є різними: *нема десятої клепки // brakuje piątej klapki*, *до десятого поту // do siódmych potów*, *десята вода по киселі // siódma woda po kisielu*, *ні в дві ні в три // ni w pięć ni w dziesięć*, *п'ять разів повторювати // powtarzać dziesięć razy*.

П'ята група – це безеквівалентні фразеологічні одиниці з числівниковим компонентом в українській та польській мовах. Вони найбільшою мірою передають національний характер та вважаються фразеологізмами локального походження та поширення. Українські фразеологічні одиниці з числівниковим компонентом, що не мають своїх польських фразеологічних еквівалентів з таким ж компонентом – це фразеологізми: *птиця одного польоту*, *один як місяць у небі*, *від горшка два вершка*, *алюр три хрести*, *мати сім п'ятниць на тиждень*, *хай йому сім чортів*, *мов сім баб пошептало* тощо. Натомість польські фразеологізми: *wsypać do jednego*

worka, mieć dwie lewe ręce, do trzech razy sztuka, trzy mile za piec, mieć swoje pięć minut, aktor za pięć groszy не мають своїх українських відповідників.

Системні відношення фразеологізмів з числівниковим компонентом

Одним з актуальних питань фразеології як науки є виявлення різних форм системної організації фразеологічних одиниць, оскільки вони не функціонують ізольовано у мові, а вписуються в мовну систему. У фразеологічному складі кожної мови можна виділити такі системні зв'язки як: полісемія, синонімія, варіантність, антонімія та омонімія. Предметом нашого дослідження стали синоніми та варіанти фразеологізмів з числівниковим компонентом в українській та польській мовах.

Синонімічними вважаються фразеологічні одиниці з різною внутрішньою формою і лексичним складом, вживані на позначення одного і того самого поняття, що відтіняють різні його сторони і мають однакову семантичну сполучуваність зі словами оточення⁹. Синонімічні фразеологічні одиниці близькі за значенням. В їх основі лежать різні образи і вони не допускають зміни компонентів¹⁰.

Фразеологічна синонімія характерна передусім для фразеологічних одиниць з числівниковим компонентом *один // jeden* та *два // dwa*. Найбільше прикладів з числівником *один*. Виступають численні синоніми фразеологізмів, які позначають людей без батьків, безрідних, які живуть одинаком, без нікого, самотою: *один як палець // sam jak palec*; *як билина в полі, як горох при дорозі, одним один, один як місяць у небі*. Інші виступають у значенні – миттю, протягом дуже короткого часу, миттєво: *в одну мить, в одну хвилину, в один миг ока // w tgnieniu oka*, *одним духом, одним (єдиним) махом, в один момент*. У значенні – однаково, так само, подібним чином маємо такі синоніми: *на один аришин, міряти однією міркою // mierzyć jedną miarką*, *стригти під одну гребінку, на один копил (лад), на один манір (киталт)*, натомість у значенні – бути заодно: *в одну дудку грати, в один гуж тягти, в одній команді грати*. Найбільше синонімів мають фразеологізми, які позначають однакових людей, схожих між собою характером, поглядом, поведінкою, способом життя: *з одного*

⁹ Л. Г. Скрипник, *op. cit.*, с. 212.

¹⁰ В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко, *op. cit.*, с. 95.

тіста, птиця одного польоту, одного гніздечка птиці, одного роду, одного плоду, одного поля ягода, одної гіллі ягоди, одним миром мазані, однієї масті, одним ликом шиті, на один копил, одним духом дишуть, обоє рябє, пара чобіт на одну ногу, один від одного недалеко відбіг, один одного вартий. В польській мові фразеологічні синоніми з числівником *один* // *jeden* виступають меншою мірою, але вони також є: *jednym ciagiem, jednym tchem, jednym zamachem, od jednego zamachu, za jednym zamachem, na jednej nodze* (тобто робити щось швидко, безперервно, відразу); *jak jeden człowiek, jak jeden mąż, jak jeden* (у значенні: всі разом, згідно, однаково щось робити); *z jednej gliny ulepieni, jeden drugiego wart* (для позначення людей, які мають подібний характер, поведінку).

З числівником *два* // *dwa* виступають синоніми: *лизати два боки, на два фронти, сидіти на двох стільцях, ставати на двох лапках*, тобто служити одночасно двом протилежним сторонам, підтримувати протилежні погляди, робити щось у двох напрямках одночасно та намагатися здобути успіх у двох різних справах: *ганяти за двома зайцями, убивати двох зайців*. Подібні фразеологізми є також у польській мові: *na dwa fronty, siedzieć na dwóch stolkach, dwom bogom służyć, służyć na dwóch łapkach*, та інші, яких немає в українській мові: *upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, łapać dwie sroki za jeden ogon, na dwóch ramionach płaszcz nosić*.

Натомість фразеологічні варіанти утворюються внаслідок взаємодії двох протилежних тенденцій у складі фразеологічних одиниць. Під варіантом розуміються „лексико-граматичні різновиди фразеологічної одиниці, що для тотожності загального значення та збереження образної основи допускають синонімічну зміну компонентів або видозміну їх порядкового розташування та граматичних форм”¹¹. Фразеологічні варіанти – це „утверджені традицією різновиди фразеологічних одиниць, що співіснують у мовній системі й мають те саме значення, але різняться між собою компонентами лексичного складу або елементами граматичної структури”¹².

Лексичне варіювання, яке полягає у зміні одного компонента іншим, в межах лексем одного синонімічного ряду, що не змінює значення, виступає також у фразеологізмах з числівниковим компонентом. Це не дуже часте явище, оскільки зміні найчастіше підлягає числівник, а він має конкретне значення, часто також магічне, що пояснює його застосування в даній

¹¹ В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко, *op. cit.*, с. 106.

¹² Л. Г. Скрипник, *op. cit.*, с. 212.

фразеологічній одиниці. Однак варіанти трапляються як в українській, так і в польській мовах: *від горишка два (три) вершка, ні в п'ять ні в дев'ять (десять) // ni w pięć ni w dziewięć (dziesięć), ні в дві ні в три (п'ять), з п'ятих (десятих) рук // z drugiej (trzeciej) ręki, хоч по три (сім) за цибулю, як дві (три) краплі води // jak dwie krople wody, три (сім) мішки гречаної вовни, здерти дві шкури (три, сім, десяту шкуру), дерти по три шкури (сім шкур), спустити три шкури (сім шкур), за трьома (сімома) замками // na trzy spusty (cztery, siedem), nie umieć zliczyć do dwóch (trzech), сім номів виїде, у три ному, до десятого ному // wyciskać siódme (dziesiąte) poty, за тридев'ять (сім, тридесять) земель // za siedmioma górami (rzekami), jak swoje pięć (dziesięć) palców, siódma (dziesiąta) woda po kisielu, два боки (сторони) однієї медалі, на чотирі боки (випи, сторони) // przepędzić na cztery wiatry (strony świata), wtrącać swoje dwa (trzy, pięć, dziesięć) groszy, wyglądać jak siedem nieszczęść (półtora nieszczęścia), robić za dwóch (dziesięciu). Слід зауважити, що варіантів зовсім не мають фразеологізми з числівником *один // jeden*.*

Після контрастивного аналізу семантики фразеологічних одиниць з числівниковим компонентом в українській та польській мовах увага звертається на те, що значення цих фразеологізмів правдоподібно виникли як результат того, що слов'яни, в язичницькі, а потім також у християнські часи, приділяли велику увагу до символів і магії чисел. Як правило, магія і значення числа були однакові для всіх слов'янських народів, однак фразеологічні одиниці з числівниковим компонентом в більшості повністю, або частково розходяться за значенням.

На підставі нашого аналізу можна зробити висновок, згідно з яким числівники у складі фразеологізмів мають подвійне значення: у первинній функції кількісні слова мають або реальне, або умовне, символічне значення. Нам вдалося визначити основні семантичні особливості фразеологічних одиниць з числівниковим компонентом в українській та польській мовах; виділити п'ять груп еквівалентів польських та українських фразеологізмів з числовим компонентом; проаналізувати явище синонімії та варіантності у фразеології та виявити відмінні й спільні риси, що висвітлюються у „числівниковій фразеології” обох аналізованих мов.

Найбільш поширеними в українській та польській мовах є фразеологізми з числівниковим компонентом *один // jeden та два // dwa*. Вони здебільшого сходяться в обох мовах за значенням. Розбіжності виступають меншою мірою.

Дуже дивує факт, що більшість фразеологізмів з числівником *три* // *trzy* не сходяться за значенням в українській та польській мовах. Численні розбіжності дивують тим більше, що символіка трійки майже однакова і дуже важлива для народів всіх культур та релігій.

Натомість фразеологізми з числівником *чотири* // *cztery* здебільшого сходяться. Збіжності у значенні фразеологічних одиниць з цим компонентом в обох порівнюваних мовах пояснюються тим, що цей числівник виступає в дуже конкретному символічному значенні, яке відображає цілісність та міцність світу, адже є чотири сторони світу, чотири стіни має будинок, двадцять чотири години має доба.

Незважаючи на символічне і магічне значення числівників *п'ять* // *pięć*, *дев'ять* // *dziewięć* та *десять* // *dziesięć*, вони не мають широкого застосування у фразеології. Вживаються у складі лише кількох одиниць і здебільшого сходяться за значенням в українській та польській мовах. Всі розбіжності, властиво, полягають в тому, що в одиницях використовується інший числівник, тобто різні фразеологічні варіанти. Слід зауважити, що як в українській, так в польській мовах зовсім немає фразеологізмів з числівниковим компонентом „шість” та „вісім”.

Фразеологізми з числівником *сім* // *siedem* в більшості розбігаються за значенням. Це може дивувати, тому що число „сім” вважається містичним, яке має магічну функцію, єдиною для всіх слов'ян. Воно з давніх давен є святим числом для всіх релігій та культур. Однак, це передусім число фольклорне, звідки бере початок також більшість фразеологізмів. Отже, всякі відмінності пояснюються тим, що ці фразеологізми є питомо національними, які відображають народні реалії та звичаї.

Досліджуючи українську та польську фразеології, ми звернули також увагу на системні зв'язки між одиницями. Виявилось, що фразеологізмам з компонентом *один* // *jeden* властива багата синонімія, яка більш поширена в українській мові. Для фразеологізмів з компонентом *один* // *jeden* зовсім не характерна варіантність, хоча лексичні варіанти, як правило, у фразеологізмах з числівниковим компонентом – це не дуже часте явище. Зміні найчастіше підлягає числівник.

Контрастивний аналіз фразеологічних одиниць з числівниковим компонентом в українській та польській мовах виявляє багато спільних та відмінних семантичних особливостей. Частина фразеологічних одиниць внаслідок спільного походження та подібної мовної картини світу сходяться за семантикою. Однак більшість розходяться за своєю внутрішньою формою та значенням. При зіставленні української та польської

фразеології з числівниковими компонентами виявляється, що в них яскраво відбивається національно-культурна специфіка кожної з мов, а фразеологічні звороти здебільшого пов'язані зі світом народних образів, символів та звичаїв. Оскільки в давні часи символіка та магія числа була єдина для всіх слов'ян, остільки фразеологія з числівниковим компонентом кожної з мов внаслідок народних впливів розходиться.

Література

- Винниченко С., *Конотація як компонент значення: на матеріалі українських, польських та англійських фразеологічних одиниць з компонентом вода*, „Проблеми слов'янознавства” 2005, Вип. 55, с. 197–211.
- Кононенко В. І., Кононенко І. В., *Контрастивна граматики української та польської мов*, Київ 2006.
- Крайчинська Г., *Розвиток фразеологічної науки у Польщі*, „Проблеми слов'янознавства” 2005, Вип. 55, с. 164–180.
- Лукінова Т. Б., *Категорія кількості як елемент духовної культури давніх слов'ян*, Слов'янське мовознавство, Київ 1993.
- Лукінова Т. Б., *Числівники в слов'янських мовах*, Київ 2000.
- Скрипник Л. Г., *Фразеологія української мови*, Київ 1973.
- Ужченко В. Д., Ужченко Д. В., *Фразеологія сучасної української мови*, Київ 2007.

Словники

- Білоноженко В. М. (ред.), *Фразеологічний словник української мови*, у 2 кн., Київ 1999.
- Потапенко О. І., Дмитренко М. К., Потапенко Г. І., *Словник символів*, Київ 1997.
- Skorupka S. (red.), *Słownik frazeologiczny języka polskiego*, Warszawa 1987.
- Bąba S., Liberek J., *Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny*, Warszawa 2001.
- Kłosińska A., Sobol E., Stankiewicz A., *Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami*, Warszawa 2005.

Streszczenie

Właściwości semantyczne frazeologizmów z komponentem liczebnikowym w języku ukraińskim i polskim

W artykule podjęto kwestię polskiej i ukraińskiej frazeologii z komponentem liczebnikowym. Główną intencją artykułu była analiza porównawcza właściwości semantycznych frazeologicznych jednostek w obu językach słowiańskich. Zwrócono uwagę na zjawisko ekwiwalencji leksykalnej polskich i ukraińskich frazeologizmów z komponentem liczebnikowym oraz omówiono zjawisko synonimii i wariantowości analizowanych frazeologizmów.

Summary

Semantic peculiarities of phraseological units with the numeral component in Ukrainian and Polish languages

The article deals with the problem of Ukrainian and Polish phraseology with the numeral component. The main intention of this article is to analyze semantic peculiarities of phraseological units with this component in both Slavic languages. The groups of lexical equivalency of Polish and Ukrainian phraseological units with numeral component are fixed. The phraseological variants and synonymy are explored.

Key words: phraseology, phraseological unit, numeral component, the phraseological variants and synonymy, lexical equivalency.

Łukasz Małecki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Definicja kognitywna jako narzędzie opisu emocji negatywnych w językach rosyjskim i ukraińskim (na przykładzie emocji strachu)

Współczesny okres polifonii nauk humanistycznych, wpływający i warunkujący dalsze kierunki oraz tendencje ich rozwoju, jest następstwem oraz odzwierciedleniem nowego, dominującego w badaniach podejścia – idei antropocentryzmu. Dynamiczne przemiany, mające swój początek w latach 70. XX wieku, do których przyłgnęło miano „rewolucji kognitywnej”, w znacznym stopniu wywarły wpływ na kształt i przeobrażenia dokonujące się w nurcie współczesnego językoznawstwa. Jako jeden z najprężniej rozwijających się nurtów należy uznać niewątpliwie językoznawstwo kognitywne, zgodnie z założeniami którego jednostki języka rozpatrywane są jako swoisty klucz do prześledzenia i zbadania procesów mentalnych zachodzących w ludzkiej świadomości. To z kolei stanowi punkt wyjścia do analizy podobieństw i różnic w postrzeganiu rzeczywistości (lub jedynie pewnego jej fragmentu) przez członków poszczególnych wspólnot językowych.

Powiązanie języka z ludzkimi procesami poznawczymi doprowadziło do zniesienia granicy między wiedzą językową a pozajęzykową i tym samym wpłynęło bezpośrednio na sposób rozumienia znaczenia słowa. Szczególnie istotny jest tutaj stosunek kognitywistów do tradycyjnej semantyki określanej jako referencjalna, a więc do poglądu głoszącego, iż znak odsyła do rzeczywistości. Innymi słowy – relacja semantyczna wiąże znak ze zjawiskami obiektywnie istniejącymi. Tymczasem w świetle kognitywnego nurtu językoznawstwa tym, do czego odsyła znak językowy, nie są zjawiska świata, ale doświadczenie ludzi mówiących w danym języku.

Przewartościowanie i zanegowanie dotychczasowych ustaleń jest zauważalne również w odniesieniu do sposobu definiowania.

W naukach humanistycznych **definicja** jest terminem obejmującym swym zakresem wyrażenia o bardzo różnorodnej postaci. Stąd też granica oddzielająca definicje od innych zwrotów językowych niebędących definicjami nie jest dość

wyrazista. W *Małej encyklopedii logiki* definicja jest rozpatrywana jako „termin odnoszący się do bardzo szerokiego zakresu wyrażen językowych, których jedyłą cechą wspólną jest to, iż przyczyniają się one w pewien sposób do wyjaśnienia sensu określonego wyrażenia”¹. Z kolei w *Powszechnej encyklopedii filozofii* definicja to określenie krótkie, lecz pełne, zmierzające do jednoznacznej charakterystyki jakiegoś przedmiotu lub zakomunikowania o semantycznych funkcjach wyrażenia poprzez wskazanie sposobu jego przekładalności na inne wyrażenie². Współczesna metodologia nauk wyróżnia wiele rodzajów definicji. Ich ilość i różnorodność – jak zauważa Piotr Krzyżanowski – wynika z różnych celów przyświecających poszczególnym typom definicji i metodom ich realizacji³.

Jedno z podstawowych pytań, z jakimi zmaga się współczesna semantyka lingwistyczna, dotyczy głębokości czy też stopnia uszczegółowienia znaczeniowego opisu wyrażen językowych. Renata Grzegorzczkova formułuje je następująco: „czy definicja znaczeniowa słowa powinna zamykać się w możliwie niewielkim, służącym celom identyfikacyjnym zestawie cech znaczeniowych uznawanych za relewantne, czy też wręcz przeciwnie – powinna obejmować całe spektrum, bogactwo, różnorodność i wieloaspektowość ludzkich doświadczeń kulturowych ujawniających się z języku?”⁴. Przyjęcie drugiej z ww. opcji odsyła wprost do tzw. semantyki kognitywnej oraz zawierających się w niej sposobów definiowania.

W ramach kognitywnego nurtu językoznawstwa pierwotnej, nieco ograniczonej tzw. klasycznej definicji, na którą składają się tylko niezbędne *genus proximum* i *differentia specifica*, przeciwstawiona została tzw. definicja kognitywna wykluczająca jakąkolwiek selekcję cech definicyjnych. Odejście od zasad klasycznego definiowania Jerzy Bartmiński uzasadnia różnicą celów, jakim służą definicje taksonomiczne (porządkowanie wiedzy o rzeczywistości według określonych reguł) i proponowane przez niego – kognitywne (zdanie sobie sprawy z utrwalonej w języku wiedzy o świecie, kategoryzacji zjawisk i ich wartościowania)⁵.

Nowe tendencje lingwistyczne aktywizowały oraz położyły nacisk na poszukiwanie nowych zagadnień badawczych, możliwych do zanalizowania dzięki zastosowaniu nowych metod. Jednym z nich jest niewątpliwie problematyka

¹ *Mała encyklopedia logiki*, red. W. Marciszewski, Wrocław 1988, Ossolineum, s. 36.

² *Powszechna encyklopedia filozofii*, [online] <www.ptta.pl/pef/pdf/d/definicja.pdf> (dostęp: 15.06.2015).

³ P. Krzyżanowski, *O rodzajach definicji i definiowaniu w lingwistyce*, [w:] *O definicjach i definiowaniu*, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Wyd. UMCS, Lublin 1993, s. 390.

⁴ R. Grzegorzczkova, *Teoretyczne i metodologiczne problemy semantyki w perspektywie tzw. kognitywnej teorii języka*, [w:] *Studia semantyczne*, red. R. Grzegorzczkova, Z. Zaron, Wyd. UW, Warszawa 1993, s. 9.

⁵ J. Bartmiński, *Konotacja*, Wyd. UMCS, Lublin 1988, s. 22.

korelacji i współzależności języka i sfery emocji jako jednej z form poznawczej działalności jednostki.

Abstrahując od obszernej literatury naukowej podejmującej rolę i znaczenie stanów emocjonalnych można w ogólnym zarysie stwierdzić, iż emocje rozpatrywane są najczęściej jako automatyczne, dość krótkie i złożone reakcje organizmu nadające wrażeniom subiektywne wartości i jakości. Emocje to jednak nie tylko wskaźniki różnorodnych stanów psychicznych, świadczących o stosunku człowieka do otaczającego go świata, innych ludzi, zróżnicowanych procesów i jego działalności. W poznawczej działalności człowieka emocje same stają się obiektem odzwierciedlenia, przyjmując formę złożonych mentalnych struktur – **konceptów**, które częściowo utrwalane i wyrażane są za pomocą języka.

Uogólniając poszczególne stanowiska dotyczące konceptu można uznać, iż jest to jednostka mentalna o określonej specyficznej strukturze, forma reprezentacji pewnego obszaru wiedzy, uwarunkowana etnicznie i kulturowo oraz mająca swoje odzwierciedlenie w różnorodnych środkach językowej realizacji. Szczególnym jego rodzajem jest koncept emocjonalny. Oprócz cech uniwersalnych posiada również elementy naznaczone piętnem etniczno-kulturowym ze względu na fakt, iż każdy język w sobie tylko we właściwy sposób dokonuje interpretacji i konceptualizacji świata. Innymi słowy, każdy język dokonuje własnej i tylko jemu właściwej kategoryzacji rzeczywistości, co ma swoje odzwierciedlenie m.in. w sposobach i formach językowej egzemplifikacji stanów emocjonalnych.

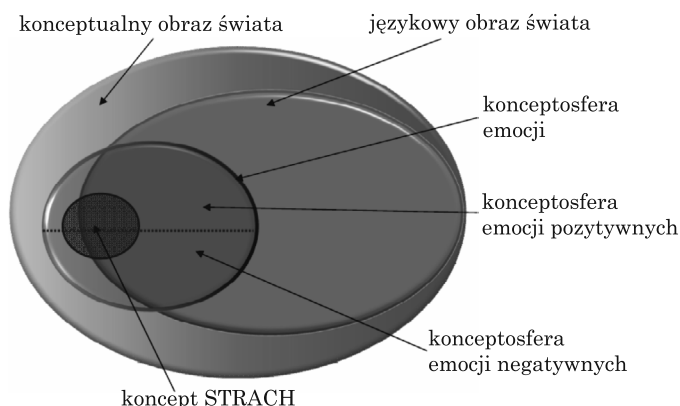
W niniejszym artykule podjęta została próba analizy jedynie niewielkiego fragmentu złożonej i różnorodnej przestrzeni emocji – emocji strachu z uwzględnieniem założeń lingwistyki kognitywnej. Dlaczego strach? Odpowiedź nasuwa się automatycznie – strach niczym cień nieustannie podąża za nami, wpływa i oddziałuje na sposób naszego postrzegania, czyli kognitywnego poznania świata, istniejących w nim przedmiotów i ludzi, zachodzących zmian i procesów. Oprócz cech uniwersalności, emocja strachu jako część określonej kultury cechuje się pewnym stopniem odmienności, w zależności od czynników społecznych i uwarunkowań kulturowych w danym społeczeństwie.

Kategoryzacja potoczna i naukowa nie wyczerpują wszystkich form porządkowania, które są istotne z punktu widzenia językowego obrazu świata. Jako alternatywa może posłużyć model pojęciowy ilustrujący wielostronny opis znaczenia słowa. Możliwość maksymalnie pełnego opisu znaczenia (w naszym przypadku emocji strachu) daje wybór formuły definicji kognitywnej (zwanej również definicją otwartą), istotą której jest rozpatrywanie znaczenia w kategoriach interpretacji. Skoro znaczenie słowa jest swoistą interpretacją desygnatu, interpretacją, która ze swej istoty jest subiektywna, to możliwe są różne spojrzenia

na ten sam wycinek rzeczywistości pozajęzykowej. Szczególny wpływ na kształt definicji semantycznej ma właśnie człowiek jako podmiot wspomnianej wyżej interpretacji.

Wybór definicji kognitywnej w niniejszym artykule umożliwia ukazanie sposobu, w jaki zbudowana jest struktura znaczeniowa słowa: centrum znaczenia stanowi stabilny rdzeń pojęciowy (odpowiadający najczęściej znaczeniu leksykalnemu i prototypowi), a od niego wychodzą ścieżki konotacyjne tworzone przez wzajemnie motywujące się konotacje.

Punkt wyjścia do właściwego opracowania i zanalizowania materiału faktograficznego może stanowić próba określenia miejsca konceptu „strach” w odniesieniu do językowego i konceptualnego obrazów świata w językach rosyjskim i ukraińskim.



Rys. 1. Miejsce konceptu „strach” w rosyjskim i ukraińskim językowym obrazie świata

Biorąc pod uwagę uniwersalność samej emocji strachu leżącej u podstaw danej struktury mentalnej, emocjonalny koncept „strach” zajmuje tożsame miejsce zarówno w rosyjskim, jak i ukraińskim językowym i konceptualnym obrazie świata. Za elementy odróżniające poszczególne systemy wiedzy należy uznać ich zakres objętościowy, sposoby ich językowej kreacji.

Językowy obraz świata (JOS) należy rozumieć jako strukturę pojęciową zakodowaną w określonym systemie językowym. Struktura ta jest pochodną sposobu konceptualizacji świata obowiązującego w danej kulturze. Na równi z JOS można wnioskować o istnieniu konceptualnego obrazu świata, wyróżniającego się znacznie większym spektrum objętościowym, ze względu na fakt, iż w jego kształtowaniu biorą udział różne typy procesów kognitywnych, w tym również te, które nie posiadają reprezentacji w systemie językowym. Struktura

konceptualna – jak zauważa Anna Wierzbicka – podlega nieustannym wpływom procesów poznawczych. Podmiotem procesu modelowania danej struktury jest człowiek. Percepcja, opracowanie i przyswojenie jakiejkolwiek nowej informacji odbywa się w oparciu o tą, którą dana jednostka już dysponuje. Kształtujący się w ten sposób system wiedzy o świecie, tzn. konceptualny obraz świata, nie jest obłożony w system znaków, składa się natomiast z różnorodnych zbiorów, grup konceptów – tzw. konceptosfer, które wspólnie stanowią sieć konceptualną niewyobrażalnej wielkości, będącą reprezentacją świata zewnętrznego.

Biorąc pod uwagę obiekt analizy niniejszej pracy – emocjonalny koncept „strach” – spośród licznych zbiorów informacji, formujących wspólnie konceptualny obraz świata wydzielona została tylko jedna grupa konceptów – konceptosfera emocji, przynależąca zarówno do konceptualnego obrazu świata, jak i językowego (ze względu na częściową reprezentację emocji w systemie języka). Ten uporządkowany, lecz nieustannie modyfikowany system wiedzy umownie składa się z dwóch antynomicznych grup – konceptosfery emocji pozytywnych i konceptosfery emocji negatywnych. Strach ze względu na dwubiegunową naturę przynależy do obydwu konceptosfer.

Do rekonstrukcji językowego obrazu świata (w naszym przypadku jego fragmentu – konceptu „strach”) prowadzi analiza słownictwa danego systemu językowego, czyli – powołując się na słowa Danuty Kępy-Figury – „opisu kategorii pojęciowych wyrażonych słowotwórczo”⁶. Znaczący jest sam fakt nominacji – wyodrębnienie składnika świata przez nazwanie go świadczy o jego roli i znaczeniu w danej kulturze.

W poznawczej strukturze konceptu wyróżniany jest szereg charakterystycznych właściwości. Centrum stanowi prototyp danej kategorii, a w bliskim i coraz dalszym otoczeniu wzorca pojawiają się coraz mniej reprezentatywne egzemplarze. Prototyp jest zatem najbardziej reprezentatywnym egzemplarzem w zbiorze elementów tworzących dany koncept. W odniesieniu do konceptu „strach” można wyróżnić jądro stanowiące załączek-prototyp danej struktury oraz poszczególne warstwy peryferii (bliższa, dalsza, marginalna). Znaczenia peryferyjne semantycznie rozszerzają i uszczegółowiają strukturę konceptu.

Kognitywna analiza środków językowej egzemplifikacji wybranego konceptu wymusza w pierwszej kolejności prześledzenie struktury semantycznej jednostki lub jednostek leksykalnych rozpatrywanych jako nadrzędne – prototypowe. Centralną część – jądro konceptu – najpełniej odzwierciedla semantyka głównego leksemu, będącego jednocześnie nazwą samego konceptu, bowiem

⁶ D. Kępa-Figura, *Kategoryzacja w komunikacji językowej na przykładzie leksemu „ptak”*, Lublin 2007, s. 35.

– jak stwierdza Wasilij Szachowski – werbalizowana emocja stanowi imię konceptu emocji ze względu na fakt, iż znak językowy istnieje, funkcjonuje i odzwierciedla doświadczenie tego lub innego użytkownika języka, wartościuje, kategoryzuje otaczającą rzeczywistość⁷. Leksem stanowi zatem najważniejszy środek werbalnej egzemplifikacji konceptu.

Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, iż głównym leksemem reprezentującym koncept „strach” zarówno w języku rosyjskim, jak i ukraińskim jest rzeczownik *страх*. Kwestia semantyki ww. leksemu jest dość problematyczna ze względu na abstrakcyjność samego denotatu.

Analiza zebranego materiału leksykograficznego⁸ pozwala stwierdzić, iż w przestrzeni semantycznej ww. leksemu obecna jest ogólna cecha semantyczna „emocja” oraz „stan emocjonalny” (ros. *эмоция, состояние*; ukr. *емоція, емоційний стан*). Strach jako stan jest dodatkowo konkretyzowany poprzez liczne określenia (ros. *эмоциональное состояние, длительное состояние, тревожное состояние, состояние беспокойства, состояние душевного волнения*; ukr. *стан хвилювання, стан тривоги, стан неспокою*). Pozostałe właściwości (ros. *отрицательный, негативный, неприятный*; ukr. *неприємний, негативний, небезпека, загроза, загрозовий, неспокій*), mają wyraźnie wartościujący charakter i podkreślają ogólny negatywny aspekt danej emocji.

Zarówno w języku rosyjskim, jak i ukraińskim *страх* określany jest również poprzez inne stany emocjonalne – swoiste odmiany lub odcienie gradacyjne strachu, rozróżniane w zależności od stopnia intensywności i długości trwania (ros. *тревога, беспокойство, испуг, боязнь*; ukr. *тривога, неспокій, хвилювання*).

Oprócz wyżej wymienionych istotne znaczenie mają również takie cechy semantyczne, jak „zagrożenie”, „niebezpieczeństwo” (ros. *угроза, опасность*; ukr. *загроза, небезпека*) konkretyzowane poprzez liczne określenia (ros. *реальный, воображаемый, ожидаемый, грозящий*; ukr. *реальний, уявний, очікуваний*) wskazujące na różnorodność czynników sprawczych emocji.

Leksem *страх*, będący jednocześnie nazwą konceptu, stanowi element prototypowy, wokół którego koncentrują się pozostałe jednostki reprezentujące i utrwalające koncept „strach” w obu badanych językach.

Oprócz głównego środka językowej realizacji konceptu – leksemu *страх* – zarówno w leksykografii rosyjskiej, jak i ukraińskiej należy odnotować szereg innych jednostek obrazujących koncept. Należą do nich:

⁷ В.И. Шаховский, *Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка*, Москва 2009, s. 57.

⁸ Szczegółowy wykaz pozycji leksykograficznych stanowiących źródło materiału badawczego zamieszczono w części końcowej niniejszego artykułu.

- w języku rosyjskim:
беспокойство, боязнь, волнение, дрожь, жуть, испуг, истерия, кошмар, лихорадка, опасение, паника, переживание, потрясение, психоз, смятение, содрогание (содроганье), тревога, трепет, ужас.
- w języku ukraińskim:
боязкість, боязнь (побоювання), жах, жахіття, збентеження, занепокоєння, істерія, кошмар, ляк (переляк), моторошність, непокій, неспокій, обава, острах (пострах, настрашка, острашка), паніка, полох (переполох, сполох), поплых, переживання, тривога, хвилювання.

W celu pełniejszego zobrazowania wymienionej grupy semantycznej przeprowadzona została ich szczegółowa charakterystyka, pozwalająca wyciągnąć następujące wnioski:

1. Wspólną cechą semantyczną dla wyszczególnionych jednostek jest „опасность”/„небезпека”.

2. W semantyce leksemów *боязнь, трусость* oraz *боязкість, боязнь, пострах, острах, острашка, настрашка* dominuje sem „чувство страха”/ „почуття страху”.

3. *ужас, психоз, кошмар, паника, истерия, смятение* oraz *жах, моторошність, паніка, сполох, сум'яття* odznaczają się wysokim stopniem intensywności.

4. W semantyce leksemów *беспокойство, обеспокоенность, волнение, взволнованность*, oraz *неспокій (непокій), хвилювання, тривога, переживання* szczególnie wyróżniającym się należy uznać sem „отсутствие покоя”/ „відсутність спокою”.

5. W leksemach *обава, острах* oraz *опасение, опаска, паника* dominującym cechą semantyczną jest „ожидание опасности”/ „очікування небезпеки (загрози)”.

6. Niespodziewany i nagły charakter jest właściwy leksemom *встряска, жуть, испуг* oraz *ляк (переляк)*.

7. W przypadku leksemów *паніка/паника* wyraźnie zauważalny jest nagły niekontrolowany i niespodziewany sposób powstania danego zjawiska.

8. W semantyce leksemów *збентеження, переживання* oraz *переживание, трусость* odczucie zagrożenia, niebezpieczeństwa nie odgrywa pierwszoplanowej roli.

9. Dość specyficzna jest semantyka leksemów *жуть* oraz *жахіття*. Wskazują one na przedmioty, które ze względu na właściwości i rozmiary fizyczne potencjalnie zagrażają człowiekowi. Innymi słowy, niebezpieczeństwo nie jest wyrażone *explicite* i nie zawsze ma racjonalny uzasadniony charakter.

Na podstawie analizy przywołanych jednostek leksykalnych – swoistych synonimów leksemu *страх* – można wydzielić ogólne cechy semantyczne, takie jak: intensywność, nagły charakter, brak spokoju, trwałość w czasie, oczekiwanie, stan, niebezpieczeństwo, zagrożenie.

W związku z tym, iż poszczególne leksemy koncentrują się wokół głównej, nadrzędnej jednostki, stanowią one bliższą warstwę peryferii w strukturze emocjonalnego konceptu „strach”.

Na znaczenie – jak dowodzi Ryszard Tokarski – składają się „zarówno komponenty stabilne, jak też fakultatywne i realizowane kontekstowo konotacje semantyczne, obejmujące dość wyraziste, skonwencjonalizowane konotacje języka ogólnego oraz konotacje słabe, pojawiające się najczęściej w niestandardowych użyciach słowa”⁹. Jak już stwierdziliśmy powyżej, wybór definicji kognitywnej w niniejszej pracy umożliwia ukazanie sposobu, w jaki zbudowana jest struktura znaczeniowa słowa: centrum znaczenia stanowi stabilny rdzeń pojęciowy, a od niego wychodzą ścieżki konotacyjne. W konsekwencji językowy obraz konceptu „strach” wchłania cechy semantyczne z różnych poziomów jego werbalizacji, co z kolei wpływa na złożoność całej struktury kognitywnej.

Kolejny element złożonej struktury konceptu „strach” stanowi dalsza warstwa jego peryferii, obejmująca jednostki, w semantyce których dominują mniej prototypowe semy w stosunku do jednostki nadrzędnej konceptu.

Na podstawie przeanalizowanego materiału językowego dalsza części peryferii obejmuje znaczącą ilość jednostek językowych, wśród których można wymienić:

- leksemy wskazujące na obiekty lub zjawiska, będące źródłem powstania emocji strachu: ros. *страшок, страшила, страшилище*; ukr. *страхіття, страховиддя, страховидло, страшидло, страховисько*;
- leksemy wskazujące na powstanie lub zamiar wywołania określonego stanu emocjonalnego: ros. *пугание, запугивание*; ukr. *лякання*;
- leksemy wskazujące na stan emocjonalny: ros. *взволнованность, возбуждение, тревожность, треволение, истерика, испуганность, напряженность*; ukr. *збентеженість, стурбованість, моторошність*;
- leksemy wskazujące na rysy charakteru jednostki: ros. *трусость, боязливость, боязненность, робкость, истеричность, пугливость, паникерство*; ukr. *богобійність, боягузливість, боязливість, боязкість, лякливість, страхітливість, страхітність*;

⁹ R. Tokarski, *Poziomy konotacji semantycznej*, [online] <www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/JK-02/JK2-tokarski.pdf>.

- leksemy nazywające ludzi będących pod wpływem danej emocji: ros. *истерик, истеричка, паникер, паникериша, пугало*; ukr. *боягуз, боягузка, боязливець, панікер, панікерка*.

Przywołane przykłady, pochodzące z dalszego kręgu peryferii, nie wyczerpują jego treści. Znaczna część należy do marginalnej warstwy peryferii. Ze względu na powiązanie konceptu „strach” z innymi strukturami mentalnymi niniejsza część jego struktury obejmuje zróżnicowane pod względem semantycznym jednostki, np.:

- leksemy wskazujące na naruszenie równowagi psychicznej jednostki: ros. *страдание, суматоха, беспорядок, неприятность, напряжение, мучение, неловкость, расстройство, тошнота, дискомфорт*; ukr. *безладдя, неприємність, напруга, мука, незручність, дискомфорт, страждання, метушня, сум'яття, напруження*;
- leksemy wskazujące na zmiany w fizjonomii, zachowaniu człowieka: ros. *колебание, растерянность, раздражительность, дрожание, нервозность, сотрясение, пульсация*; ukr. *коливання, несталість, плутанина, дратівливість, нервозність, струс, зворушення*;
- leksemy nazywające ludzi, działalność których rozpatrywana jest jako czynnik zagrożenia i niebezpieczeństwa: ros. *убийца, террорист, экстремист, захватчик, криминалист, преступник, враг, демон, зверь, монстр, франкеништейн, зомби*; ukr. *бандюга, ворог, загарбник, злочинець, кривдник, лобуряк, напасник, супротивник, терорист*;
- leksemy wskazujące na źródło – czynnik sprawczy emocji strachu, naruszające fizyczną, psychiczną, materialną równowagę. Niniejsza grupa słów obejmuje jednostki, charakteryzujące się abstrakcyjnością znaczenia, np. ros. *террор, помеха, преследование, кризис, катастрофа, болезнь, вмешательство, насилие, агрессия, смерть, война, темнота, криминализация, деградация, уничтожение, разрушение, эпидемия, конфликт, гибель, нестабильность, дестабилизация, неприятность, авторитаризм, преступность, безработица, страдание, боль, холод, стресс*; ukr. *деградація, криза, турботи, катастрофа, хвороба, втручання, насильство, агресія, агресивність, смерть, війна, знищення, епідемія, конфлікт, загибель, нестійкість, нестабільність, дестабілізація, неприємність, злочинність, безробіття, біль, стрес, напруженість, бідність, вобозтво*.

W strukturze marginalnej warstwy peryferii zauważalne są liczne jednostki językowe należące do struktury innych konceptów, co potwierdza fakt o powiązaniu konceptu „strach” z innymi strukturami mentalnymi. Przeanalizowany

materiał językowy daje podstawy do stwierdzenia, iż wybrany fragment językowego obrazu świata znajduje się w ścisłej korelacji z takimi konceptami, jak: koncept „ból”, koncept „choroba”, koncept „terroryzm”, koncept „przemoc”, koncept „agresja”, koncept „śmierć”, koncept „wojna” itd.

Przeprowadzona analiza nie tylko obrazuje sposoby konceptualizacji danego wycinka rzeczywistości, ale jednocześnie świadczy o znaczącej wartości emocjonalnego konceptu „strach” w rosyjskim i ukraińskim językowych obrazach świata, co z kolei znajduje swoje odzwierciedlenie w bogatym zasobie środków leksykalnych służących do nominacji i opisanie danej struktury kognitywnej.

Niniejsza problematyka może stanowić punkt wyjścia do prześledzenia kształtowania się konceptu „strach” w tekstach kreatywnych, np. we współczesnej prasie rosyjskiej i ukraińskiej.

Wykorzystane źródła leksykograficzne w języku rosyjskim:

- Большая Советская Энциклопедия в 30 томах*, Москва 1976, т. 24, s. 557.
Большой толковый словарь русского языка под ред. С.А. Кузнецова, Санкт-Петербург 2002, s. 1277.
Иллюстрированный энциклопедический словарь, под ред. В.И. Бородулина, А.П. Горкина, А.А. Гусева и др., Москва 1995, s. 664.
Новый иллюстрированный энциклопедический словарь, под ред. В.И. Бородулина, А.П. Горкина, А.А. Гусева, Н.М. Ланда и др., Москва 2003, s. 693.
Российский энциклопедический словарь в 2 кн., под ред. А.М. Прохорова, Москва 2001, s. 1511.
Русский язык: Энциклопедия, под ред. Ю.Н. Караулова, Москва 2003, s. 704.
Словарь русского языка, под ред. С.И. Ожегова, Москва 2005, s. 1011–1012.
Словарь русского языка в 4 тт., Москва 1961, т. 4, s. 388.
Словарь русского языка в 4 тт., под ред. А.П. Евгеньевой, Москва 1984, т. 4, s. 283.
Словарь современного русского литературного языка, Москва 1963, т. 14, s. 1007.
Советский энциклопедический словарь, Москва 1980, s. 1288.
Современный толковый словарь русского языка, под ред. С.А. Кузнецова, Санкт-Петербург 2003, s. 802.
Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля в 4 тт., т. 4, Санкт-Петербург 1998, s. 336–337.

Wykorzystane źródła leksykograficzne w języku ukraińskim:

- Білодід І.К., Бурячок А.А., *Словник української мови в 11 томах*, Київ 1978, т. 9, s. 753–754.
Бродовська В.Й., Патрик І.П., *Тлумачний російсько-український словник психологічних термінів*, Київ 2007, s. 350.
Великий тлумачний словник сучасної української мови, уклад./ голов. ред. В.Т. Бусел, Київ 2003, s. 1203.

- Грінченко Б.Д. , *Словарь української мови*, т. 4, Київ 1997, s. 213.
Зрозумій мене. Тлумачний словник української мови, Київ 2003, s. 248.
Івченко А. , *Тлумачний словник української мови*, Харків 2002, s. 455–456.
Короткий тлумачний словник української мови, Київ 1978, s. 260.
Кусайкіна Н.Д. , Цибульник Ю.С. , *Сучасний тлумачний словник української мови*, Київ 2009, s. 378.
Радченко І. , Орлова О. , *Новий тлумачний словник сучасної української мови: 50 000 слів*, Київ 2010, s. 327.
Російсько-український і українсько-російський тлумачний словник, Харків 2004.
Словарь української мови в чотирьох томах, Київ 1997, тт. 4, s. 213.
Яремко В.В. , Сліпущко О.В. , *Новий тлумачний словник української мови в 4-х томах*, Київ 2000, s. 418–419.

Резюме

Когнитивная дефиниция как приём описания отрицательных эмоций в русском и польском языках (на примере эмоции страха)

Настоящая статья представляет попытку анализа и системного когнитивно-семантического описания единиц номинативного пространства эмоционального концепта „страх”, хранящихся в сознании русско- и украинскоязычного социума, основанную на принципах так наз. когнитивной дефиниции.

Summary

The cognitive definition as a tool for describing negative emotions in the Russian and Ukrainian languages (on the example of fear)

Emotions in human consciousness take form of emotional concepts, described by means of such features as traditions, customs, special stereotypes of thinking, behavior models, etc. The present article attempts to analyse the linguistic realization of the concept of „fear” in Russian and Ukrainian languages. The language analyze is based on the purposes of the cognitive definition.

Key words: cognitive definition, negative emotions, fear, Russian language, Ukrainian language.

Michał Mordań
Uniwersytet w Białymstoku

Czy nadawane współcześnie „stare” imiona prawosławne zawsze są zamierzonym przejawem powrotu do tradycji?

Księgi parafialne stanowią jedno z podstawowych źródeł w badaniach nad historyczną i współczesną antroponimią. Interpretacja zapisów metrykalnych z poszczególnych miejscowości i regionów pozwala na sformułowanie szeregu konkluzji związanych z nazewnictwem osobowym. Istotnym wnioskiem wynikającym z analizy imion chrzestnych winno być przedstawienie ich frekwencji i dynamiki w badanym przedziale czasowym. Na tej podstawie możliwe jest ustalenie określonej mody imienniczej danego terenu.

Współczesna rzeczywistość cechuje się obecnością takich zjawisk, jak nasilenie tendencji globalizacyjnych, wzajemne przenikanie różnych tradycji i obyczajów, ekspansja modelu kultury zachodniej. Dynamicznym procesem w przestrzeni społecznej staje się laicyzacja. Odczuwalny jest wpływ środków masowego przekazu. Najnowsze imiennictwo osobowe nie pozostaje obojętne wobec powyższych faktów.

Fascynacja obcymi wzorcami kulturowymi wywołała fluktuację w tradycyjnym dla interesującego nas obszaru (zob. niżej) systemie nazewniczym. Jest ona związana z pojawieniem się nowych, czasami nietypowych dla danej kultury nazewniczej imion. Z drugiej strony utrzymuje się przywiązanie do tradycji oraz szacunek wobec wartości religijnych. Korelacja obu tych sfer doprowadziła do wystąpienia sytuacji, w których jednej osobie nadawane są dwa oddzielne imiona: jedno – do posługiwania się w środowisku kościelnym, drugie – do używania w przestrzeni świeckiej.

W niniejszym artykule zwrócę uwagę na prawosławne imiona chrzestne, różniące się od imion nadanych tym samym dzieciom w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC). Materiał źródłowy został zaczerpnięty z zapisów metrykalnych trzech parafii prawosławnych znajdujących się na terenie miasta Bielsk Podlaski. Właśnie w tych parafiach, oprócz danych niezbędnych dla celów kościelnych, znajduje się adnotacja o imieniu dziecka, jakie zostało zapisane w USC.

Omawiana kwestia stanowi swego rodzaju *novum* w prawosławnym imiennictwie osobowym. Do połowy ubiegłego stulecia metryki parafialne w zasadzie

nie poświadczają użycia więcej niż jednego imienia. W latach 60.–90. XX wieku wypadki zastosowania na chrzcie i w USC oddzielnych imion zdarzały się sporadycznie. Dopiero od lat 90., wskutek ekspansji szeroko rozumianych czynników kulturowych, „dwuimienność”¹ wśród nowo narodzonych dzieci przestała być rzeczą osobliwą. Podobne sytuacje i w porównywalnej skali miały miejsce także w pierwszej dekadzie XXI wieku. Nadawanie różnych imion stało się zatem dość częstym zabiegiem. Wprawdzie praktyka „dwuimienności” nie dorównuje tradycyjnym (jednoimiennym) modelom nazewniczym, ale stanowi znaczący odsetek wszystkich aktów nominacyjnych, co poświadczają dane statystyczne.

W badanym okresie (lata 2001–2010) w trzech bielskich parafiach prawosławnych ochrzczono łącznie 577 osób. Podczas chrztu 152 dzieci otrzymało inne imię niż w USC. Analizowane przypadki stanowią aż 26,3% wszystkich zapisów metrykalnych, co świadczy o bardzo dużej skali omawianego zjawiska.

W latach 2001–2010 ochrzczono 260 chłopców, w tym 43 otrzymało „podwójne imię” (tabela 1).

Tabela 1

Imiona męskie		
Rok	Imię chrzestne ²	Imię w USC
2001	Кастор/Kastor	Radosław
	Кондрат/Kondrat	Konrad ³
	Крискент/Krescent, Krescens	Krystian
	Андрей/Andrzej	Kamil

¹ W niniejszej pracy używam pojęć „dwuimienność”, „podwójne imię” umownie, mając świadomość ich wieloznacznego charakteru. W kontekście omawianego problemu rzecz dotyczy sytuacji, w których jedno imię jest nadawane na chrzcie, a inne w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC). Cytowanych przykładów nie należy utożsamiać z nominacją wieloimienną właściwą tradycji łacińsko-polskiej, np. *Krzysztof Kamil Baczyński*, *Jan Andrzej Morsztyn* itd.

² Dla ułatwienia porównań z zapisami w USC imiona chrzestne podaję również w brzmieniu polskim (zob. *Spis imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-słowiańskim*, Warszawa 2011; *Kalendarz prawosławny 2007*, Wydanie Warszawskiej Metropolii Prawosławnej).

³ Niektóre pary (np. ze względu na podobieństwo brzmienia i struktury słowotwórczej) pozornie mogą sugerować, że są wariantami jednego imienia. Niemniej są to zupełnie różne antroponimy odznaczające się odmienną etymologią, np. *Konrad* < stwniem. *Conrad*, *Cuonrad*, *Cunrad* (stwniem. *kuoni* ‘odważny, śmiały, dzielny’ + *rât* ‘rada’); *Kondrat* < cognomen *Quadratus* (łac. *quadratus* ‘kwadratowy, czworokątny’). O pochodzeniu imion zob. m.in. M. Małec, *Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce*, Kraków 1994; H. Fros, S. Sowa, *Księga imion i świętych*, t. 1–6, Kraków 1997–2007 oraz pozostałe źródła cytowane w niniejszym opracowaniu.

2002	Кондрат/Kondrat	Kacper
2003	Варфоломей/Bartłomiej	Bartosz ⁴
	Варфоломей/Bartłomiej	Bartosz
2004	Олимп/Olimp	Oliwier
	Кассиан/Kasjan	Kacper
	Никита/Nikita	Norbert
	Дорофей/Doroteusz	Dariusz
	Христофор/Krzysztof	Kamil
2005	Иоанн/Jan	Janusz
	Родион/Rodion	Radosław
2006	Ярослав/Jarosław	Eryk
	Орест/Orest	Olaf
2007	Гордиан/Gordian	Hubert
	Касторий/Kastoriusz	Kacper
	Варфоломей/Bartłomiej	Bartosz
	Варфоломей/Bartłomiej	Bartosz
2008	Маркеллин/Marcelin	Marcel
	Кастор/Kastor	Kacper
	Илия/Eliasz	Oliwier
2009	Лука/Łukasz	Fabian
	Христофор/Krzysztof	Krystian
	Максим/Maksym	Maksymilian
	Варфоломей/Bartłomiej	Bartosz
	Орест/Orest	Olivier
	Варфоломей/Bartłomiej	Bartosz
	Варфоломей/Bartłomiej	Bartosz
	Михаил/Michał	Miłosz
	Олег/Oleg	Olaf

⁴ O formach derywowanych zob. niżej.

2010	Варфоломей/Bartłomiej	Bartosz
	Кассиан/Kasjan	Alan
	Симеон/Symeon	Szymon
	Варфоломей/Bartłomiej	Kamil
	Кассиан/Kasjan	Kacper
	Матфей/Mateusz	Maciej
	Славомир/Sławomir	Wojciech
	Патрикий/Patryk, Patrycjusz	Przemysław
	Варфоломей/Bartłomiej	Bartosz
	Алим/Alim	Alan
	Михаил/Michał	Miłosz

W tym samym okresie ochrzczono 317 dziewczynek, z czego inne imię niż w USC nadano 109 (tabela 2).

Tabela 2

Imiona żeńskie

Rok	Imię chrzestne	Imię w USC
2001	Параскева/Paraskiewa	Patrycja
	Анисия/Anisja	Inesa
	Александра/Aleksandra	Sandra
	Мария/Maria	Magdalena
	Иулиания/Julianna, Juliania	Urszula
	Клавдия/Klaudia	Kamila
	Мария/Maria	Magdalena
	Мария/Maria	Magdalena
	Христина/Krystyna	Karolina
	Екатерина/Katarzyna	Karolina
2002	Лариса/Larysa	Laura
	Иулия/Julia	Urszula
	Наталия/Natalia	Sylvia

	Марфа/Marta	Sandra
	Евдокия/Eudokia	Edyta
	Мария Магдалина/Maria Magdalena	Marlena
	Ольга/Olga	Wioleta
	Варвара/Barbara	Wiktoria
	Моико/Moiko	Monika
	Анна/Anna	Hanna
	Мария/Maria	Patrycja
	Вера/W(i)era	Wiktoria
	Галина/Halina	Gabriela
	Иоанна/Joanna	Kinga
	Христина/Krystyna	Karolina
	Мария/Maria	Patrycja
2003	Ариадна/Ariadna	Aurelia
	Маргарита/Małgorzata	Marlena
	Марфа/Marta	Martyna
	Кириена/Kiriena, Cyriena	Karina
	Мария/Maria	Magdalena
	Глафира/Glafira	Gabriela
	Вероника/Weronika	Wiktoria
	Екатерина/Katarzyna	Karina
	Анисия/Anisja	Aniela
	Марфа/Marta	Martyna
	Ольга/Olga	Oliwia
2004	Ева/Ewa	Gabriela
	Ника/Nika	Wiktoria
	Вероника/Weronika	Wiktoria
	Васса/Wassa	Wanessa
	Домника/Dom(i)nika	Diana

	Вероника/Weronika	Wiktoria
	Вероника/Weronika	Wiktoria
2005	Моико/Moiko	Monika
	Вероника/Weronika	Wiktoria
	Елена/Helena	Lena
	Ксения/Ksenia	Oksana
	Илария/Hilaria	Laura
	Емилия/Emilia	Estera
	Екатерина/Katarzyna	Oliwia
	Христина/Krystyna	Kamila
2006	Мария/Maria	Magdalena
	Марфа/Marta	Martyna
	Елена/Helena	Kamila
	Вероника/Weronika	Wiktoria
	Анна/Anna	Hanna
	Есия/Jesija (?)	Jessica
	Гликерия/Glik(i)eria	Gabriela
	Ольга/Olga	Oliwia
	Елена/Helena	Lena
	Гликерия/Glik(i)eria	Gabriela
	Павла/Pawła, Paula, Paulina	Gabriela
	Емилия/Emilia	Amelia
2007	Клавдия/Klaudia	Kamila
	Сарра/Sara	Sandra
	Александра/Aleksandra	Oliwia
	Моико/Moiko	Maja
	Мария/Maria	Magdalena
	Ника/Nika	Nikola
	Вероника/Weronika	Wiktoria

	Анна/Anna	Aneta
	Сарра/Sara	Wiktoria
2008	Иулитта/Julita	Urszula
	Анна/Anna	Hanna
	Ольга/Olga	Olivia
	Анна/Anna	Hanna
	Анна/Anna	Amelia
	Вероника/Weronika	Wiktoria
	Елена/Helena	Lena
	Анна/Anna	Oliwia
	Мария/Maria	Maja
	Вероника/Weronika	Wiktoria
	Мария/Maria	Maja
	Ксения/Ksenia	Roksana
	Дария/Daria	Patrycja
2009	Анна/Anna	Karolina
	Вероника/Weronika	Wiktoria
	Ольга/Olga	Oliwia
	Анна/Anna	Hanna
	Марина/Maryna	Martyna
	Марина/Maryna	Maja
	Екатерина/Katarzyna	Kornelia
	Вероника/Weronika	Wiktoria
	Васса/Wassa	Wanessa
	Мария/Maria	Magdalena
	Мелания/Melania	Milena
2010	Елена/Helena	Lena
	Марфа/Marta	Martyna
	Мелания/Melania	Milena

	Ника/Nika	Wiktoria
	Мария/Maria	Magdalena
	Ольга/Olga	Ola
	Марина/Maryna	Martyna
	Марфа/Marta	Maja
	Ксения/Ksenia	Oksana
	Анна/Anna	Rozalia
	Мария/Maria	Magdalena
	Мария/Maria	Laura

Jak wskazują powyższe zestawienia, w latach 2001–2005 „podwójne imię” otrzymało 25,3% ochrzczonych dzieci, w kolejnym pięcioleciu 27,1%. Można zatem mówić o utrzymaniu się przedstawionej tendencji imienniczej w ciągu całego dziesięciolecia.

Zaprezentowany materiał, jak można przypuszczać, jest przykładem względnego kompromisu zawartego między rodzicami chcącymi nazwać dziecko według własnych upodobań, a stroną kościelną, dążącą do zachowania zwyczaju nadawania kanonicznych imion, figurujących w kalendarzu liturgicznym obrządku wschodniego.

Świadomość niekanonicznego charakteru niektórych imion zapisywanych w USC nie jest rzeczą powszechną⁵. Problem jest niebagatelny, dotyczy bowiem kilku grup tej kategorii antroponimów, które należy wyłączyć ze spisu imion chrzestnych Kościoła prawosławnego. Należą do nich:

- imiona związane z motywacją świecką (*Aneta, Roksana*);
- imiona chrześcijańskie związane wyłącznie z obrządkiem łacińskim, w tym niektóre imiona nadawane pod wpływem obcych wzorców nazewniczych, włączone do spisu imion Kościoła rzymskokatolickiego (*Kamil, Wojciech, Urszula*);
- derywaty, które w imiennictwie świeckim funkcjonują obecnie jako formy oficjalne (*Bartosz, Hanna, Lena*);
- imiona żeńskie utworzone od kanonicznych imion męskich, ale nieposiadające „swoich” świętych (*Gabriela, Kornelia, Patrycja*).

Nierzadko dochodzi do sytuacji, kiedy o konieczności nadania na chrzcie innego imienia niż w USC rodzice (chrzestni) dowiadują się bezpośrednio przed

⁵ Co podkreślają duchowni parafii, z których zaczerpnięto materiał źródłowy.

udzieleniem sakramentu i sporządzeniem metryki. Wobec ich częstego niezorientowania lub nawet obojętności, wyboru imienia chrzestnego dokonuje, w porozumieniu z rodziną, kapłan. Zwykle w takich przypadkach duchowni kierują się nieformalnym zwyczajem, nadając na chrzcie imiona, których brzmienie (niekiedy również zapis) jest maksymalnie zbliżone do formy imienia zapisanego w USC. Takich sytuacji jest zdecydowanie najwięcej, co ilustruje cytowany materiał źródłowy (*Алим/Alim – Alan, Кастор/Kastor – Kasper, Кондрат/Kondrat – Konrad, Олимп/Olimp – Oliwier; Анисья/Anisja – Inesa, Васса/Wassa – Wanessa, Емилия/Emilia – Amelia, Илария/Hilaria – Laura, Моико/Moiko – Monika* itd.). W przypadku braku zbliżonych brzmieniowo par imion wybierane są antroponimy rozpoczynające się tą samą literą (*Никита/Nikita – Norbert, Орест/Orest – Olaf; Евдокия/Eudokia – Edyta, Клавдия/Klaudia – Kamila* i in.). Jak można zauważyć, użycie w USC imion „nowych” staje się bodźcem do nadania w Cerkwi imion „starych”, typowo prawosławnych i rzadko spotykanych, często zapomnianych od kilku pokoleń (*Кастор/Kastor, Олимп/Olimp, Илья/Eliasz; Параскева/Paraskiewa, Вера/W(i)era, Мелания/Melania* itd.). Zdecydowanie rzadziej duchowni sugerują rodzicom nadanie imienia świętego, którego pamięć Kościoł wschodni czci w dniu narodzin lub chrztu dziecka (np. *Камил*, ur. 15 grudnia 2001 r., otrzymał na chrzcie imię *Андреј/Andrzej*, zapewne na cześć św. Andrzeja Egipskiego, którego pamięć jest obchodzona w tym dniu).

Imiona chrzestne dzieci, których rodzice są świadomi braku danego imienia z USC w kalendarzu liturgicznym Cerkwi prawosławnej, najczęściej są nadawane według jednej ze zwyczajowych zasad:

- 1) podobieństwo brzmienia;
- 2) występowanie imienia w rodzinie (najczęściej dziadkowie, rodzice biologiczni, rodzice chrzestni);
- 3) indywidualne upodobania rodziców, związane m.in. z wartością eufoniczną imienia (tu mamy do czynienia z taką samą motywacją, jak w wypadku wyboru imienia świeckiego, jednak z zastrzeżeniem, że będzie to imię kanoniczne, dopuszczalne podczas chrztu w Kościele wschodnim).

Jak stwierdzono wyżej, największą grupę wśród „podwójnych” imion stanowią antroponimy o zbliżonym brzmieniu. Trudno jednoznacznie określić ich odsetek, ponieważ stopień podobieństwa/rozbieżności pomiędzy daną parą imion jest sprawą umowną. Percepcja poszczególnych elementów dźwiękowych języka jest procesem zindywidualizowanym. Zatem, jednemu odbiorcy zestawienia *Анисья/Anisja – Inesa, Кириена/Kiriena – Karina, Мелания/Melania – Mi-lena* itd. mogą wydawać się podobne w brzmieniu, podczas gdy inna osoba

określi je jako zdecydowanie zróżnicowane. Równie wysokim poziomem konwergencji fonetycznej odznaczają się pary imion: *Кондрам/Kondrat* – *Konrad*, *Крискент/Krescent* – *Krystian*, *Олимп/Olimp* – *Oliwier*, *Маркеллин/Marcelin* – *Marcel*, *Христофор/Krzysztof* – *Krystian*, *Максим/Maksym* – *Maksymilian*, *Симеон/Symeon* – *Szymon*, *Матфей/Mateusz* – *Maciej*, *Алим/Alim* – *Alan*, *Ларуса/Larysa* – *Laura*, *Моико/Moiko* – *Monika*, *Анна/Anna* – *Hanna*, *Марфа/Marta* – *Martyna*, *Екатери́на/Katarzyna* – *Karina*, *Васса/Wassa* – *Wanessa*, *Елена/Helena* – *Lena*, *Илария/Hilaria* – *Laura*, *Емилия/Emilia* – *Amelia*, *Ника/Nika* – *Nikola*, *Анна/Anna* – *Aneta*, *Мария/Maria* – *Maja*, *Марина/Maryna* – *Martyna*, *Ольга/Olga* – *Ola* itd. Warto zwrócić uwagę, iż niektóre imiona tworzące pary łączy wspólna etymologia, np. *Симеон/Symeon* – *Szymon*, *Матфей/Mateusz* – *Maciej*⁶.

Na podstawie materiału źródłowego można skonstatować, że nie ma jednego, określonego (czy też ogólnie ustalonego) modelu dopasowania konkretnych imion chrześcijańskich do imion używanych w sytuacjach świeckich. Tak np. chłopców, którym w USC nadano imię *Radosław*, ochrzczono różnymi imionami – *Кастор/Kastor* i *Родион/Rodion*. Podobnie *Krystian* – *Крискент/Krescent*, *Христофор/Krzysztof*; *Kamil* – *Андрей/Andrzej*, *Христофор/Krzysztof*, *Варфоломей/Bartimiej*; *Kasper* – *Кассиан/Kasjan* (dwukrotnie), *Кондрам/Kondrat*, *Кастор/Kastor*, *Касторий/Kastoriusz*; *Oliwier/Olivier* – *Олимп/Olimp*, *Илья/Eliasz*, *Орест/Orest*; *Olaf* – *Орест/Orest*, *Олег/Oleg* oraz *Alan* – *Алим/Alim*, *Кассиан/Kasjan*. Podobną tendencję można stwierdzić w imiennictwie żeńskim, por.: *Патры́ця* – *Мария/Maria* (dwukrotnie), *Параске́ва/Paraskiewa*, *Дария/Daria*; *Sandra* – *Александра/Aleksandra*, *Марфа/Marta*, *Сарра/Sara*; *Urszula* – *Иулиания/Juliana*, *Иулия/Julia*, *Иулитта/Julita*; *Kamila* – *Клавдия/Klaudia* (dwukrotnie), *Христина/Krystyna*, *Елена/Helena*; *Karolina* – *Христина/Krystyna* (dwukrotnie), *Екатери́на/Katarzyna*, *Анна/Anna*; *Laura* – *Ларуса/Larysa*, *Илария/Hilaria*, *Мария/Maria*; *Marlena* – *Мария Магдалина/Maria Magdalena*, *Маргарита/Małgorzata*; *Wiktoria* – *Вероника/Weronika* (jedenastokrotnie), *Ника/Nika* (dwukrotnie), *Варвара/Barbara*, *Вера/W(i)era*, *Сарра/Sara*; *Gabriela* – *Гликерия/Glik(i)eria* (dwukrotnie), *Галина/Halina*, *Глафи́ра/Glafira*, *Ева/Ewa*, *Павла/Pawia*; *Martyna* – *Марфа/Marta* (czterokrotnie), *Марина/Maryna* (dwukrotnie); *Karina* – *Кириена/Kiriena*, *Екатери́на/Katarzyna*; *Oliwia/Olivia* – *Ольга/Olga* (czterokrotnie), *Екатери́на/Katarzyna*, *Александра/Aleksandra*, *Анна/Anna*; *Amelia* – *Емилия/Emilia*, *Анна/Anna*; *Maja* – *Мария/Maria* (dwukrotnie), *Моико/Moiko*, *Марина/Maryna*, *Марфа/Marta*.

⁶ Por. M. Malec, op. cit., s. 274, 326.

Odwracając niejako sytuację, okazuje się, że dane imię z kalendarza wschodniego posłużyło do nominacji osób o różnych imionach nadanych w USC, por.: *Кондрат/Kondrat* – *Konrad, Kasper*; *Варфоломей/Bartłomiej* – *Bartosz* (dziewięciokrotnie), *Kamil*; *Касян/Kasjan* – *Kasper* (dwukrotnie), *Alan*; *Хрестофор/Krzysztof* – *Kamil, Krystian*; *Орест/Orest* – *Olaf, Olivier*; *Кастор/Kastor* – *Radosław, Kasper*; *Анисья/Anisja* – *Inesa, Aniela*; *Александра/Aleksandra* – *Sandra, Oliwia*; *Мария/Maria* – *Magdalena* (ośmiokrotnie), *Maja* (dwukrotnie), *Patrycja* (dwukrotnie), *Laura*; *Христина/Krystyna* – *Karolina* (dwukrotnie), *Kamila*; *Екатерина/Katarzyna* – *Karolina, Karina, Kornelia, Oliwia*; *Марфа/Marta* – *Martyna* (czterokrotnie), *Maja, Sandra*; *Ольга/Olga* – *Oliwia/Olivia* (czterokrotnie), *Ola, Wioleta*; *Моико/Moiko* – *Monika* (dwukrotnie), *Maja*; *Анна/Anna* – *Hanna* (pięciokrotnie), *Amelia, Aneta, Karolina, Oliwia, Rozalia*; *Ника/Nika* – *Wiktoria* (dwukrotnie), *Nikola*; *Елена/Helena* – *Lena* (czterokrotnie), *Kamila*; *Ксения/Ksenia* – *Oksana* (dwukrotnie), *Roksana*; *Емилия/Emilia* – *Amelia, Estera*; *Сара/Sara* – *Sandra, Wiktoria*; *Марина/Maryna* – *Martyna* (dwukrotnie), *Maja*.

W analizowanym materiale można też odnaleźć „regularne” pary antroponimów, mimo że wystąpiły w analizowanym okresie kilkakrotnie, np. *Михаил/Michał* – *Miłosz*, *Васса/Wassa* – *Wanessa*, *Мелания/Melania* – *Milena* itd.

Szeroki wachlarz kombinacji zależy nie tylko od modeli przyjętych (zwykajowo) w konkretnych parafiach czy przez poszczególnych duchownych udzielających sakramentu. Jest on także wynikiem indywidualnego aktu nominacyjnego, związanego najczęściej z osobistym życzeniem rodziców lub z chęcią zastosowania przez księży różnorodności w zakresie użycia imion.

Jak dowodzi cytowany materiał, niektóre pary imion zestawione są z antroponimów etymologicznie tożsamy, ale odznaczających się dyferencją w zakresie słotwórstwa, por. *Варфоломей/Bartłomiej* – *Bartosz* (dziewięciokrotnie), *Иоанн/Jan* – *Janusz*, *Александра/Aleksandra* – *Sandra*, *Анна/Anna* – *Hanna* (pięciokrotnie), *Елена/Helena* – *Lena* (czterokrotnie), *Ксения/Ksenia* – *Oksana* (dwukrotnie), *Мария/Maria* – *Maja* (dwukrotnie), *Ольга/Olga* – *Ola*⁷. Formy zapisywane w USC, formalnie derywaty, we współczesnym imiennictwie stanowią odrębne jednostki nazewnicze. Nierzadko sami użytkownicy tego typu imion nie są świadomi ich sekundarnego charakteru. Sprzyja temu uznanie postaci derywowanych za oficjalne (podstawowe) formy przez świeckie urzędy⁸.

⁷ Por. m.in. M. Malec, op. cit.; H. Fros, S. Sowa, op. cit.; А.Н. Тихонов, Л.З. Бояринова, А.Г. Рыжкова, *Словарь русских личных имен*, Москва 1995.

⁸ Por. Cz. Kosyl, *Nadawanie imion w Polsce w świetle przepisów administracyjnych*, [w:] *Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej*, red. E. Homa, Szczecin 1988, s. 175.

W analizowanym materiale można też wyodrębnić niewielką grupę „podwójnych imion”, które zostały zestawione na zasadzie wspólnych lub zbliżonych form hipokorystyczno-deminutywnych, np. *Дорофей/Doroteusz* > *Darek* < *Dariusz*, *Максим/Maksym* > *Maks* < *Maksymilian*, *Ольга/Olga* > *Ola* < *Oliwia*, *Александра/Aleksandra* > *Ola* < *Oliwia*, *Юлия/Julia* > *Jula* i *Ula* < *Urszula*.

Dziewczynki, którym w USC nadano imię *Magdalena*, na chrzcie otrzymały imię *Maria* (9 przykładów). Wzorec ten, jeden z najbardziej tradycyjnych „schematów nazewniczych”, związany jest z postacią św. Marii Magdaleny. Forma *Magdalena* to w rzeczywistości przydomek odmiejscowy, który z czasem zaczęto traktować jako oddzielne imię własne⁹, które nie figuruje w spisie kanonicznych imion Cerkwi prawosławnej.

Ciekawym i – jak się wydaje – najbardziej właściwym rozwiązaniem posłużono się w jednej z bielskich parafii, gdzie dwie dziewczynki o imieniu *Wiktoria* (USC) ochrzczono, stosując semantyczny odpowiednik w postaci imienia *Huka*/ *Nika* (z gr. ‘zwycięstwo’).

Należy zauważyć, że w kilku przypadkach na chrzcie nadano inne imiona niż w USC (zazwyczaj o podobnej fonetyce), pomimo istnienia w kalendarzu wschodnim dokładnych odpowiedników, por.: *Estera* (cerk. *Estera/Есфирь*) – *Емилия/Emilia*, *Maciej* (cerk. *Maciej/Матфей*) – *Матфей/Mateusz*, *Maksymilian* (cerk. *Maksymilian/Максимилиан*) – *Максим/Maksym*, *Szymon* (cerk. *Szymon/Симон*) – *Симеон/Symeon*. Jak wynika z powyższych przykładów, użycie w charakterze imion chrzestnych innych antroponimów nie było podyktowane koniecznością. Trudno zatem jednoznacznie przesądzać o motywacjach, którymi kierowano się podczas ich doboru.

Godnym odnotowania faktem związanym z problematyką „dwuimienności” jest dość znacząca dysproporcja między męskim i żeńskim zestawem omawianych antroponimów. W latach 2001–2010 „podwójne imię” otrzymało 16,5% ochrzczonych chłopców. W nominacji żeńskiej odsetek ten jest ponaddwukrotnie wyższy i wynosi 34,4%. Należy zatem przypuszczać, że zainteresowanie rodziców imionami związanymi z motywacją świecką i wpływem obcych wzorców nazewniczych było częstsze w przypadku narodzin córki niż syna. Możliwe, że współczesne potencjalne źródła nazewnicze (literatura, prasa, film, Internet etc.) dostarczały więcej przykładów żeńskich imion tego typu. Można też pokusić się o stwierdzenie, że przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać gdzie indziej. Repertuar kanonicznych imion żeńskich w stosunku do liczby imion męskich jest znacznie uboższy. W kalendarzu wydanym przez Warszawską

⁹ Zob. np. A.H. Тихонов, Л.З. Бояринова, А.Г. Рыжкова, op. cit., s. 549.

Metropolię Prawosławną zamieszczono 917 imion męskich i tylko 246 żeńskich. Identyczną liczbę imion zawiera kalendarz wydany przez Patriarchat Moskiewski. *Spis imion prawosławnych...* obejmuje 979 imion męskich i 261 imion żeńskich. W *Trebniku*¹⁰ przewidziano odpowiednio 844 i 191 imion¹¹. Przedstawione dane jednoznacznie wskazują, że imiona żeńskie stanowią zaledwie 25,7% zestawu imion męskich¹². W związku z powyższym należy wnioskować, że wśród imion męskich istnieje większe prawdopodobieństwo w zakresie zbieżności upodobań imienniczych rodziców z występowaniem danego imienia w spisie prawosławnych imion chrzestnych. Nie ma zatem częstej potrzeby wprowadzania „dwuimienności”, czego nie można stwierdzić w odniesieniu do imion żeńskich.

W celu kompleksowego zobrazowania omawianego zagadnienia zostały uwzględnione również inne zapisy metrykalne, w których stwierdzono pewną nieadekwatność w relacji Cerkiew – USC. Jest ona związana z użyciem w sferze pozakościelnej podwójnych, w powszechnym rozumieniu tego słowa¹³, imion. W latach 2001–2010 stwierdzono osiem takich sytuacji:

Tabela 3

Imiona podwójne w USC

	Rok	Imię chrzestne	Imię w USC
1.	2004	Николай/Mikołaj	Mikołaj Bogdan
2.	2004	Александр/Aleksander	Aleksander Bartłomiej
3.	2008	Фома/Tomasz	Jarosław Tomasz
4.	2001	Мария/Maria	Milena Maria
5.	2003	Иулия/Julia	Marcelina Julia
6.	2005	Екатерина/Katarzyna	Maja Katarzyna
7.	2006	Александра/Aleksandra	Aleksandra Hanna
8.	2006	Ольга/Olga	Olga Maria

Zwróćmy uwagę, że w czterech przykładach (nr 1, 2, 3 i 8) oba imiona świeckie mogły być wykorzystane podczas chrztu. Zatem nadanie w USC podwójnego imienia było raczej podyktowane osobistym życzeniem rodziców niż uwzględnieniem czynników religijnych. Jak można przypuszczać, w podobny sposób kierowano się w przypadku dziewczynki, której nadano imiona *Aleksandra*

¹⁰ *Trebnik* – scs. *treba* ‘posługa religijna’ – księga liturgiczna w Kościele prawosławnym zawierająca porządek (ryt) udzielania sakramentów, sakramentaliów, błogosławieństw oraz teksty stosownych dla nich modlitw (zob. A. Znosko, *Mały słownik wyrazów starocerkiewnosłowiańskich i terminologii cerkiewno-teologicznej*, Warszawa 1983, s. 321).

¹¹ Por. *Kalendarz prawosławny 2007*, Wydanie Warszawskiej Metropolii Prawosławnej; *Православный церковный календарь 1998*, Издательство Московской Патриархии; *Spis imion prawosławnych...*; *Trebnik*, Варшава 1925.

¹² W zależności od źródła liczba ta waha się między 22,6% a 26,8%.

¹³ Por. przypis nr 1.

Hanna (przykład nr 7). Pierwsze imię posiada w Kościele prawosławnym charakter kanoniczny, nie było więc potrzeby dodawania drugiego imienia z przyczyn wyznaniowych. Jedynie w trzech sytuacjach (nr 4, 5 i 6) pierwsze imiona nie występują w kalendarzu obrządku bizantyjskiego. W tych przypadkach dwuimienność okazała się skutkiem, a być może również wolą rodziców umieszczenia imienia chrzestnego (jako drugiego) w dokumentach urzędowych. Przy założeniu, że w codziennych relacjach użytkownicy posługują się pierwszym spośród dwu imion, tylko trzy zapisy metrykalne (nr 4, 5 i 6) można rozpatrywać w kontekście „podwójnych imion”¹⁴.

Analiza powyższego materiału źródłowego pokazuje, że liczba imion chrzestnych, które nie są tożsame z imionami zapisanymi w USC, stanowi we współczesnym imiennictwie prawosławnym znaczny odsetek wszystkich badanych antroponimów. Omówiona sytuacja w znacznie większym stopniu dotyczy nominacji żeńskiej. Wybierając imiona chrzestne, kierowano się różnymi motywacjami, przy czym najczęściej zastosowano takie, które były fonetycznie zbliżone do imion używanych w sferze pozakościelnej.

Przedstawione zagadnienie rodzi pewną kwestię natury metodologicznej: czy przy analizie współczesnego imiennictwa mieszkańców danego obszaru wystarczy bazować tylko na imionach chrzestnych, skoro w wielu przypadkach ich użytkownicy *de facto* posługują się innymi imionami? Decydując się na chrzest dziecka, rodzice deklarują swoje przywiązanie do wartości religijnych. Wydaje się zatem, że osoby wierzące powinny traktować priorytetowo imiona chrzestne. Z drugiej strony imiona nadane na chrzcie, jeśli są inne niż w USC, są używane tylko w sferze religijnej. Dlatego też w celu kompleksowego ukazania systemu imienniczego danej miejscowości czy regionu warto w wypadku wystąpienia omawianej sytuacji odwołać się nie tylko do imion chrzestnych, ale również do imion świeckich zapisanych w USC. Naświetlony problem powinien być uwzględniany zwłaszcza przy badaniu współczesnego imiennictwa tych obszarów, gdzie prawosławni mieszkańcy stanowią znaczący procent ogółu ludności danego terenu.

Na zakończenie należy udzielić odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule artykułu. Jedną z najnowszych, modnych ostatnio tendencji nazewniczych jest nadawanie dzieciom imion „starodawnych”, niespotykanych od kilkudziesięciu lub kilkuset lat. Cytowany materiał dowodzi, że obecność w metrykach parafialnych tego typu imion niekoniecznie jest konsekwencją zamierzonego powrotu do zapomnianych tradycji imienniczych. Stanowi raczej próbę synchronizacji kanonów religijnych ze współczesnymi trendami w zakresie doboru imion.

¹⁴ W rozumieniu przypisu nr 1.

Резюме

Всегда ли употребление „старинных” православных имен в настоящее время является намеренным возвращением к традиции?

Статья посвящается православным именам, данным при крещении, отличающимся от имен, данных тем же детям в ЗАГСе. Анализ материала показывает, что число церковных и светских имен, между которыми нет прямого соответствия, составляет в современном православном именовании значительный процент всех исследуемых антропонимов (26,3%). Выбирая имена, данные при крещении, родители руководствовались разными мотивировками, причем чаще всего крестили именами, максимально приближенными к светским именам, т.е. опираясь на сходство звучания (напр. *Алим* – *Alan*, *Анисия* – *Inesa*, *Илария* – *Laura*, *Кириена* – *Karina*, *Мелания* – *Milena*, *Христофор* – *Krystian* и др.).

Цитируемый материал доказывает, что наличие в метрических записях „старинных” православных имен не всегда является намеренным возвращением к традиции. Скорее всего, является попыткой синхронизации современных направлений в области именования детей с церковными законами.

Summary

Old-style Orthodox first names given in modern times – do they always reflect an intentional return to tradition?

This paper deals with Orthodox baptismal names different from the first names given to the child at the Registry Office. Analysis of source material demonstrated that the number of baptismal names different from those given at the Registry Office constitutes a significant percentage (26.3%) of anthroponyms in the contemporary Orthodox name-giving trend. The choice of baptismal names was motivated by various reasons, but the most popular were names phonetically similar to the names used in the secular world (e.g. *Алим* – *Alan*, *Анисия* – *Inesa*, *Илария* – *Laura*, *Кириена* – *Karina*, *Мелания* – *Milena*, *Христофор* – *Krystian*, etc.).

The quoted material shows that the presence of old-style Orthodox names in parish birth records is not necessarily the consequence of an intended return to a forgotten name-giving tradition. It is instead an attempt to combine religious tradition with modern trends in name-giving.

Key words: linguistic, onomastics, first names, baptismal names, modern trends in name-giving.

Teresa Pluskota
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Bydgoszcz

Nazwy zawodów oraz stanowisk świeckich i kościelnych w toponimach dzierżawczych na dawnych Kresach południowo-wschodnich w wiekach XVI–XIX

Toponimia XVI wieku zachowuje wiele starych form językowych, a nazewnictwo miejscowe na pograniczach językowych – ze względu na bilingwizm – odzwierciedla różne warianty językowe nazw oraz hybrydy. Na dawnych Kresach południowo-wschodnich na różnorodność form wpływają ponadto zmiany przynależności państwowej oraz struktur Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej¹. Nazewnictwo miejscowe na tym obszarze potwierdza też wzrastające stopniowo wpływy polskie po przyłączeniu większości ziem ukraińskich do Korony i funkcjonowanie ich w granicach Rzeczypospolitej. Wpływy polskie silniejsze są – co zrozumiałe – na zachodzie obszaru, przyłączonego do Polski już w XIV wieku² i słabsze na wschodzie, włączonym do Korony w wyniku unii lubelskiej. W połowie XVII wieku prawobrzeżna Ukraina przechodzi pod wpływ Moskwy, co osłabia wpływy polskie na tym terenie (na innych obszarach Ukrainy panowanie Rzeczypospolitej trwa do rozbiorów³). Jeszcze mniejszy wpływ polski zauważamy na Czernihowszczyźnie z krótkim okresem panowania Rzeczypospolitej w XVII wieku. Przytaczam przykłady z tego województwa, ponieważ są one niekiedy uzupełnieniem cech toponimii woj. kijowskiego, innym razem wskazują na różnice między nazewnictwem Kijowszczyzny i Czernihowszczyzny. Wybrałam okres po XVI wieku, ponieważ jest on szczególnie interesujący ze względu na wspomnianą już nasilającą się polonizację, kończącą analizę na XIX wieku, aby pokazać zmiany w toponimii dotyczącej niewielkiego

¹ Analiza struktur i jej zmiany są omawiane w wielu opracowaniach, por. np. L. Bieńkowski, *Organizacja Kościoła Wschodniego w Polsce*, [w:] *Kościół w Polsce*, t. 2, Kraków 1970, s. 781–1049; S. Litak, *Struktura terytorialna Kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 roku*, t. 4, Lublin 1980.

² Wł. A. Serczyk, *Historia Ukrainy*, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1979, s. 53–54.

³ Ibidem, s. 141 i 202.

zakresu tematycznego: nazw miejscowych utworzonych od nazw zawodów. Dla celów porównawczych używam terminów dawnych podziałów administracyjnych z XVI i XVII wieku (województwa i powiaty). Ze względu na ograniczony charakter wystąpienia wybrałam do analizy nazwy dzierżawcze z suf. *-ov*, *-in*, a zwłaszcza z suf. *(-ov)ka*⁴, które tworzą znaczące grupy toponimów. Powstawały one na przestrzeni stuleci, odzwierciedlają więc różne poziomy nazewnictwa. Formant *-ovka* był szczególnie produktywny w XVII i XVIII wieku, tworzył wiele nazw miejscowych, pojawiły się wówczas nowe warianty językowe zawodów. Wśród badanych toponimów, odnotowanych niżej, występują liczne nazwy miejscowe, w których w miarę jednoznacznie można określić ukraińskie i polskie rdzenie, por. *Popowka*, *Xiędzówka*, oraz takie, w których rozróżnienie nie jest tak wyraziste, np. *Kowalówka*. Jako pierwsze analizuję stanowiska cerkiewne i kościelne, następnie zawody i stanowiska świeckie, wydzielając ukraińskie i polskie nazwy. Podaję polskie i ukraińskie określenia zawodu, jeśli toponimia nie podpowiada konkretnego rozwiązania.

Materiał od XVI do XVIII wieku, który pochodzi z różnych źródeł: ukraińskich i polskich, publikowanych i niepublikowanych⁵, uzupełniony został o materiał z XIX wieku z map *Atlasu historycznego ziem ruskich Rzeczypospolitej Aleksandra Jabłonowskiego* [Jabł].

Wyłączyłam dawne nazwy służebne, ponieważ poświęciłam im i nazwom etnicznym odrębny artykuł⁶. Odnoszę się do nich w każdym z przytaczanych zawodów, odnotowując, czy nazwa zawodu występuje w toponimach odrodowych i odpatronimicznych. Ponadto nazwy służebne wskazują na starszą warstwę toponimiczną, a nazwy odzawodowe (zwłaszcza te z produktywnym w XVII i XVIII wieku sufiksem *-ovka*) na nowszą warstwę. Interesują mnie językowe warianty nazw zawodu, częstotliwość występowania form, łączliwość formantów, geograficzne zróżnicowanie.

Analizę materiału rozpoczynam od **nazw stanowisk i pozycji w hierarchii cerkiewnej**. Strus. *nonъ* (ukr. *nin*, *nona*) występuje w różnych strukturach morfologicznych z suf. *-ov-*, *-ovka* w XVII i XVIII wieku: *Popow*⁷, *Popowa*⁸, *Popowo*

⁴ W takiej formie sufiks jest notowany najczęściej w toponimii, niekiedy również w źródłach ukraińskich.

⁵ Spis najważniejszych źródeł wykorzystanych w pracy umieszczono na końcu artykułu.

⁶ T. Pluskota, *Nazwy etniczne i nazwy służebne w nazwach miejscowych Ukrainy i pogranicza polsko-ukraińskiego od XVI do XVIII wieku*, „Acta Polono-Ruthenica” 2007, t. XII, s. 199–209.

⁷ Toponimy mogą być odnazwiskowe, wspominałam o grupie nazw z rdzeniem *pop* i *biskup* w artykule: *Leksyka religijna w nazewnictwie miejscowym województwa kijowskiego i czernihowskiego w XVII i XVIII wieku*, „Acta Polono-Ruthenica” 2008, t. XIII, s. 457–468.

⁸ Jeśli toponim występuje w wielu źródłach i potwierdzany jest licznymi ilustracjami, nie podaję skrótów źródeł.

na Podolu, Braclawszczyźnie, Kijowszczyźnie i Czernihowszczyźnie, *Popowiczew*⁹ tylko w dawnym woj. czernihowskim, *Popowka* notowana jest na Wołyniu (krzem.), woj. czernihowskim i kijowskim; leksem *pop* występuje w XVIII wieku w zestawieniach: Kij: *Popow-Róg* 1789 [Ist], Cz: *Popowa Słoboda* [Pert] i in. *Pop* znany jest w toponimii już od XVI wieku w nazwach patronimicznych w Kijowszczyźnie i Czernihowszczyźnie, na Wołyniu i Podolu, woj. ruskim: *Popowice*, *Popowicze*, *Popowce*. Te modele słowotwórcze i toponim *Popowiczew* sugerują odnazwiskowe pochodzenie nazwy miejscowej.

Na cerkiewną lub świecką pozycję wskazuje ukr. *дяк, дячок* [Hrin] ‘kleryk w kościele wschodnim, diak, psalmista w cerkwi; osoba urzędowa’. Występuje on z suf. *-ov* w XVI wieku na Podolu i na Wołyniu w pow. krzemienieckim, por.: *Dyjakow* 1583 [Ż19], *Dijakow* 1577 [Sang]; znany też jest w toponimach z suf. *-ce*: *Diakowcze* w XVI wieku na Podolu, a w kolejnych wiekach na Kijowszczyźnie.

Ukr. *чернець* ‘zakonnik w kościele wschodnim i og. mnich’ [SW] pojawia się w zrostach i złożeniach: *Czerncze horodok*, *Czerncz-horodek* i notowany jest na Wołyniu w XVI w., z suf. *-ina* w XVIII wieku w Czernihowszczyźnie, por. *Чернечина* (tu może być przeniesienie ukr. apelatywu *чернещина*); przymiotnik utworzony od *czerniec* mamy w pojedynczych przykładach zestawień w XVIII wieku: *Czerneczia Słoboda* w woj. czernihowskim [Pert]. Szerzej *чернець* znany jest w nazwach odrodowych lub odslużebnych (*Czerncze* i in.) w XVI i XVII wieku, głównie w ziemi halickiej, na Podolu i Wołyniu.

Określenia **stanowisk** w hierarchii **Kościoła katolickiego**, zachowane w toponimach, pochodzą z Wołynia. Mają one, co oczywiste, polskie rdzenie, występując w nazwie dzierzawczej, np. pol. *biskup* w toponimie *Biskupie* w XVII wieku, jak też w nazwach miejscowych *Biskupice* i *Biskupicze Małe* na Wołyniu, które mogą pochodzić od nazwiska lub wskazywać na ludzi należących do biskupa.

Jako kolejne określenie stanowiska kościelnego omówię pol. *pleban* ‘proboszcz wiejski’ [SW], notowany też w wariantcie *kleban* [SW]: *Plebanowka* i *Klebanowka* na Wołyniu w XVI wieku, *Plebanowka* w ziemi halickiej od XVII do XIX wieku. *Ksiądz* notowany jest od XIX wieku: *Xiędzówka* [Jabł] w ziemi halickiej i *Księżówka* (może pochodzić też od *księcia*) na Podolu; wcześniej, w XVIII wieku, również na Podolu pojedynczo zanotowano *Księżyk*¹⁰. Już w XVI wieku w kilku toponimach występuje przymiotnik utworzony od rzeczownika *pleban*, por. *Machnow Plebani* 1531 [Ż18] w woj. bełskim, w następ-

⁹ Ze względu na liczne warianty nazw zachowuję źródłowy zapis toponimu.

¹⁰ Nazwa może mieć odniesienie do leksemu *książe*.

nym wieku przymiotnik *księży* na tym samym obszarze występuje w zestawieniach: *Kustoszyn Xiezy*, *Lieski Xięze* 1673 [ASKI], *Machnow Xiezy* 1673, *Machnuwek Xięzy* 1751 [Czop]. O tym, że przymiotnik został utworzony zapewne od *księdza*, świadczy zastępowanie nim przymiotnika utworzonego od *plebana*, por. wyżej *Machnow Plebani* i *Machnow Księży*.

Kolejnym stanowiskiem kościelnym w toponimii badanego obszaru jest sporadycznie notowany pol. *diakon* ‘mający drugie, a w kościele wschodnim pierwsze święcenie, o jeden stopień niższe od kapłana’ [SW]. Leksem *diakon* używany jest w toponimii ziemi bełskiej, chełmskiej i lwowskiej w formie *Dia-konow* od XVI wieku: *Dyaconow* 1531 [Ż18], *grab, Diakonow* 1564 [Lw], *Dia-konów/Dyakonuw* 1662 [ASKI], *Diakonowo* 1765 [Ist]. W pojedynczej nazwie w ziemi bełskiej jest też polski *dziekan* ‘proboszcz mający władzę nad kilkoma parafiami’ [SW]: *Dzieskanow* 1770 [Pert]. W nielicznych nazwach występuje stpol. *mnich* ‘zakonnik, duchowny żyjący pod regułą’ [SW], zapisany w ziemi halickiej i na Podolu w toponimach z suf. *-ovka*: *Mnichowka* 1660, *Mnichowka* 1616 [Bucz] oraz z suf. *-in-* na Wołyniu: *Mniszyn(o)* 1577 [Ż19]. W nazwach rodowych *Mnichy* notowane są w Braclawszczyźnie.

W pojedynczej nazwie mamy pol. *pustelnik* (toponim *Pustelnik* odnotowany został w ziemi bełskiej w XVII wieku) oraz *rabin* ‘nauczyciel żydowski’ [SW], zapisany w XIX wieku na Wołyniu w: *Rabijówka* i *Rabijowska* [Jabł].

Jeśli analizować **stanowiska świeckie i pozycje w społeczeństwie**, to ukraińskie lub staroruskie rdzenie ilustrowane są kilkoma określeniami. Jednym z nich jest strus. *холоп* ‘chłop, sługa, niewolnik’, przywiązany do ziemi’ [Srezn], por. *Cholopeczka* 1671 [Sz] na Wołyniu w XVII wieku. Nazwa utworzona została zapewne od pobliskiej nazwy miejscowej *Chołopicze*. Wcześniej, od XVI wieku, *холоп* notowany jest na całym obszarze w nazwach rodowych i patronimicznych na Wołyniu: *Chołopy*, *Chołopicze*, niekiedy obok ukr. i pol. *chłop* ‘wieśniak, rolnik, poddany’ [SW, Hrin], por. w ziemi lwowskiej: *Chłopy* 1515 [Ż18], *Chłopy* 1663 [ASKI].

W nazewnictwie odzwierciedlony jest ukr. i strus. *царь* ‘monarcha rosyjski; chan panujący u tatarów, sułtan turecki’ [Hrin]: *Царево* 1552 [Arch7] w Kijowszczyźnie, a w XVII wieku w Czernihowszczyźnie licznie notowany jest w zrostach i złożeniach z elementem *-grad*: *Царуграда Царугород, Царграда*; w XVIII wieku – także *caryca* ‘żona cara, żeńska forma od car’ [SW]: *Caryca* 1658, 1621 [Sig], cz. *Царицинь* 1716 [OpisMał, 303]. W pojedynczych toponimach odnotowano ponadto ukr. *хан* [Hrin.] na Braclawszczyźnie – *Хановъ* 1552 [Arch7] oraz *чабарь* w *Czabarówka* [Jabł] na Podolu w XIX wieku, por. ukr. *чабарня* ‘owczarnia, zagrody i chlewy dla owiec i miejsce dla pastuchów’ [Hrin].

Ukr. *князь* lub pol. *kniaź* ‘książę, szczególnie ruski albo litewski’, ale też ‘szlachcic, wojak mający swojego konia’, ‘urzędnik sądu wiejskiego, sołtys wsi na prawie wołoskim’ [Słstp, SW] notowany jest na Wołyniu, Podolu, ziemi halickiej, w woj. bełskim od XVI wieku, w większości w formie przymiotnika. Polską formę *kniaży* ‘kniaziowski’ lub ukr. *княжа* ‘młody książę’ [Hrin] mamy w toponimach: *Kniazie* Błs, *Kniaże*, *Kniaze* Hal, *Kniaze* Lw, *Kniazie/Kniaz* Woł, *Kniaże* Ch, a w zroście już od XVI stulecia przez cały badany okres, por. *Kniaziostani* 1554 [Czop] zastępowane w XVII przez *Xiezostany* 1625 [Czop]. Podobnym przykładem funkcjonowania obocznych form jest w XVIII wieku *Księżnina/ Kniehynina* w woj. bełskim oraz *Książ* seu *Kniazie* w ziemi chełmskiej. W innych zestawieniach lub zrostach przymiotnik *kniaży* występuje głównie w woj. ruskim i bełskim od XVI wieku: Lw: *Knezaluca* i *Kniezeszyolo* 1515 [Ż18], Błs: *Kniaze* *Lubyckie*, *Lubycza-Kniazia/ Kniaze* *Lubyckie* 1788; Hal: *Knezdwor* 1515 [Ż18], *Kniazdwor* 1696 i *Kniazdworka*, *Kniazdwor* 1707 [Bucz] oraz *Kniaźdwór* [Jabł] w XIX stuleciu. W pojedynczych nazwach przymiotnik ten notowany jest też w Braclawszczyźnie w XVII i XVIII w., por. *Kniaża Krynica* 1629 [Ż20]. W nazwach miejscowych z danym określeniem zauważyć można nie tylko proces polonizacji zapisów przez pojawianie się nazw wyrażenie polskich, ale też inne procesy charakterystyczne dla toponimii, np. maskulinizację form, por. *Kniaże* w XVI i XVII oraz *Kniaź* w XVIII i XIX wieku, oraz *Cnyehynino* 1509 [Bucz], *Kniehynin* 1670 i 1735 [Bucz].

Ukraińska *княгиня* ‘księżna, żona księcia’ [Hrin], pol. *kniehynia*, *kniehynia* [SW] występuje na Podolu, Wołyniu, ziemi lwowskiej i halickiej od XVI wieku. Są to przede wszystkim toponimy z suf. *-in* lub rzadziej *-ina*, *-ino*: *Cnyehynino/ Knehinin*, *Kniehinin* Pod, pojedynczo obok *kniehyni* występuje *księżna*: *Kniehynina* i *Księżnina* na Podolu w XVII wieku, *Kniehynin* i *Knehynin* na Wołyniu [Pert], *Kniehynin* Lw, *Kniehinino* Cz. *Kniaź* i *kniehyni* notowane są na całym obszarze w XVI i XVII wieku w toponimach odpatronimicznych, por. *Kniehynicze*, *Kniażycze* Kij.

Nazwy zawodów w polskiej wersji językowej reprezentowane są w toponimii kilkoma przykładami. Częsty w nazwach dzierżawczych jest *bednarz*. Notowany jest w toponimach z suf. *-ov-* i *-ovka* w ziemi halickiej i w woj. braclawskim (*Bednarowka*) w XVII i XVIII wieku: *Bednarow* 1661 [ASKI]; *Bednarowka* 1770 [Pert], *Bednarzow* w XVIII wieku. W wersji polskiej (*bednarz*) lub ukraińskiej (*bondar*’, *bodnar*’) występował ten zawód w toponimach służebnych od XVI wieku w woj. kijowskim: *Bednarze*, *Bondary*. W pojedynczych nazwach notowane są w XVI i XVII wieku polskie określenia zawodu: *leśniczy* i *rycerz* ‘żołnierz konny stanu szlacheckiego w dawnej Polsce’ [SW] w woj. ruskim:

Lesniczy [ASKI], *Rycerzów regaliu* albo *Skniłów*. Pozostałe polskie określenia zawodu zapisane zostały w nielicznych nazwach miejscowych. Od XVIII wieku w pojedynczych nazwach notowany jest pol. *furman* ‘woźnica, stangret’ [SW]: *Furmanowka* na Podolu 1789 [Ist], od XVI wieku na tym obszarze *furman* jest widoczny w toponimach z suf. *-ce*: *Furmanowce*, *Furmanowce* alias *Okuniów*. W XIX wieku mamy kolejne zawody i stanowiska: *dragon* ‘kawalerzysta, pełniący służbę pieszo i konno’ [SW], *stróż*, *pulkownik* (*półkownik*, przym. *półkowniczny* SW): *Draganówka* i *Stróżówka* na Podolu [Jabł], *Półkownicza* [Jabł] w Braclawszczyźnie.

W niektórych toponimach w jednym źródle lub wieku występuje polskie, w innym ukraińskie określenie zawodu, ze względu na niejednoznaczną pisownię w XVI i XVII wieku językowy wariant jest niekiedy trudny do określenia. Ukr. *нучарь* [Hrin], pol. *pisarz*, *pisary* ‘piśmienny urzędnik, przepisywacz, kopiści’ [SW] odzwierciedlony jest od XVI wieku tylko na Wołyniu: *Pisarze(o)wka*, *Писаревка*, w XIX notowana jest tam *Pisarzówka* (2 wsie), w Braclawszczyźnie w XVII i XVIII wieku mamy *Pisarzewka* 1647 [Arch7], *Pisarowka* 1770 [Pert], *Pisarzowka* 1765 [Ist]; bezpośrednio utworzony od nazwiska jest zapewne *Pisarzewiczew* [Pert], notowany w XVIII wieku w Czernihowszczyźnie. Ukr. *ганчарь* ‘ten, co wyrabia i sprzedaje garnki, garncarz’ [Hrin.], pol. *garncarz*, *gancarz*, *garcarz* [SW] pojawia się w toponimach dzierżawczych od XVII wieku w ziemi halickiej: *Hanczarow* 1660 [Bucz], *Ganczarow* w XVIII wieku [Bucz], w tym samym wieku w ziemi kijowskiej mamy *Hanczarycha* od *ганчаруха* ‘żona garncarza’ [Hrin] i *Ganczarowszczina* [Pert] w woj. czernihowskim. Ukr. *пекарь* [Hrin] i pol. *piekarz* mamy w toponimach: *Piekarow* 1641 [Sig] i *Piekarz* 1770 [Pert] w Kijowszczyźnie. Ukr. *колодії*, pol. *kołodziej* ‘wyrabiający koła do wozu, koleśnik’ [SW] odzwierciedlony jest w toponimii od XVII do XIX wieku: *Kołodziejowka*/ *Kołodziejowka* na Podolu i w ziemi halickiej, w XVIII i XIX wieku w. *Kołodziejówka* z polskim *-ówka*, tu też oboczna nazwa *Kołodziejow* w XVIII wieku. Ukr. *косар’*, pol. *kosarz*, *kosiarz* [SPXVI] występuje w nazwach miejscowych na Wołyniu od XVI wieku: *Kosiarzew(o)* 1570 [Ż19], *Kosarzow* 1673 [ASKI], *Косаровъ* 1648-1658 oraz *Kosar* [Pert], *Kosar’* [SG] w XVIII i XIX wieku. Ukr. *козарь* ‘pastuch kóz’ [Hrin], pol. *koziarz*, *kozarz* [S1XVIw.] pokazują toponimy: *Kozar* w Czernihowszczyźnie w XVII wieku, *Kozarowka* [Pert] na Podolu i woj. kijowskim w XVIII wieku, *Козаркзпод* [Arch3/1] w XVII wieku w Kijowszczyźnie. Wymienione zawody odnotowano w odsłужebnych lub odpatronimicznych nazwach na Podolu, Wołyniu, Kijowszczyźnie: *Koziarowce*, *Kozary*, *Kozarowicze*/ *Koziarowice*, *Kozarcze* już od XVI i XVII wieku. Kolejne zawody odzwierciedlone zostały w nielicznych nazwach miejscowych również w polskim

i ukraińskim wariacie. W toponimach XVII i XVIII wieku w Kijowszczyźnie i Czernihowszczyźnie występuje *дегтярь* ‘dziegciarz, zajmujący się wyrabianiem i sprzedawaniem dziegciu’ [Hrin]: *Дегтяровка* Cz, por. też. *Dohtyary* 1663 [Sig7 (25v)], w XIX wieku dołącza polski odpowiednik zawodu – *dziegciarz*, por. *Dziegiarnia* [Jabł] na Wołyniu. W XVIII wieku w toponimach na Wołyniu i Podolu pojawia się ukr. *токарь* ‘tokarz’, pol. *tokarz* [SW]: *Tokarow* Woł, *Tokarowka* Pod. Ukr. *зґар* ‘husarz’, pol. *husarz* ‘m.in. ciężki jeździec polski’ [SW] w XVII wieku w: *Huszarowka* Hał, *Huszaryn* Pod. Trudno określić też jednoznacznie językowy wariant rdzenia w toponimach z pol. *kowal*, ukr. *коваль*: *Kowalin* w XVI i XVII wieku, *Kowalo(e)wka* na Podolu i Kijowszczyźnie w XVIII wieku, *Kowalowszczyzna* albo *Kowalińska* w XVII oraz *Kowalewo* w XVIII wieku w Czernihowszczyźnie; *kowal* notowany jest też w nazwach odslużebnych czy odrodowych na Wołyniu, Kijowszczyźnie i Czernihowszczyźnie: *Kowale* Woł, Kij, *Kowalki* Kij.

Podsumowując, należy podkreślić, że nazwy zawodów potwierdzają, iż toponimia na Kresach południowo-wschodnich odzwierciedla ich wielokulturowość i często jest zróżnicowana geograficznie. Ukraińskie, niekiedy staroruskie rdzenie, częściej dotyczą wschodnich i centralnych obszarów Ukrainy. Są to zwykle leksemy szeroko znane na tym obszarze, np. *kniaź*. W kolejnych wiekach niejednokrotnie pojawiają się obok nich polskie warianty zawodu. Wchodzą one do toponimii wraz z rozszerzaniem się wpływów polskich na wschód i postępującą polonizacją zapisów nazw w XVII i kolejnych wiekach. Polskie rdzenie dotyczą pojedynczych stanowisk w hierarchii Kościoła katolickiego zachowanych w toponimii na zachodnich obszarach oraz zawodów *bednarz*, *furman*, *stróż*, *pulkownik*. Ale wiele z zawodów występuje w obu wariantach językowych w toponimii w zasadzie od XVII wieku.

Stosowane skróty

a) cytowanych źródeł (kursywą są zapisywane tytuły źródeł publikowanych)

[Ż18] – *Źródła dziejowe*, t. XVIII, *Ziemia ruskie. Ruś Czerwona*, cz. I, Warszawa 1902.

[Ż19] – *Źródła dziejowe*, t. XIX, *Ziemia ruskie. Wołyń i Podole*, Warszawa 1889.

[Ż20] – *Źródła dziejowe*, t. XX, *Ziemia ruskie. Ukraina (Kijów-Braclaw)*, Warszawa 1894. (cyfry w nawiasie wskazują na rok przeprowadzonej lustracji czy rejestru podatkowego)

[Arch3], [Arch4], [Arch5], [Arch6] – *Архив Юго-западной России издаваемый Временною Коммиссиею для разбора древних актов*, ч. 1–8, Киев 1859–1935. (cyfry w nawiasie wskazują na nr tomu, przed nawiasem notowany jest rok, w którym forma została zapisana)

[OpisMał] – *Список наявних у Малоросійській губернії селищ 1799–1801 років* [в кн.:], *Описи Лівобережної України кінця XVIII і початку XIX ст.*, Київ 1997.

- [Pert] – mapa *Polonia 1770* K. de Perthéesa, Warszawa 1987.
- [Sig] – *Sigillata Metryki Koronnej* – mikrofilmy, Archiwum Skarbu Koronnego, w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (wypisy z ksiąg 1569-1673), dz. 56, k5-k182v.
- [Sang] – *Archiwum XX. Sanguszków w Sławucie. Dyplomatarysz Gałęzi Niesuchojeskiej*, t. VI, 1549-1577, we Lwowie 1910.
- 1564-1565 [Lw] – *Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564–1565*, cz. I, Łódź 1992.
- 1662 [ASKI], 1673 [ASKI] – Podymne, pogłównie, kwarciane ziemi chełmskiej, halickiej, żydaczowskiej, woj. podolskiego, woj. wołyńskiego, 1661–1674: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego, dz. I.
- 1671 [Sz] – *Szłażne woj. wołyńskiego 1661–1674*: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego, dz. I, mikrofilmy 65, 69.
- 1765 [Ist], 1789 [Ldk], 1789 [Ist] – *Lustracje starostw, dzierżaw, dóbr królewskich, inwentarze wsi i starostw*: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego, dz. 46.

b) słowników:

- Hrin. – Б. Грінченко, *Словарь української мови*, т. 1–4, (репринтное издание), Лексикон, Київ 1996.
- SG – *Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich*, t. I–XV, nakł. F. Sulimierskiego i Wł. Walewskiego, Warszawa 1880–1902.
- Slstp – S. Urbańczyk (red.), *Słownik staropolski*, t. I–, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, od 10. tomu Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1953–2002.
- Srezn. – И. И. Срезневский, *Словарь древнерусского языка* (репринтное издание), т. 1–3, Книга, Москва 1989.
- SPXVI – M. R. Mayenowa (red.), *Słownik polszczyzny XVI wieku*, t. I–, Instytut Badań Literackich PAN, Wrocław 1966–.
- SW – J. Karłowicz, A. Kryński, Wł. Niedźwiecki (red.), *Słownik języka polskiego*, t. I–VIII, Warszawa 1900–1927.

c) jednostek administracyjnych:

- Błs – województwo bełskie
- Ch – ziemia chełmska
- Cz – województwo czernihowskie
- cz – powiat czernihowski
- grab – powiat grabowiecki
- Hal – ziemia halicka
- Kij – województwo kijowskie
- krz – powiat krzemieniecki
- Lw – ziemia lwowska
- Pod – województwo podolskie
- Woł – województwo wołyńskie

d) innych skrótów:

- cerk. – cerkiewny
- og. – ogólny
- pol. – polski
- stp. – staropolski
- pow. – powiat
- strus. – staroruski
- ukr. – ukraiński
- woj. – województwo

Literatura

- Бучко Д. Г., *Походження назв населених пунктів Покуття*, Вид. Світ, Львів 1990 [Bucz].
- Czopek B., *Nazwy miejscowe dawnej ziemi chełmskiej i bełskiej* (w granicach dzisiejszego państwa polskiego), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988 [Czop].

Jabłonowski A. (oprac.), 1889–1904, *Atlas historyczny Rzeczypospolitej. Epoka przełomu z w. XVI na XVII. Dział II: Ziemie ruskie Rzeczypospolitej*, wykonany w Wojenno-Geograficznym Instytucie w Wiedniu, Warszawa – Wiedeń 1889–2004 [Jabł].

Pluskota T., *Nazwy miejscowe ziem ruskich Rzeczypospolitej XVI–XVIII w. Toponimia Ukrainy i pogranicza polsko-ukraińskiego*, Wyd. WSP, Bydgoszcz 1998.

Serczyk Wł. A., *Historia Ukrainy*, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1979.

Резюме

Наименования профессий и светских и церковных функций в посессивах на юго-восточных окраинах Речипосполитой в XVI–XIX вв.

Многокультурность древних Кресов нашла отражение также в топонимии, часто дифференцированной на данной территории географически. Посессивы с суфф. *-ов-*, *-ин* и *-овка* образуют значительные группы топонимов, которые возникали на протяжении столетий. Суффикс *-овка*, например, был продуктивным формантом в XVII и XVIII ст. и образовал многие названия населенных пунктов; появились тогда новые названия профессий, напр., польские *bednarz*, *tokarz*. Среди исследованных топонимов выступают многочисленные наименования населенных пунктов, в которых можно достаточно четко определить украинские и польские корни, напр., *Поповка*, *Ksiedzówka*, и такие, в которых трудно провести такую дифференциацию, напр., *Ковалевка*. В статье представлены обе группы названий. Принятый для исследования период (XVI–XIX вв.) позволяет, кроме того, показать некоторые процессы, происходящие в данной группе топонимов, напр., вхождение в топонимию польских вариантных названий, которые появляются вместе с усилением и расширением на восток польских влияний в XVII и XVIII веках.

Summary

Names of professions and positions of secular and ecclesiastical possessive toponyms in the former south-eastern borderlands in the 16th–19th century

Multiculturalism of the former south-east borderlands is also reflected the local nomenclature which is often geographically diverse. Possessive names with suffixes *-ov*, *-in*, especially with *-(ov)ka* form a significant group of toponyms which have emerged over the centuries. *-ovka* affix was productive in the seventeenth and eighteenth century. It created a lot of new names of places, still new language versions of professions emerged, such as Polish *bednarz*, *tokarz* et al. Among profession-derived toponyms there are many place names in which we can just clearly determine Ukrainian and Polish stems, conf. *Popowka*, *Xiędzówka*, and those in which such differentiation is not so clear, e.g. *Kowalówka*. The paper shows both the groups. The assumed research period (16th–19th c.) allows in turn to show some changes in a given group of toponyms such as the emergence of variants of Polish names which fall within the toponymy as the Polish influences were broadening eastwards and polonisation was progressing in the 17th and 18th century.

Key words: Place names, Borderlands south-east, 16th–19th century, names of professions.

Anna Rudyk
Uniwersytet Rzeszowski

Rosyjskie odpowiedniki przekładowe polskiego predykatywu *trzeba*

Problem klasyfikacji słownictwa na części mowy nie jest kwestią oczywistą i przysparza lingwistom wielu trudności. Obok jednostek reprezentatywnych istnieją bowiem leksemy nietypowe, których status gramatyczny jest dyskusyjny. Jednym z podstawowych kryteriów klasyfikacji wyrazów na części mowy jest kryterium składniowe. Aby ocenić charakter gramatyczny wyrazu, uwzględnia się jego stronę znaczeniową, kategorię semantyczną, ale również przydatność składniową¹.

W skład funkcjonalnej klasy predykatywów wchodzi wyrazy odnoszące się do różnych części mowy, np.: *trzeba, można, надо, можно* (określane również jako czasowniki niewłaściwe), *żal, pora, жаль, пора* (występujące prymarnie jako rzeczowniki), *cicho, wesoło, тихо, весело* (homonimiczne przysłówkom). W literaturze przedmiotu spotykane są też terminy: „kategoria stanu”, „przysłówki predykatywne”, „безлично-предикативные слова”², gdyż omawianą grupę leksemów cechuje niejednorodność i lingwiści nie są do końca zgodni co do jednoznacznej interpretacji i zawartości pojęcia. Wyodrębnienie predykatywów w samodzielną kategorię leksykalną stało się możliwe dzięki odsunięciu na plan dalszy ich cech morfologicznych, a wyeksponowaniu kryterium semantycznego.

Predykatywy modalne łączą w sobie dwie istotne dla ich opisu kategorie gramatyczne: tworzą jądro predykatywne w konstrukcjach bezosobowych i jednocześnie pełnią funkcję leksykalnych środków wyrażenia kategorii modalności³.

¹ S. Jodłowski, *Studia nad częściami mowy*, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1971, s. 83.

² „Предикативы, категория состояния, безлично-предикативные слова, предикативные наречия ? слова, обозначающие нединамическое состояние и выступающие в функции главного члена (сказуемого, предиката) однокомпонентного (односоставного, безличного) предложения”. Por.: *Русский язык. Энциклопедия*, red. Ф.П. Филин, „Советская энциклопедия”, Москва 1979, s. 226. Zob. też: S. Jodłowski, op. cit., s. 86; *Русский язык. Энциклопедия*, red. Ю.Н. Караулов, „Дрофа”, Москва 2003, s. 368.

³ M. Mocarz, *Predykatywy modalne w konfrontacji przekładowej*, [w:] *Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekład*, red. L. Pisarek, J. Sokołowski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 255.

Modalność w tego typu strukturach związana jest z wewnątrzdaniowymi zależnościami między czynnością a jej subjektem. „Эти модальные отношения между субъектом и действием – можно назвать внутрисинтаксическими модальными отношениями, в отличие от внешнесинтаксических модальных отношений (отношения содержания высказывания к действительности и отношения говорящего к содержанию высказывания)”⁴.

Celem niniejszego artykułu jest wyodrębnienie ekwiwalentów polskiego predykatywu *trzeba* występujących w tekście przekładu na język rosyjski oraz ich analiza w konkretnych sytuacjach użycia. Jako źródło materiału faktograficznego posłużyły teksty współczesnej prozy polskiej oraz ich rosyjskie przekłady⁵. Łącznie odnotowano 249 użyc leksemu *trzeba*.

Słownik polsko-rosyjski podaje następujące ekwiwalenty leksemu *trzeba*: ‘в знач. сказ. надо, нужно, необходимо; следует’⁶. Wachlarz znaczeń, jakie może wyrażać predykatyw *trzeba*, prezentuje *Inny słownik języka polskiego*⁷:

1. ‘Jeśli **trzeba** coś zrobić lub **trzeba**, aby powstała jakaś sytuacja, to zrobienie tego lub powstanie tej sytuacji jest podyktowane jakąś potrzebą lub koniecznością’. Por.:

Geodeta może szybko zrobić mapkę, ale jutro wyjeżdża na urlop, więc mapkę **trzeba** dzisiaj odebrać.

*Он готов был срочно подготовить план, но завтра собрался в отпуск, а потому чертеж **надо** забрать сегодня.* (SnT)

Żeby przeżyć, **trzeba** przynajmniej mieć co jeść.

[...] *чтобы выжить, **нужно** хоть чем-нибудь питаться.* (UdS)

Muszę wszystko przygotować, **trzeba** przesunąć stół i znaleźć nowe miejsce dla książek, przenieść do małego pokoju łóżko...

*Я должна все приготовить, **нужно** перенести стол и найти новое место для книжных полок, а кровать переставить в маленькую комнату...* (UdS)

W przytoczonych przykładach występują odpowiedniki słownikowe predykatywu *trzeba*: *надо* i *нужно*.

⁴ Г.А. Золотова, *Очерк функционального синтаксиса русского языка*, URSS, Москва 2005, s. 151-152.

⁵ Polskie teksty i ich tłumaczenia na język rosyjski w wersji elektronicznej: M. Gretkowska, *Kobieta i mężczyźni* (KiM) / М. Гретковская, *Женщина и мужчины*; K. Grochola, *Nigdy w życiu* (NwŻ) / *Никогда в жизни*; eadem, *Podanie o miłość* (PoM) / *Заявление о любви*; eadem, *Serce na temblaku* (SnT) / *Сердце в гинце*; eadem, *Uproważnienie do szczęścia* (UdS) / *Гарантия на счастье*; J.L. Wiśniewski, *Los powtórzony* (LP) / Я. Вишнеvский, *Повторение судьбы*; tegoż: *S@motność w sieci* (SwS) / *Одиночество в сети*.

⁶ D. Hessen, R. Stypuła, *Wielki słownik polsko-rosyjski. P-Ż*, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.

⁷ *Inny słownik języka polskiego*, red. M. Bańko, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000 (dalej: ISJP).

2. ‘Jeśli **trzeba** nam kogoś lub czegoś, to potrzebujemy tej osoby lub rzeczy’. Por.:

Ileż **trzeba** odwagi i męstwa, żeby podjąć taką decyzję.

*Сколько **нужно** отваги и мужества, чтобы решиться на такой поступок!* (PoM)

Kolejny raz mamy do czynienia z odpowiednikiem słownikowym, który jako predykatyw tworzy analogiczną konstrukcję w języku rosyjskim. Argument przedmiotowy został w obydwu językach wyrażony dopełniaczem (*odwagi i męstwa / отваги и мужества*), jednak predykatyw *нужно* może się łączyć także z biernikiem. Por.:

Gospodyni ci **trzeba**.

*Хозяйку тебе **нужно**.* (LP)

Po polsku mówimy, że *trzeba nam kogo/ czego*; rosyjski predykatyw w tym znaczeniu może przyłączyć formę imienną w dopełniaczu lub bierniku⁸. Porównajmy kolejny przykład:

[...] *магнитофон вырыкивал в noc pogodną, że do tanga **trzeba** dwojga* [...].

[...] *магнитофон хрипел среди ночной тишины, что „для танго **нужны** двое”* [...]. (NwŻ)

Tym razem w przekładzie w funkcji predykatywnej występuje krótka forma przymiotnika (pozbawiona znaczenia modalnego), która otwiera pozycję dla pierwszego argumentu – tu dla liczebnika zbiorowego.

3. ‘Mówimy, że **trzeba** spełnić jakieś warunki, aby coś zaistniało, jeśli zaistnienie tego jest uzależnione od spełnienia tych warunków’. Por.:

Aby przetworzyć tyle danych, **trzeba** mieć dużo komputerów i dobre programy.

*Чтобы переработать столько данных, **нужно** иметь много компьютеров и хорошие программы.* (SwS)

Boże, przecież **trzeba** wprowadzić kod, żeby otworzyć te drzwi [...].

*Боже, **надо** же набрать код, чтобы открыть двери* [...]. (SwS)

Trzeba być angielskim naukowcem, żeby to stwierdzić?

*Неужели **надо** быть английским ученым, чтобы это обнаружить?* (KiM)

Powyższe przykłady bazują na odpowiednikach słownikowych. Przytoczone polskie zdania stanowią realizacje sugerowanego przez słownik schematu PREDYKATYW [BEZOKOLICZNIK + ABY], a zatem można je określić jako

⁸ ‘НУЖНО. [...] 2. кого-что или чего. Требуется, следует иметь’. Na podstawie: *Большой толковый словарь русского языка*, ред. С.А. Кузнецов, [online] <www.gramota.ru> (wydanie pierwsze: „Норинт”, Санкт-Петербург 1998; wersja elektroniczna w redakcji z 2009 r.).

zdania złożone podrzędnie z podrzędnym celu. Jednak realizacja przedstawionego znaczenia dokonuje się również w zdaniach z podrzędnym warunkowym. Por.:

Jeśli się chce ocalić swój dom, **trzeba** go chronić i pilnować przed światem.

Если хочешь сохранить свой дом, нужно оградить его от внешнего мира. (PoM)

4. 'Słowa **trzeba** używamy z czasownikami wyrażającymi opinię, jeśli uważamy, że jej wyrażenie jest konieczne w danym miejscu i czasie'. Por.:

Jakub w tym wszystkim, co pisał do niej lub robił dla niej, choć potrafił bardzo często przekraczać – **trzeba** przyznać, że z niespotykaną gracją – granice intymności, zawsze udowadniał, czasami nawet z przesadą, jak bardzo ją szanuje.

Во всем, что Якуб писал ей или делал для нее, невзирая на то, что очень часто переходил – надо признать, с исключительным изяществом – допустимые границы интимности, он всегда доказывал, иной раз даже с некоторой чрезмерностью, как глубоко ее уважает. (SwS)

W zebranym materiale odnotowano zaledwie jeden przykład użycia leksemu **trzeba** we wspomnianym znaczeniu. Daje to podstawy, by stwierdzić, że częściej występuje on w głównej linii wypowiedzenia, niż w konstrukcjach wtrąconych.

5. 'Mówimy, że **trzeba** szczęścia, trafu, nieszczęścia itp., żeby coś się zdarzyło, jeśli naszym zdaniem zdarzyło się to dzięki nim lub z ich powodu'. W zebranym materiale nie odnotowano adekwatnych przykładów.

6. 'Wyrażenia **trzeba** ci, wam itp. **wiedzieć** używamy, aby powiadomić kogoś o czymś, co naszym zdaniem powinien on wiedzieć. Wyrażenie książkowe'. Materiał źródłowy nie pozwala na pełną egzemplifikację. Odnotowano co prawda zdania, których człon predykatywny tworzony jest przez połączenie predykatywu z bezokolicznikiem *wiedzieć*, jednak są to konstrukcje pozbawione subiekta celownikowego, który zdaje się być kluczowym dla oddania książkowego charakteru wskazanego w słowniku znaczenia. Por.:

Trzeba wiedzieć, gdzie przebiega ta granica [...].

Надо знать, где проходит граница [...]. (PoM)

Trzeba tylko wiedzieć, jak tę rękę wyciągnąć.

Надо только знать, как вытянуть руку. (SwS)

W zadymionych pokojach akademików lub w studenckich klubach, udowadniając wszystkim swoją wrażliwość, analizowało się obrazy, wiersze, książki, koncerty tonem geniuszy, którzy po prostu wiedzą wszystko, co **trzeba** wiedzieć, w odróżnieniu od niedouczonego ignoranta.

*В прокуренных комнатах общежитий или в студенческих клубах, доказывая всем свой тонкий вкус, анализировали картины, стихи, прозу, музыку тоном гениев, которые в отличие от недоучившихся невежд знают все, что **следует** знать.* (LP)

Przytoczone zdania można zaliczyć do tzw. generycznego rejestru mowy⁹, brak im bowiem eksplicytnie wyrażonego lub jasno określonego przez kontekst subiektu – ich treść można uznać za ogólną i odnieść do dowolnej osoby.

7. ‘Odpowiadamy „**nie trzeba**”, odmawiając przyjęcia oferowanej nam pomocy’. Por.:

- Nie **trzeba**, pani Siekierkowa – powiedział [...].
- *He **надо**, пани Секеркова, – ответил он ей.* (LP)
- Nie **trzeba**, młody człowieku. Dowód rzeczowy jest już u mnie.
- ***Нет необходимости**, молодой человек. Вещественное доказательство уже у меня.* (PoM)
- Dziękuję, pani Wando. Nie **trzeba**. Odbiorę tutaj.
- *Спасибо, пани Ванда. **He стоим**. Я поговорю с вашего телефона.* (LP)

Powyższe przykłady pokazują różnorodne sposoby wyrażenia odmowy w języku rosyjskim: *не надо, нет необходимости, не стоим*. Reaktywny akt odmowy bywa zazwyczaj postrzegany jako niegrzeczny, jednak obecne w każdym z przykładów formy adresatywne, pełniąc funkcję fatyczną, nadają wypowiedzi życzliwy charakter (w ostatnim zdaniu wzmocniony dodatkowo przez *Дziękiuję/ Спасибо*). Jak pisze Alicja Gałczyńska, „Grzeczne akty odmowy kierowane są do osób, które są dla nadawcy ważne, które szanuje i z którymi chce utrzymywać dalsze kontakty”¹⁰. Jednak we wspomnianym znaczeniu leksem *trzeba* to nie predykatyw, w połączeniu z przeczeniem występuje tu w roli wykrzyknika. Przytoczone wyżej użycia zostaną więc pominięte, gdyż przedmiotem artykułu jest wyodrębnienie ekwiwalentów predykatywu.

Zakończywszy przegląd znaczeń, jakie wyraża predykatyw *trzeba*, przyjrzymy się środkom ich przekazu w języku rosyjskim, wśród których odnotowano:

- modalny predykatyw *нужно*. Por.:

Trzeba się przyzwyczaić do samotnych powrotów do domu.

***Нужно** привыкнуть к одиноким возвращением домой.* (PoM)

⁹ Г.А. Золотова, Н.К. Онипенко, М.Ю. Сидорова, *Коммуникативная грамматика русского языка*, Институт русского языка РАН, Москва 2004, s. 30.

¹⁰ A. Gałczyńska, *Grzeczne i niegrzeczne akty odmowy w języku polskim*, [w:] *Język a kultura. Tom 17. Życzliwość i agresja w języku i kulturze*, red. A. Dąbrowska, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 114.

Za spokój duszy **trzeba** płacić.

*За спокойствие души **нужно** платить.* (SwS)

Trzeba szybko znaleźć jakiś półśrodek.

***Нужно** быстро найти золотую середину.* (UdS)

Struktura zdania docelowego nie ulega większym zmianom w stosunku do tekstu oryginału. Uwagę zwraca natomiast pewna nieadekwatność w przekładzie ostatniego zdania. Mówiąc o *półśrodku*, mamy na myśli rozwiązanie tymczasowe, natomiast *золотая середина* – *złoty środek* – to rozwiązanie najlepsze z możliwych¹¹.

- modalny predykatyw *надо*. Por.:

Trzeba kupić proszek do prania [...].

***Ннадо** купить стиральный порошок [...].* (SnT)

I nie **trzeba** płakać.

*И не **надо** плакать.* (SwS)

To **trzeba** jakoś delikatnie Hance wytłumaczyć.

*Это **надо** как-нибудь деликатно Ханне объяснить.* (UdS)

Zdania obydwu języków mają analogiczną konstrukcję. Odnotowano ciekawy przykład, w których mimo obecności słownikowego ekwiwalentu predykatywu *trzeba*, skład leksykalny zdania ulega zmianie. Por.:

– **Trzeba** to uczyć.

– *За это **надо** выпить.* (NwŻ)

Dobór innych środków leksykalnych związany jest z okolicznością wznoszenia toastu, dosłowne tłumaczenie okazałoby się sztuczne, pozbawione naturalności w danej sytuacji.

- czasownik *приходиться* / *прийтись* w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej. Por.:

[...] rano piwo **trzeba** pić po kryjomu, bo „do opłatka ciągle post”.

[...] утром пиво **приходится** пить тайком, потому как „до облатки длится пост”. (LP)

Czasem **trzeba** było czekać na jej powrót nawet pół godziny.

*Иногда ее возвращения **приходилось** ждать и по полчаса.* (SwS)

Coraz bardziej zbliżamy się do tego dnia, w którym **trzeba** będzie wsiąść w samolot.

*Все ближе день, когда нам **придется** сесть в самолет.* (NwŻ)

¹¹ Por.: ‘półśrodek m. полумера ж; stosować półśrodki применять полумеры; ‘złoty środek золотая середина’. D. Hessen, R. Stypuła, op. cit., s. 149, 702; ‘Półśrodek to decyzja lub działanie, które nie rozwiązują problemu całkowicie, lecz tylko tymczasowo łagodzą jego skutki’ (ISJP); ‘Jeśli szukamy złotego środka, to staramy się zająć stanowisko umiarkowane, dalekie od krańcowości’ (ISJP).

Wśród znaczeń czasownika *приходиться* słownik przekładowy podaje m.in.: ‘4. кому и бдор. nieos. wypadać komu; **кому-л. приходится** ktoś musi; **приходится ехать** trzeba jechać’¹². Przytoczone formy trzeciej osoby odnoszące się do zdarzeń teraźniejszych, przeszłych i przyszłych wyrażają, zgodnie z polskim predykatywem, znaczenie konieczności. Ostatnie z rosyjskich zdań stanowi przykład przywołanego w eksplikacji słownikowej schematu z subiektem celownikowym (*нам*), którego wyznacznikiem w tekście oryginału jest osobowa końcówka czasownika (*зблизamy się*) w zdaniu poprzedzającym konstrukcję z predykatywem.

• użyty bezosobowo czasownik *следовать*. Por.:

Opryskiwać **trzeba** tylko miejsca występowania rybaków [...].

Обрабатывать **следует** только места обитания чешуйницы [...]. (NwŻ)

Weterynarz orzekł, że potrzebna jest transfuzja krwi dla jednego rannego, a drugiego **trzeba** odesłać do Myszkowa.

Ветеринар сказал, что одному раненому надо сделать переливание крови, а второго **следует** отвезти в Мышков. (SwS)

Rejestrując się do ICQ, **trzeba** było podać kilka danych.

Регистрируясь в ICQ, **следовало** сообщить о себе кое-какие данные. (SwS)

• forma *стоит / стоило*. Por.:

Trzeba tylko przebiec przez ulicę [...].

Стоит только пересечь улицу [...]. (PoM)

I nie **trzeba** było go czytać.

Не **стоило** их читать. (PoM)

• modalny predykatyw *необходимо*. Por.:

Trzeba ponosić konsekwencje własnej indolencji i niedbalstwa.

Необходимо уметь отвечать за последствия собственной небрежности и беспечности. (NwŻ)

Przy zмовie **trzeba** chociaż raz porozmawiać.

При сговоре **необходимо** хотя бы раз побеседовать. (SwS)

Obecnie jesteśmy na etapie szukania innych ekspertów, którzy zauważą, że tych nut jest dokładnie tyle, ile **trzeba**.

Сейчас у нас этап поиска других экспертов, которые заметят, что нот ровно столько, сколько **необходимо**. (LP)

Jak wykazały nasze wcześniejsze badania, predykatyw *необходимо* wyraża bardziej kategoriyczne znaczenie konieczności niż *надо*, ńo wywnioskowano na

¹² A. Mirowicz, I. Dulewicz, I. Grek-Pabis, I. Maryniak, *Wielki słownik rosyjsko-polski*, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s. 993.

podstawie analizy jego ekwiwalentów przekładowych, wśród których dominują predykatywy *trzeba* i *należy* oraz osobowe formy czasownika *musieć*, wzmocnione przez przysłówki *koniecznie*, *bezwzględnie*¹³.

W zebranych materiale odnotowano również zdania, w których znaczenie konieczności wyrażają współnordzenne leksemy *необходимый*, *необходимость*¹⁴. Por.:

[...] No cóż, będziemy musieli ją zwolnić. Przygotuj co **trzeba**...

[...] *Что ж, мы вынуждены будем ее уволить. Подготовь необходимые документы...* (UdS)

– Nie **trzeba**, młody człowieku.

– *Нет необходимости*, молодой человек. (PoM)

Takiego kabla jednak nie **trzeba** było nawet ciągnąć.

Однако тянуть такой кабель не было необходимости. (SwS)

Nie utrzymywały więc sadomasochistycznych związków rodzinnych; maso, bo nie sposób zerwać więzów krwi, sado, bo **trzeba** je podtrzymywać wspólnymi świętami, ustalając hierarchię krzywd.

Эти связи, так или иначе, полны садомазохизма: мазохизм заключается в невозможности разорвать кровные узы, а садизм – в необходимости их поддерживать хотя бы в праздники, подвергая ревизии список взаимных обид. (KiM)

Odpowiednikami tekstowymi okazały się również predykatywy niewymienione w słowniku przekładowym:

• modalne, por.:

Już nie **trzeba** udawać.

Можно больше не притворяться. (PoM)

Nie wiem, co to miłość, może miłość jest jednoosobowa i **nie trzeba** się nią dzielić?

Я не знаю, что такое любовь. Быть может, любовь рассчитана только на одного любимого? Быть может, ее нельзя делить между двумя? (KiM)

W pierwszym z przytoczonych przykładów w zdaniu polskim przeczenie dotyczy predykatywu, natomiast w rosyjskim zaprzeczony został argument zdaniowy. Zabarwienie drugiego ze zdań rosyjskich zostało nieco zmienione

¹³ A. Rudyk, *O subiekcie semantycznym w rosyjskich zdaniach typu Мне необходимо тебя видеть срочно i w ich polskich odpowiednikach*, [w:] *Язык, культура i świat roślin. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Halinie Chodurskiej*, red. E. Komorowska, D. Stanulewicz, „Volmina”, Szczecin 2010, s. 233–241.

¹⁴ W tabeli podsumowującej konstrukcje te zostały zaliczone do grupy *Inne*.

przez zastosowanie predykatywu *нельзя*, będącego nie tyle nośnikiem właściwego dla *trzeba* znaczenia konieczności, powinności, ale raczej braku możliwości czy przyzwolenia.

• wartościujące, por.:

Oni chyba tam na Białorusi ciągle nie zauważyli, że **trzeba** by zmienić swój papier firmowy [...].

*До них там, в Белоруссии, похоже, не дошло, что им **пора** сменить свой фирменный бланк [...].* (LP)

Wcale nie **trzeba** być anorektyczną Jolą, żeby zwracać uwagę mężczyzn.

*Совсем не **обязательно** быть истощенной Йолей, чтобы на тебя обращали внимание мужчины.* (NwŻ)

Predykatywy *пора* i *обязательно* wyrażają wartościowanie pod względem racjonalnym, a więc będące wynikiem logicznego rozumowania na podstawie realnych przesłanek.

W roli ekwiwalentów predykatywu *trzeba* powtórzyły się kilkakrotnie krótkie formy przymiotników:

• *нужен*, np.:

Powiedział, że kostnica przy szpitalu jest już zamknięta, a na odwiedzinę u siostry **trzeba** mieć specjalną przepustkę..

*Он сказал, что морг при госпитале уже закрыт, а для свидания с сестрой **нужен** специальный пропуск.* (LP)

Jestem prawdopodobnie na świecie dlatego, że **trzeba** mieć dziedziczkę.

*Я появилась на свет, очевидно, только потому, что **нужна** была наследница.* (SwS)

Należy, oczywiście, odróżniać przyjmującą końcówki rodzajowe krótką formę przymiotnika od nieotwierającego pozycji dla pierwszego argumentu predykatywu *іо́ціі*, który został już wymieniony wcześniej jako najczęstszy ekwiwalent.

• *должен*, np.:

Ale **trzeba** go sobie samemu zadać.

*Но ее ты **должен** сам причинить себе.* (SwS)

[...] to równanie nie ma absolutnie żadnych rozwiązań i **trzeba** je zignorować jako nieistotne [...].

*[...] это уравнение неразрешимо и **должно** быть просто-напросто проигнорировано как несущественное [...].* (SwS)

W przeciwieństwie do zdań z predykatywem konstrukcje z krótką formą przymiotnika łączą się z formą imienną w mianowniku.

Zależności liczbowe między poszczególnymi odpowiednikami przekładowymi predykatywu *trzeba*, jakie wystąpiły w analizowanym materiale, porządkuje poniższa tabela.

Tabela 1

Rosyjskie odpowiedniki przekładowe predykatywu *trzeba*

Rosyjski odpowiednik przekładowy polskiego predykatywu trzeba		Liczba przykładów w zebranych materiale		%
Predykatywy	modalne	нужно	101	40,6
		надо	80	32,1
		необходимо	4	1,6
		можно	2	0,8
	wartościujące	пора	1	0,4
		обязательно	1	0,4
Użyte w znaczeniu bezosobowym formy 3. osoby czasowników		приходится	14	5,6
		следует	10	4
		стоит	2	0,8
Krótkie formy przymiotników (zróżnicowane pod względem rodzaju i liczby)		должен	4	1,6
		нужен	3	1,2
Inne			27	10,9
Razem			249	100

Wśród odpowiedników określonych w tabeli jako *Inne* odnotowano m. in.:

- zdania z osobową formą czasownika modalnego, np.: [...] *to trzeba opublikować* [...] → [...] *хочу это опубликовать* [...] (UdS);
- konstrukcje pozbawione elementu modalnego, np.: *I trzeba było gonić Witka i prosić go* [...] → *Он гнал за Витеком и просил* [...] (PoM); *Trzeba wtedy wzywać konsultanta* [...] → *И тогда приглашают консультанта* (KiM);
- konstrukcje z odwróceniem ról aktantów, np.: [...] *trzeba było natychmiast podłączyć kropłówkę* [...]. → *Ему срочно требовалась капельница* [...]. (KiM); [...] *trzeba będzie pomyśleć* [...] → [...] *нелишним будет подумать* [...] (UdS); [...] *trzeba by przeganiać* [...] → [...] *заслужили изгнани* [...] (SwS);
- zdania z wyrazami *необходимый, необходимость*, np.: *Przygotuj co trzeba*... → *Подготовь необходимые документы*... (UdS); [...] *trzeba je podtrzymywać* [...] → [...] *в необходимости их поддерживать* [...] (KiM).

Każdy z przykładów można by dokładnie omówić, szukając uzasadnienia zastosowania odpowiednika innego niż słownikowy, jednak nie pozwalają na to ograniczenia wydawnicze. Ponadto wybór środków przekazu znaczenia staje się możliwy dzięki istniejącemu praktycznie w każdym języku naturalnym zjawisku polimorfii, którego istota polega na „dysponowaniu wieloma formami w służbie jednej funkcji”¹⁵. Można przy tym założyć, że wybór jednego z kilku wariantów nie musi być podyktowany wymogami normatywnymi języka docelowego czy też kontekstem, lecz może być zależny od własnych preferencji stylistycznych tłumacza.

Jak widać, różne warianty znaczenia konieczności, jakie niesie predykatyw *trzeba*, znajdują również w języku rosyjskim różnorodne formy realizacji. Obok słownikowych ekwiwalentów *нужно* i *надо*, które łącznie wystąpiły w ponad 70% przykładów, za regularne można też uznać formy *приходится* i *следует*. Obecność licznych odpowiedników kontekstowych świadczy o polisemii modalnego predykatywu *trzeba*.

Резюме

Русские переводные эквиваленты польского предикатива „trzeba”

В статье представлены русские соответствия польской лексемы *trzeba*, отобранные из текстов современной польской прозы и ее переводов на русский язык. Частейшими эквивалентами оказываются модальные предикативы *нужно* и *надо*, а также формы *приходится* и *следует*. Наличие контекстуально обусловленных соответствий свидетельствует о полисемии польского предикатива *trzeba*.

Summary

The Russian textual equivalents of the Polish modal predicative „trzeba”

The article shows the Russian equivalents of the lexeme *trzeba* extracted from the contemporary Polish prose and its translation into Russian. The modal predicatives *нужно* and *надо* and the forms *приходится* and *следует* are the most frequent equivalents.

Key words: modal predicatives, textual equivalents, meaning of necessity, translation, Russian-Polish comparative linguistics.

¹⁵ M. Wandruszka, *O lingwistyce przekładu*, „Pamiętnik Literacki” 1981, nr 1, cyt. za: M. Mocarz, op. cit., s. 257.

Andrzej Sitarski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

*Mojemu serdecznemu Koledze,
prof. dr. hab. Walentemu Piłatowi dedykuję
niniejszy artykuł*

Атрибутивные коллокации, как источник языковой экспликации концепта „любовь” в русском лингвокультурологическом пространстве

Без всякого сомнения можно сказать, что слово „любовь” в истории человечества является номинацией в наибольшей степени нагруженной антропоцентричностью и ценностью. Любовь с денотативной точки зрения характеризуется отвлеченным содержанием, извлеченным из конкретных контекстов ее реализации. В свою очередь коннотация понятия любовь – это очень сложный набор ассоциаций, представлений, эмоциональных содержаний и наконец аксиологизации, которые тесно связаны с этим словом. Следует согласиться с мнением о том, что значение слова „любовь” зависит от точки зрения человека на мир, от субъекта и объекта любви, идеологии, то есть от многих других ценностей, определяющих фундаменты социумов.

В настоящей статье мы сосредоточим наше внимание на русской языковой личности в качестве лингвокультурологического изучения концепта „любовь”. В основе исследования языковой личности предлагаем, вслед за Ю.Н. Карауловым, положить гипотезу о существовании так называемой психоглоссы, под которой будем понимать единицу языкового сознания, отражающую определенную характерную черту языкового строя системы языка, которая обладает высокой устойчивостью и продуктивностью к вариациям и стабильностью во времени¹. Такой подход, по нашему мнению, позволяет воссоздать некоторые черты

¹ Ю.Н. Караулов, *Предисловие. Русская языковая личность и задачи ее изучения*, [в:] *Актуальные проблемы современной лингвистики*, Москва 2013, с. 213.

национального языкового типа в сфере анализа предлагаемого нами фактографического материала.

Любовь, являясь неотъемлемой частью культуры человека, имеет определенную специфику, запечатленных в языковых структурах ассоциаций, связанных с ней, что представляет интерес для ее лингвистического анализа. В современном языкознании, как справедливо замечает Ю.Н. Караулов, идет постоянное расширение семантической составляющей анализа как отдельных языковых единиц, так и их соединений разного объема: от изучения значения слов и словосочетаний – до исследования значения предложений, семантических полей и текстов². Такое расширение от значения к знанию, позволяющее расширить познание действительности в определенном ее аспекте, можно определить как когнитивное, так как исследуемые человеком значения языковых единиц создают возможность приобрести им новые знания о различных аспектах окружающего его мира.

Лексическое наполнение концепта „любовь” категоризуется различными по форме языковыми единицами: фразеологизмами, пословицами, а также коллокациями, среди структурных моделей которых обращают внимание атрибутивные словосочетания, образованные по модели: подчиненное имя прилагательное + синтаксически главное слово – имя существительное (любовь), напр. *безоглядная любовь*, *верная любовь*, *всевластная любовь*. В нашем распоряжении оказалось 130 примеров указанных структур, почерпнутых из *Фразеологического словаря русского языка* А.Н. Булыко, *Словаря эпитетов русского литературного языка* К.С. Горбачевича и Е.П. Хабло, *Фразеологического словаря русского языка* сост. А.Н. Тихонов, А.Г. Ломов, Л.А. Ломова и *Фразеологического словаря современного русского языка* Ю.А. Ларионовой. Выявленные коллокации являются презентацией концепта „любовь” в русском лингвокультурологическом пространстве. Они связаны с языковой объективацией определенных признаков концепта „любовь”. Избранный подход к классификации составляющих совокупное поле коллокаций позволит нам описать часть концепта „любовь” как фрагмента „наивной картины мира” носителей русского языка.

Термин коллокация занимает одно из ключевых мест в современном языкознании. По мнению Л.Н. Иорданской и И.А. Мельчука, это комбинация двух или более слов, имеющих тенденцию к совместной встречаемости. В основе большинства определений коллокации лежит

² Ibidem, с. 208.

явление семантико-грамматической взаимообусловленности элементов словосочетания, что обуславливает определение коллокации, как словосочетания, состоящего из целостной единицы, в котором выбор одного из компонентов осуществляется по смыслу, а выбор второго зависит от выбора первого³. Арышева А.Ю. и Катышев П.А. обращают внимание на факт, что, хотя коллокации – это единицы, имеющие немало общего с фразеологизмами, то отличительным признаком коллокаций от идиом является то, что компоненты словосочетания (хотя бы одно из них) сохраняют свои лексические значения при устойчивости значения всей единицы⁴.

Любовь как элемент национальной концептосферы несет функцию коллективного сознания. Образованные сознательно семантические признаки концепта любви, представленные в собранных нами коллокациях служат определенной цели – представить отношение социума, как можно полнее, к концепту любви, в ожидании, что адресат разделит предлагаемую точку зрения.

Особенность мышления русского этноса о любви связывается с концептами пространства и времени. Тема пространственной беспредельности – это один из структурообразующих элементов русской культуры. Она не только часто возникает в русских художественных и философских текстах, но и является большим местом всех расхожих представлений о России и русском национальном характере. Языковые измерения пространственных номинаций проявляются в таких коллокациях, как: *бесбрежная любовь* ‘бескрайняя любовь, чувство не имеющее видимых пределов, границ, не имеющее края’, *бесконечная любовь* ‘очень сильное чувство, любовь не имеющая начала и конца границ’, *безмерная любовь* ‘безграничная, бескрайняя любовь, простирающаяся на необозримое пространство’, *беспредельная любовь* ‘безграничная безмерная любовь, чувство не имеющее конца, видимых границ’, *всеобнимающая любовь* ‘любовь полностью, целиком охватывающая кого-либо или что-либо’, *маленькая любовь* ‘любовь небольшая по своим размерам, незначительная по своей величине’, *бесконечная любовь* ‘любовь не имеющая начала и конца границ’. Следует отметить, что в приведенных примерах коллокаций определения к слову любовь дают не только пространственную, но также

³ Л.Н. Иорданская, И.А. Мельчук, *Смысл и сочетаемость в словаре*, Москва 2007, с. 672.

⁴ А.Ю. Арышева, П.Ф. Катышев, *Коллокации истца и ответчика в текстах судебных решений*, [в:] *Когнитивные факторы взаимодействия фразеологии со смежными дисциплинами*, Белгород 2013, с. 36.

эмоциональную ориентацию чувства любви. Семантический анализ указанных коллокаций позволяет заметить определенный выход из идеи пространства рассматриваемых словосочетний, так как употребленные в их структуре имена прилагательные, относящиеся к семантическому полю „пространство” являются также в указанных коллокациях объектом переносного использования номинаций, например *маленькая любовь* может рассматриваться также во временном контексте (*маленькая любовь* = кратковременная или незначительная любовь).

Многообразные семантические связи с концептом любви имеет также концепт времени, что можно объяснить универсальностью и важностью понятия времени для человека. В рассматриваемых нами атрибутивных коллокациях концепт время отражается в темпоральной семантике сочетающихся со словом любовь адъективах. Н.Д. Арутюнова обращает внимание на факт, что фактор времени имеет кардинальное значение как для структуры языка, так и для прагматики речи. Время воздействует на язык извне и изнутри. Время стимулирует развитие языка и вместе с тем налагает на него ограничения, которые язык вынужден преодолевать⁵. Вербальное осознание времени, реализуемое в анализируемых атрибутивных коллокациях, позволяет отметить, что русские к временному аспекту оценки понятия любви относятся прежде всего с точки зрения его созерцания, личности, времени как духовной категории. Модель времени, который содержится в анализируемых коллокациях имеет физический, философский, бытовой и сакральный характер. Приведем примеры: *бессмертная любовь* ‘чувство не подвергающееся смерти, живущее вечно’, *бесконечная любовь* ‘очень сильное чувство, любовь не имеющая начала и конца’ (в приведенной коллокации смысл времени сочетается с пространственной категорией), *вечная любовь* ‘любовь не перестающая существовать, сохраняющаяся на многие века’, *давняя любовь* ‘бывшая любовь, происшедшая задолго до настоящего времени, существующая издавна’, *долгая любовь* ‘большая любовь, длинная любовь, любовь длящаяся на протяжении какого-то времени’, *долговременная любовь* ‘продолжающаяся любовь, любовь действующая долгое время, длительная’, *долгожданная любовь* ‘долго и с нетерпением ожидаемая любовь’, *запоздалая любовь* ‘задержавшаяся любовь, чувство явившееся несколько позже, чем надо или желательно’, *кратковременная любовь* ‘чувство длящееся короткое время, непродолжительное’, *краткая любовь*

⁵ Н.Д. Арутюнова, *Логический анализ языка. Язык и время*, Москва 1997, с. 56.

‘непродолжительна любовь небольшая по времени, любовь длящаяся недолгое время’, *мимолетная любовь* ‘быстро исчезающая любовь, быстро проходящая любовь, не длительная любовь, непрочная любовь, кратковременная любовь, мгновенная любовь’, *минутная любовь* ‘кратковременная любовь, мгновенная любовь, быстропроходящая любовь, мимолетная любовь’, *молодая любовь* ‘недавно возникшее чувство, любовь, которая только что появилась, любовь лишь начинающая свое существование’, *негасимая любовь* ‘любовь, горящая постоянно, чувство не ослабевающее в течение долгого времени’, *негаснущая любовь* ‘неугасающая любовь, негасимая, незатухающая любовь, чувство не ослабевающее в течение долгого времени’, *недолгая любовь* ‘чувство краткое по времени, непродолжительное’, *новая любовь* ‘чувство появившееся или возникшее недавно, любовь относящаяся к настоящему времени’, *поздняя любовь* ‘любовь наступившая в позднее время, пришедшая к человеку после обычного или нужного времени’, *запоздалая любовь* ‘любовь, имеющая место спустя некоторое время, после чего-либо’, *продолжительная любовь* ‘долго продолжающееся, длительное, долгосрочное чувство, любовь затянувшаяся на долгое время’, *ранняя любовь* ‘чувство наступающее рано, в самом начале того периода времени, в котором оно должно появиться, любовь, чувство, находящееся на первых этапах, стадиях развития’, *эпизодическая любовь* ‘нерегулярная, редкая, спорадичная, случайная любовь’, *юношеская любовь* ‘любовь молодежного возраста, чувство проходящее в период между подростковым возрастом и взрослостью’.

В понятии времени, заключенном в семантике указанных примеров атрибутивных коллокаций, категоризирующих концепт „любовь”, содержатся разные представления человека о времени любви, выделяется, например, возрастная шкала времени любви, а также шкала временного пространства, в котором человек по-разному ощущает силу любви. Следует заметить, что в темпоральной лексике, как структурному компоненту коллокаций, сохраняется также аксиологический смысл анализируемых структур.

Потребности человека, его интенции, желания, эмоции предопределили наличие в его языке, категоризирующем концепт любви, атрибутивных коллокаций, в которых реализуется также его ценностное отношение к чувству любви. Оцениваемое человеком чувство любви достаточно устойчиво связывается с идеей нарушения общепринятой данным сообществом нормы, предписывающей или запрещающей человеку определенные поведения или действия по данному объекту. По

отношению к анализируемцу нами концепту „любовь” они сводятся прежде всего к нормам этическим и моральным и вытекающим из них языковым реализациям, строящим оппозицию добра и зла. Следует обратить внимание на факт, что согласно мнению Н.Д. Арутюновой, оценочные значения определяются по отношению к норме, но кроме того идентификация хорошего с нормой производится относительно не действительного, а идеального состояния мира, поэтому соответствие аксиологической норме скорее всего представляет собой должное, чем действительное. Вследствие этого хорошее хотя и принимается за норматив ведет себя по законам отклонения от нормы⁶. В результате вышесказанного можно констатировать, что отклонение от нормы как в сторону зла, так и добра будет реализоваться в языке образованием определенных структур с отрицательной или положительной оценочной коннотацией. Располагаемый нами материал позволяет сказать, что в русском языковом пространстве наблюдаем амбивалентную оценку реализации чувства любви. По стороне атрибутивных коллокаций с положительной оценкой мы отметили 25 примеров, и соответственно, по стороне с отрицательной оценкой – 29. К первой группе относятся следующие коллокации: *безгрешная любовь* ‘любовь направлена на другого человека вне греха’, *беззаветная любовь* ‘самоотверженная любовь, чувство ради которого кто-либо способен совершать героические поступки, преданность кому-нибудь, полное доверие’, *бескорыстная любовь* ‘любовь не стремящаяся к личной выгоде кого-нибудь, чувство не основанное на корысти’, *взаимная любовь* ‘любовь общая для обеих сторон, чувство, связывающее кого-либо с кем-либо, любовь проявляющаяся по отношению друг к другу, взаимное доверие’, *возвышенная любовь* ‘высокое чувство, благородная любовь, любовь отличающаяся высокими нравственными качествами, чистотой чувства, приподнятое, торжественное чувство’, *заботливая любовь* ‘любовь выражающая заботу, интерес, внимание к кому-либо, усердная любовь’, *замечательная любовь* ‘любовь исключительная по своим достоинствам, выдающаяся любовь, чувство необыкновенное по своим качествам’, *искренняя любовь* ‘правдивая, откровенная, чистосердечная любовь, подлинная любовь’, *истинная любовь* ‘настоящая, правдивая, верная любовь’, *красивая любовь* ‘любовь, отличающаяся от других чувств, привлекательное чувство, гармоничная любовь’, *настоящая любовь* ‘правдивая, действительная любовь’, *нежная любовь* ‘тонкая, деликатная,

⁶ Н.Д. Арутюнова, *Типы языковых значений: Оценка, Событие, Факт*, Москва 1988, с. 235.

трогательная, мягкая любовь', *неземная любовь* 'чрезвычайная, исключительная, сверхъестественная любовь, любовь вне земли', *сладкая любовь* 'чувство преисполненное счастья, радости, приятная, хорошая любовь'.

Вторую группу образуют коллокации, наделенные негативной оценочной коннотацией: *безнадежная любовь* 'чувство, которое не дает никаких надежд на улучшение любовных отношений, любовь выражающая отсутствие надежды на благополучный исход, на улучшение', *безответная любовь* 'любовь не получающая ответа, неразделимая любовь', *безотрадная любовь* 'чувство не содержащее радости, любовь лишенная отрады, утешения, мрачное, унылое чувство', *безрассудная любовь* 'неблагоразумная любовь, любовь не сдерживаемая доводами рассудка, здравого смысла', *беспокойная любовь* 'любовь лишенная спокойствия, чувство отличающееся беспокойным характером, любовь полная волнений, забот', *болезненная любовь* 'любовь возникающая впоследствии каких-либо действий, ненормальная любовь, чрезмерная любовь, неестественная любовь', *горькая любовь* 'любовь полная разочарования, обид, горя, чувство выражающее сильное огорчение', *грозная любовь* 'любовь внушающая страх, наводящая ужас, чувство грозящее бедой, суровая, строгая любовь', *грубая любовь* 'неделикатная, некультурная, невежливая любовь', *докучливая любовь* 'навязчивая, надоедливая любовь, любовь против воли кого-нибудь, чувство наводящее скуку своей продолжительностью', *злая любовь* 'любовь преисполненная чувства вражды, недоброжелательности, сердитая, раздраженная любовь', *лживая любовь* 'обманчивая любовь, лицемерное, неискреннее чувство', *мятежная любовь* 'непокорная, непослушная любовь, чувство склонное к мятежу, любовь возбуждающая тревогу, волнение', *нелепая любовь* 'неразумная, бессмысленная любовь, чувство лишенное здравого смысла', *отвергнутая любовь* 'отброшенное, отверженное чувство', *притворная любовь* 'ненастоящая, неискренняя любовь', *ревнивая любовь* 'завистная, настороженная любовь', *робкая любовь* 'боязливая, малодушная, трусливая любовь', *смертельная любовь* 'любовь, которая умирает', *трагическая любовь* 'любовь полная трагизма, ужасная, потрясающая, катастрофическая любовь, человеческое состояние полное страданий и глубоких переживаний', *эгоистическая любовь* 'самолюбая любовь, чувство по причине которого человек заботится лишь о своих интересах'.

Приведенные примеры атрибутивных коллокаций, содержащих в своих смыслах аксиологический аспект концепта «любви», определяют

эмоциональное отношение человека к указанному чувству, которое сопровождает его жизнь. В них отмечено то, что для него важно, то как он структурирует чувство любви, то, что относится к идеализированной модели концепта „любовь”. Следует подчеркнуть, что отмеченная нами аксиологическая амбивалентность и многогранность чувства любви не является принадлежностью исключительно русского национального сознания. Она имеет глубокие общечеловеческие корни.

Предложенный анализ атрибутивных коллокаций, являющихся источником языковой категоризации концепта „любовь” в русском лингвокультурологическом пространстве показал, что языковая реализация указанного концепта выкристаллизовалась в результате взаимного пересечения концепта „любовь” с другими концептами: пространства, времени и ценности (оценки), которые нашли свое отражение в семантике проанализированных нами коллокаций. Следует подчеркнуть, что изучение семантики указанных языковых единиц было бы невозможным без обращения к человеку – его эмоциональной и духовной сферам, системам ценностей, его восприятия и познания чувства любви. Поэтому в настоящей статье была учтена антропоцентрическая парадигма описания концепта „любовь”.

Литература

- Арутюнова Н.Д., *Типы языковых значений: Оценка, Событие, Факт*, Москва 1988.
Арутюнова Н.Д., *Логический анализ языка. Язык и время*, Москва 1997.
Арышева А.Ю., Катышев П.Ф., *Коллокации истца и ответчика в текстах судебных решений*, [в:] *Когнитивные факторы взаимодействия фразеологии со смежными дисциплинами*, Белгород 2013.
Булыко А.Н., *Фразеологический словарь русского языка*, Минск 2007.
Горбачевич К.С., Хабло Е.П., *Словарь эпитетов русского литературного языка*, Ленинград 1979.
Иорданская Л.Н., Мельчук И.А., *Смысл и сочетаемость в словаре*, Москва 2007.
Караулов Ю.Н., *Предисловие. Русская языковая личность и задачи ее изучения* [в:] *Актуальные проблемы современной лингвистики*, Москва 2013.
Ларионова Ю.А., *Фразеологический словарь современного русского языка*, Москва 2014.
Тихонов А.Н., Ломов А.Г., Ломова Л.А., *Фразеологический словарь русского языка*, Москва 2007.

Streszczenie

Kolokacje atrybutywne jako źródło językowej eksplicacji konceptu „miłość” w rosyjskiej przestrzeni lingwo-kulturolologicznej

Celem artykułu jest omówienie atrybutywnych kolokacji przymiotnikowych kategoryzujących koncept „miłość” we współczesnej rosyjskiej przestrzeni lingwo-kulturowej. Na podstawie analizy semantycznej 130 przykładów wyodrębnionych kolokacji należy stwierdzić, iż realizacja językowa omawianego konceptu w obszarze badanych jednostek językowych skryzlowała się w rezultacie przecięcia się konceptu „miłość” z konceptami „przestrzeń”, „czas” oraz „wartość”, które znalazły swoją realizację semantyczną w omawianych kolokacjach. Należy podkreślić, że zbadanie semantyki wyszczególnionych kolokacji byłoby niemożliwe bez zwrócenia uwagi na sferę emocjonalną i duchową człowieka, jego system norm i wartości, a także uczucie miłości, dlatego też w opisie wyekscerpowanego materiału językowego został uwzględniony paradygmat antropocentryczny.

Summary

Attributive collocations as a source of linguistic explication of the concept „love” in Russian linguistic and cultural space

The aim of the study is to present attributive adjectival collocations, categorizing the concept „love” in contemporary Russian linguistic and cultural space. On the basis of semantic analysis of 130 excerpted exemplary collocations it must be stated that the realization of the concept under discussion within the analyzed language units is the result of crossing of the concept „love” with the concepts „space”, „time” and „values”, which have their semantic realization in the collocations under study. It should be emphasized that the analysis of semantics of specified collocations would not be possible without paying attention to a human being – his emotional and spiritual world, system of standards and values, as well as the feeling of love. That is why an anthropocentric paradigm has been taken into consideration in the description of the excerpted linguistic material.

Key words: collocation, concept, linguistic and cultural space, linguistic consciousness, axiology, sphere of concepts.

Wanda Stec
Uniwersytet Gdański

Metafora w nazewnictwie roślinnym: polskie i rosyjskie nazwy roślin leczniczych motywowane nazwami ze świata zwierząt

W nominacji roślinnej często wykorzystywane są metafory językowe. Jak pisze Teresa Dobrzyńska, termin ów (gr. *μεταφορά*) został „utworzony od greckiego czasownika *metafērō* ‘przenosić, przemieszczać’ i należy on do najstarszych kategorii stylistycznych”¹. Metafora może być, jej zdaniem, rozumiana w sposób węższy – jako „jeden z tropów, umotywowany wyłącznie podobieństwem lub analogią” lub szerszy – jako „synonim tropu, a więc niekodowanego użycia języka, dającego się sensownie zinterpretować przy uwzględnieniu wszelkiego rodzaju związków motywujących użycie określonego wyrażenia w określonej sytuacji”². W niniejszym artykule metafory w nazewnictwie roślinnym są interpretowane jako podobieństwo roślin (lub ich części) do innych desygnatów (lub ich części) danych nazw w użyciu podstawowym. Proces metaforyzacji w nominacji językowej roślin zostanie zobrazowany na przykładzie nazw funkcjonalnej grupy roślin leczniczych³ motywowanych nazwami pochodzącymi ze świata zwierząt. Desygnatem w użyciu podstawowym są zatem zwierzęta – ich cechy morfologiczne (cechy budowy zewnętrznej), a także inne atrybuty i związane z nimi asocjacje. Tego typu miana roślinne są wtórne, gdyż do ich utworzenia wykorzystane zostały określenia już istniejące w języku⁴.

Na tworzenie i odbiór metaforycznych nazw mają wpływ czynniki kulturowe oraz powstające w ludzkim umyśle skojarzenia oparte na różnych aspektach kategorii poznania. Zdaniem Jurija Apresjana, skojarzenia semantyczne (konotacje) stanowią specyficzny element pragmatyki, natomiast „cechy asocjacyjne,

¹ T. Dobrzyńska, *Słowo wstępne* do: *Metafora*, PAN, Wrocław 1984, s. 5.

² Ibidem.

³ W związku z tym w niniejszym artykule rozpatrywane będą wyłącznie nazwy roślin mających zastosowanie w medycynie (oficjalnej i ludowej) oraz weterynarii do leczenia i profilaktyki chorób.

⁴ Wyjątkowo trafnie wtórny charakter metaforycznych nazw roślin wyjaśnia w swojej książce Jadwiga Waniakowa: zob. J. Waniakowa, *Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim*, Wyd. UJ, Kraków 2012, s. 71, 72 i 190.

choć nie wchodzą bezpośrednio do semantyki wyrazu, są dla niego bardzo istotne, ponieważ w wielu wypadkach właśnie na nich się opierają regularna metaforyzacja wyrazu, porównania, słowotwórstwo i inne procesy językowe. W rezultacie cecha, która jest asocjacyjna i pragmatyczna dla jednego znaczenia leksykalnego, okazuje się cechą istotną i semantyczną drugiego znaczenia”⁵. Agnieszka Będkowska-Kopczyk, odnosząc swoje obserwacje do świata roślinnego, pisze: „człowiek, kształtując swój aparat poznawczy (ucząc się świata), obserwuje i bada w sposób sensoryczny jego elementy – dokonuje między nimi porównań, kategoryzuje je; wreszcie, na podstawie zdobytych doświadczeń, nadaje im znaczenia”⁶. Te znaczenia są zawarte w nazwach, w ich formie wewnętrznej. Także Włodzimierz Wysoczański, przedstawiając wykładnię porównania, odnotowuje, że stanowi ono „podstawę, a zarazem środek poznania rzeczywistości świata realnego i wyobraźnego dzięki ustaleniu podobieństw i różnic między składnikami tej rzeczywistości”⁷, trzon porównania zaś „stanowią nazwy cech, które są przypisywane obu zestawianym członom”⁸. Co wspólnego ma natomiast metafora z porównaniem? Teresa Dobrzyńska, powołując się na założenie Dorothy Mack⁹, twierdzi, iż „zarówno metafora [...], jak i eksplicytne porównanie oparte są na takiej samej strukturze głębokiej, której istotnym komponentem jest relacja podobieństwa zachodząca pomiędzy dwoma sądami, [przy czym] w metaforze pominięty jest zawsze wykładnik porównawczy”¹⁰. Ludzie, poznając nowe rośliny, porównują je (najczęściej ich cechy zewnętrzne, które są najbardziej dostrzegalne) z tym, co jest im już znane. Bazując na obserwacjach świata zwierząt, tworzą dla roślin nazwy, będące w swojej strukturze metaforami.

Metafora od dawna jest przedmiotem badań lingwistycznych. Analizuje się m.in. jej zastosowanie w charakterze środka językowego wykorzystywanego w procesie roślinnej nominacji językowej. Jednakże do rzadkości należą polsko-rosyjskie badania kontrastywne nazewnictwa funkcjonalnej grupy roślin leczniczych

⁵ Ju.D. Apresjan, *Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka*, ZNiO, Wrocław 1980, s. 94–95.

⁶ A. Będkowska-Kopczyk, *Metaforyka roślinna w języku słoweńskim i jej podstawy koncepcyjne (na tle metaforyki polskiej)*, [w:] *Świat roślin w języku i kulturze*, red. A. Dąbrowska, I. Kamińska-Szmaj, „Język a Kultura” 2001, nr 16, s. 151.

⁷ W. Wysoczański, *Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych: na materiale wybranych języków*, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2006, z. 2888, s. 21.

⁸ Ibidem, s. 23.

⁹ D. Mack, *Metaphoring as Speech Act: Some Happiness Condition for Implicit Similes and Simple Metaphors*, „Poetics” 1975, t. 4, nr 2/3, s. 221–256.

¹⁰ T. Dobrzyńska, op. cit., s. 73; zob. także podobieństwa i różnice pomiędzy tymi konstrukcjami językowymi: rozdz. 1.1.6: *Porównanie a metafora*, [w:] W. Wysoczański, op. cit., s. 27.

w ujęciu całościowym, tj. z wykorzystaniem różnego typu nazw, a w szczególności badania poświęcone nazwom metaforycznym motywowanym określeniami animalistycznymi¹¹.

Nazewnictwo roślin stosowanych w celach leczniczych jest niezwykle bogate. W jego skład wchodzi łacińskie nazwy naukowe roślin (nomenklatura botaniczna), ich odpowiedniki botaniczne w językach narodowych (nazwy zwyczajowe) oraz obszerna grupa mian ludowych (regionalnych, gwarowych) w językach narodowych¹². W codziennym użyciu są także różnego typu określenia potoczne czy też funkcjonujące w literaturze pięknej. Warto podkreślić, że problematyka nominacji językowej roślin stanowi dla językoznawców niezwykle interesujący i ważny obiekt badań. Są one prowadzone pod różnym kątem, przy czym analizuje się nazwy zarówno w jednym języku, jak i w ujęciu porównawczym (polsko-rosyjskim czy szerzej – na tle słowiańskim). Należy jednak zauważyć, że najczęściej badane jest nazewnictwo ludowe, m.in. w aspekcie etnolingwistycznym, temporalnym, geograficznym, etymologicznym oraz językowo-kulturowym¹³.

¹¹ Badaniom metafory jako zjawiska językowego poświęcone są m.in. następujące prace: R. Tokarski, *Metafora i kategoryzacja w tekście*, [w:] *Z zagadnień leksykalno-semantycznych*, red. B. Milewska, S. Rzedzicka, Gdańsk 2009; *Теория метафоры: Сборник*, ред. Н. Д. Арутюнова, М.А. Журина, Москва 1990; Н.Д. Арутюнова, *Язык и мир человека*, Москва 1999, s. 346–399; Г. Н. Складарская, *Метафора в системе языка*, Санкт-Петербург 1993. Problematykę metaforycznego nazewnictwa roślinnego przedstawiają w swoich pracach m.in.: M. Borejszo, *O zestawieniach metaforycznych w potocznym nazewnictwie roślin pokojowych*, „Język Polski” 2000, z. 5, s. 334–340; О. В. Сахарова, *Непрямой способ номинации растений как отражение мировосприятия селькупского этноса*, „Вестник ТГПУ” 2012, nr 10 (125), s. 94–97. Metaforyczne nazwy roślin motywowane nazwami ze świata zwierząt analizują w swoich artykułach: Я. Жуї, *Фитонимы с метафорической мотивированностью в русском и китайском языках*, „Вестник БДУ” 2008, ser. 4, nr 1, s. 46–49; Н.И. Панасенко, *Контрастивный анализ метафоры в фитонимической лексике*, „Нова філологія” 2009, вып. 36, s. 129–136; В.Б. Колосова, „Медвежьи” растения в русских говорах, „Русская речь” 2012, nr 5, s. 94–97; В. Б. Колосова, *Мотивации славянских названий растений, образованных от зоонимов*, „Традиционная культура” 2014, nr 3, s. 77–84; С.Ю. Дубровина, *Зоонимные названия растений. Воловики и „воловы” травы*, [w:] *Этноботаника: растения в языке и культуре*, ред. В.Б. Колосова, А.Б. Ипполитова, Санкт-Петербург 2010, „Acta Linguistica Petropolitana”, ред. Н.Н. Казанский, т. VI, cz. 1, s. 62–69.

¹² Przy czym należy zauważyć, że jedna roślina (gatunek) może mieć od jednego do (nawet) kilkunastu mian ludowych, a jedną nazwą ludową może być nazywane wiele różnych roślin (gatunków). Tego typu synonimia nie jest akceptowalna w oficjalnej nomenklaturze botanicznej, ponieważ nie sprzyja precyzji terminologicznej, a w wypadku roślin stosowanych w celach leczniczych może mieć groźne skutki.

¹³ W związku z tym literatura z zakresu badań nominacji roślinnej jest bardzo bogata. Poza pozycjami ujętymi w tekście niniejszego artykułu badaniom nazewnictwa roślinnego w języku rosyjskim poświęcone są m.in. następujące prace: Н.И. Анненков, *Ботанический словарь*, Санкт-Петербург 1878; В.А. Меркулова, *Очерки по русской народной номенклатуре растений*, Москва 1967; A. Gajdamowicz-Mazurek, *Nazwy roślin w języku rosyjskim: Zarys słowotwórczo-semantyczny*,

Przenośnia obecna jest we wszystkich wymienionych wyżej typach nazw, jednakże – jak się wydaje – najczęściej w mianownictwie ludowym. Charakter metaforyczny mogą mieć polskie i rosyjskie nazwy botaniczne ziół, będące zarówno wyrazami rodzimymi, jak i zapożyczeniami strukturalnymi (kalkami słowotwórczymi) zaczerpniętymi z łacińskich nazw naukowych, które także są metaforami. Nazwy botaniczne w językach narodowych, będące zapożyczeniami wyrazowymi z łaciny, nie mają czytelnej motywacji semantycznej, więc w tym wypadku o metaforze można mówić jedynie w odniesieniu do ich pierwowzoru w nomenklaturze naukowej¹⁴. Dla właściwej identyfikacji roślin przy rozpatrywaniu różnego typu metafor powstałych na zasadzie podobieństwa animalistycznego będą podawane wszystkie oficjalne nazwy danej rośliny¹⁵ (łacińska nazwa naukowa oraz nazwy zwyczajowe w języku polskim i rosyjskim), przy czym będące przedmiotem analizy miana metaforyczne zostaną wyróżnione poprzez pogrubienie¹⁶. Ze względu na bogactwo i wielorakość motywacji semantycznej nazewnictwa występującego w funkcjonalnej grupie roślin leczniczych zostaną

Opole 1985; Б.Н. Головкин: *О чем говорят названия растений*, Москва 1986; a także prace autorów: В.Б. Колосова, С.Ю. Дубровина, Н.Д. Голев, Н.И. Коновалова, А.С. Савенко, Е. Пухлякова, М. Małocha, W. Stec i in. Badaniom polskich (i szerzej – słowiańskich) nazw roślin zostały poświęcone m.in. prace: W. Budziszewskiej, *Słowiańskie słownictwo dotyczące przyrody żywej*, Wrocław 1965; L. Wajdy-Adamczykowej, *Polskie nazwy drzew*, Wrocław 1989; A. Spólnik, *Nazwy polskich roślin do XVIII wieku*, Wrocław 1990; E. Rogowskiej, *Kaszubskie nazwy roślin uprawnych*, Gdańsk 1998; H. Chodurskiej, *Ze studiów nad fitonimami rękopiśmiennych zielników wschodniosłowiańskich XVII–XVIII wieku*, Kraków 2003; K. Pastusiak, *Pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie w świetle danych językowych i etnograficznych na podstawie nazw roślin*, Warszawa 2007; K. Szczęśniak, *Świat roślin światem ludzi na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny*, Gdańsk 2008. Tematykę tę poruszają również autorzy artykułów opublikowanych w tomach z serii „Historia leków naturalnych”, red. B. Kuźnicka, t. 2: *Natura i kultura – współzależności w dziejach lekownictwa*, Warszawa 1989; t. 5: *Materia pharmaceutica*, Warszawa 1999 oraz artykułów w tomie *Świat roślin w języku i kulturze*, red. A. Dąbrowska, I. Kamińska-Szmaj, z cyklu „Język a Kultura”, t. 16, Wrocław 2001; a także w swoich pracach badawczych E. Pawłowski, H. Pelcowa, S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Waniakowa, T. Skubalanka, K. Handke, J. Biniewicz, W. Stec i in.

¹⁴ Bądź też w języku, w którym powstały, zanim zostały zlatynizowane i stały się oficjalnymi nazwami naukowymi.

¹⁵ Łacińskie nazwy naukowe roślin leczniczych oraz ich polskie i rosyjskie odpowiedniki podano m.in. na podstawie: Z. Mirek i in., *Vascular Plants of Poland. A Checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski*, Instytut Botaniki PAN im. W. Szafera, Kraków 1995; *Słownik roślin zielnych: łacińsko-polski*, Officina Botanica, Kraków 2008; А.Ю. Болотина, *Словарь лекарственных растений (латинский, английский, немецкий, русский)*, Изд-во Руссо, Москва 2007. Jako materiał źródłowy przywołanego w artykule nazewnictwa ludowego posłużyły pozycje językoznawcze oraz pozycje specjalistyczne z zakresu botaniki, zielarstwa i ziołolecznictwa i in. (wymienione w przypisach).

¹⁶ W nazewnictwie roślinnym nagminne jest zjawisko różnorodnej motywacji semantycznej nazw odnoszących się do jednego desygnatu, przy czym odnosi się to nie tylko do nazw w różnych językach, ale także np. do nazw gwarowych występujących w jednym języku.

przedstawione jedynie wybrane typy nominacji opartej na zjawisku metafory, jakiej podstawą są cechy zwierząt. W celu zobrazowania pewnych prawidłowości, poparte będą odpowiednimi przykładami nazw roślin.

1. Nazwy metaforyczne roślin leczniczych oparte na **podobieństwie organów rośliny do narządów (części ciała) zwierzęcia (lub do całego zwierzęcia)**, czyli mające postać metafor somatycznych, są bodajże najczęściej spotykanym typem nazw. Wiąże się to zapewne z tym, że w procesie percepcji świata roślinnego odbiór wzrokowy jest dominujący. W tej grupie nominacji można wyróżnić nazwy zbudowane na następujących rodzajach podobieństwa:

1.1. Podobieństwo liści rośliny do części ciała zwierzęcia

Do kończyn zwierzęcia lub ich części nawiązują metaforyczne nazwy ludowe podbiału pospolitego (мать-и-мачеха обыкновенная, *Tussilago farfara* L.): **ośla stopa**, **końskie kopyto**, **kopytnik**. Podstawą przeniesienia jest kształt i rozmiar liści tej rośliny¹⁷. Także **kopytnik pospolity**, ros. **копытенъ европейскій** (*Asarum europaeum* L.) swoją nazwę rodzajową zawdzięcza „charakterystycznemu kształtowi liści przypominających kopyta. Natomiast jego nazwa łacińska *Asarum* kojarzona jest z dywanem, ponieważ roślina rozrasta się szeroko, tworząc gęsty, ciemnozielony kobierzec”¹⁸. Podstawą metafory w ludowych nazwach barszczu zwyczajnego¹⁹ (борщевик обыкновенный, *Heracleum sphondylium* L.) typu **niedźwiedzia łapa (stopa)**, **медвежья лапа (стопа)** jest zapewne kształt i rozmiar liści rośliny, a także wysokość samej rośliny (od 50 do 120 cm), masywny kształt łodygi i jej rozgałęzień. Nazwa **pięciornik kurze ziele** (*Potentilla erecta* (L.) Hampe), pol. n. lud.: **kurzyśląd**, **kurze ziele** – „związana jest z wyglądem liści, które przypominają kształtem kurzą łapkę”²⁰, podobnie jak rosyjska nazwa zwyczajowa tej rośliny **лапчатка прямостоячая**²¹.

Podobieństwo liści rośliny do języka zwierzęcia posłużyło do utworzenia metaforycznych nazw roślin leczniczych, których liście mają charakterystyczny kształt, a ich blaszka liściowa – szorstką, chropowatą powierzchnię. Przykładowe

¹⁷ Zob. A.A. Cavelius, B. Frohn, *Zioła w medycynie naturalnej*, Oficyna MAK sp. z o.o., Bremen 2005, s. 296.

¹⁸ J.A. Kozłowski i in., *Zioła z apteki natury*, Publicat SA, Poznań 2007, s. 86.

¹⁹ Roślina jadalna, „z której liści zbieranych w maju robiono w Polsce do XVII w. kwaśną polewkę zwaną też barszczem” – zob. W. Kopaliński, *Słownik mitów i tradycji kultury*, PIW – Drukarnia Naukowo-Techniczna, Warszawa 1985, s. 79.

²⁰ J.A. Kozłowski i in., op. cit., s. 133; por.: K. Bonenberg, *Rośliny użyteczne człowiekowi*, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988, s. 121; E. Kuźniewski, J. Augustyn-Puziewicz, *Przewodnik ziołolecznictwa ludowego*, PWN, Warszawa – Wrocław 1984, s. 66–67.

²¹ Zob. *Словарь русского языка*, в 4-х тт., А.П. Евгеньева, Русский язык, Москва 1983, т. II, s. 164.

nazwy tego typu to polskie ludowe miana babki lancetowatej (подорожник ланцетолистный, *Plantago lanceolata* L.) – **jęczyczki, jęczyczki polne, jęczyczki psie, baranie języki**²². Innym przykładem są ludowe polskie i rosyjskie nazwy farbownika lekarskiego (*Anchusa officinalis* L.) – **język wołowy, wołowe ziele, воловий язык**, a także rosyjska nazwa zwyczajowa tej rośliny – **воловик лекарственный**. Z opisu botanicznego wynika, że roślina owa ma „liście szeroko lancetowate, szorstko owłosione”²³. Kolejny przykład tego typu metafory prezentują nazwy ludowe ostrzenia pospolitego (чернокорень лекарственный): **psi język, пёсий язык**, którego liście są „lancetowate, szaro owłosione, zwężone w długi ogonek”²⁴. Brudnoczerwona korona okwiatu w otoczeniu owłosionych listków również przypomina wysunięty język psa. Także człon rodzajowy nazwy łacińskiej tej rośliny *Cynoglossum officinale* L. można wyjaśnić w analogiczny sposób, powstał on bowiem w wyniku złączenia w jedną całość dwóch greckich wyrazów *kyon* – pies i *glossa* – język. Już Pliniusz Starszy rośliny tego rodzaju określał mianem *cynoglossos* lub *lingua canina*²⁵.

Nazwy ludowe serdecznika pospolitego (пустырник сердечный, *Leonurus cardiaca* L.) przywodzą na myśl zwierzęce ogony: **lwi ogon** to miano analogiczne do pochodzącej z greki łacińskiej nazwy rodzajowej *Leonurus*, która znaczy ‘lwi ogon’ i wiąże się z kształtem liści²⁶, nazwa **lisi ogon** wskazuje na zewnętrzne podobieństwo liści serdecznika do ogona innego zwierzęcia²⁷. Istnieje więcej metaforycznych nazw ludowych tej rośliny, które jednakże oparte są na podobieństwie innego typu: **gęsia stopa, wilcza stopa** – motywowane wyglądem liści i ich podobieństwem do stóp zwierząt; **lwie serce** – w tym wypadku motywacja związana jest z zastosowaniem tej cennej z medycznego punktu widzenia rośliny.

1.2. Podobieństwo kwiatu lub kwiatostanu rośliny do części ciała zwierzęcia

Ludowe miana lniczy pospolitej (льнянка обыкновенная, *Linaria vulgaris* L.) typu **lwia paszcza**²⁸, **dzikie lwie paszcze** zostały nadane roślinie ze względu na specyficzny kształt żółto zabarwionych kwiatów, przypominających otwartą

²² H. Strzelecka, J. Kowalski (red.), *Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 208.

²³ J. Mowszowicz, *Przewodnik do oznaczania krajowych roślin zielarskich*, PWRiL, Warszawa 1983, s. 327.

²⁴ Ibidem, s. 324–325.

²⁵ M. Rejewski, *Pochodzenie łacińskich nazw roślin polskich. Przewodnik botaniczny*, KiW, Warszawa 1996, s.59.

²⁶ Zob. J.A. Kozłowski i in., op. cit., s. 158.

²⁷ Zob. J. Mowszowicz, op. cit., s. 364–365.

²⁸ I. Siedlecka, *500 zagadek botanicznych*, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985, s. 248.

paszczę drapieżnika. Nazwy ludowe **kocanek piaskowych** (ros. бессмертник песчаный, *Helichrysum arenarium* (L.) Moench) – **kocielapki, кошачьи лапки** – są motywowane specyficznym wyglądem kwiatostanów, jakimi są „kulistę koszyczki zebrane w gęstą, szczytową, baldachokształtną wiechę”²⁹. **Poziewnik szorstki**, n. lud. **kocipysk** (пикульник обыкновенный, *Galeopsis tetrahit* L.) – to roślina lecznicza o gałęzistej, pokrytej ostrymi, sztyglastymi ząbkami łodydze³⁰, odznaczającą się charakterystycznymi kwiatami, których opis pozwolę sobie zacytować: „kielich kwiatu ma na nerwach szczecinki, jego ząbki i przysadki są kłujące [...] korona jest grzbiecista, dwuwargowa, czerwona lub purpurowa [...]. Środkowa kłapa dolnej wargi ma w nasadzie dwa uwypuklenia, w gardzieli zaś żółtą plamę. Górna warga jest jajowata i hełmiasta”³¹. Przytoczony szczegółowy opis wyglądu kwiatów pozwala wysnuć przypuszczenie, że roślina została tak nazwana (poziewnik, kocipysk) ze względu na uderzające podobieństwo jej kwiatów do pyszczka ziewającego zwierzęcia (kota). Ludowe polskie miano wiązków błotnej (таволга вязолистная, *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim) – **kozia broda**, które zdaniem Anny Spólnik jest kalką łacińskiej nazwy *barba capri* powszechnej w XV w.³², powstało prawdopodobnie w oparciu o podobieństwo okazałego kwiatostanu rośliny³³ do brody zwierzęcia (kozy). W kwiatostanach można doszukiwać się podobieństwa nie tylko do części ciała, ale również do wyglądu zewnętrznego całego zwierzęcia (pokroju), co pokazują nazwy ludowe koniczyny polnej (клевер пашенный, *Trifolium arvense* L.) – **kotki, kozie ogony**³⁴, ros. **котики** – utworzone zapewne „ze względu na miękkie, owłosione główki kwiatostanowe”³⁵.

²⁹ Zob. opis rośliny w: H. Strzelecka, J. Kowalski (red.), op. cit., s. 228–229. J. Waniakowa podaje, że nazwa *kocanki* jest zbudowana na morfemie leksykalnym *kot-* (J. Waniakowa, op. cit., s. 147), powołując się przy tym na F. Sławskiego, który pochodzenie nazwy rośliny kocanka (kocanki) interpretuje, wyjaśniając, że podstawą tego wyrazu (i innych mu podobnych) jest pieszczołliwa nazwa kota, zaś rośliny nazywa się tak od kosmatości, owłosienia łodyg, liści – zob. Sławski F., *Słownik etymologiczny języka polskiego*, t. II, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków 1958–1965, s. 310–311.

³⁰ A. Rumińska, A. Ożarowski (red.), *Leksykon roślin leczniczych*, PWRiL, Warszawa 1990, s. 397.

³¹ Zob. Polski Serwis Naukowy, [online], <http://www.naukowy.pl/encyklopedia/Poziewnik_szorstki> (dostęp: 5.12.2014).

³² A. Spólnik, *Nazwy polskich roślin do XVIII wieku*, ZNIO, Wrocław 1990, s. 107.

³³ Jest nim rozgałęziony podbaldach zawierający kremowe kwiaty z licznymi pręcikami, o wiele dłuższymi niż płatki, zob. A. Pachłowska i in., *Wiązówka błotna*, „Panacea” 2012, nr 4 (41), s. 26.

³⁴ A. Paluch, *Zerwij ziele z dziewięciu miedz...* *Ziołolecznictwo ludowe w Polsce w XIX i na początku XX wieku*, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1989, s. 82.

³⁵ J. Kozłowski i in., *Rośliny i surowce lecznicze. Podstawowe wiadomości z zakresu zielarstwa*, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań 2009, s. 45; por. także pochodzenie nazwy kocanki w przypisie nr 27.

Niekiedy podstawą metafory w nazwie rośliny jest podobieństwo do zwierzęcia mitycznego. Rosyjska nazwa zwyczajowa niezwykle aromatycznego pszczelnika mołdawskiego – **змееголовник молдавский**, podobnie jak jedno z ludowych określeń **драконоголовник** oraz łacińska nazwa naukowa ***Dracocephalum moldavica*** L. jest motywowana formą kwiatów w kwiatostanach – pojedyncze kwiaty barwy błękitnej, fioletowej lub białej przypominają głowę węża lub smoka.

1.3. Podobieństwo innych organów rośliny do części ciała zwierzęcia

Podobieństwo pędu rośliny do ogona zwierzęcia legło u podstaw metaforycznych nazw skrzypu polnego, który ma „pędy płonne pojedynczo okółkowo-rozgałęzione”³⁶. Stąd też polskie ludowe określenie **koński ogon**, a także rosyjska nazwa botaniczna **хвощ полевой**³⁷. Łacińska nazwa rodzajowa ***Equisetum arvense*** L. także oddaje niespotykany wygląd rośliny, powstała bowiem jako złożenie łacińskich wyrazów *equus* – koń i *seta, saeta* – szczecina, sierść, włosie, co w przenośni oznacza: ‘końska grzywa’, ‘koński ogon’³⁸. Łacińska nazwa jest z kolei, jak wyjaśnia Marian Rejewski: „kalką (repliką) greckiej nazwy *hippuris* (Demokryt) – koński ogon, z gr. *hippos* – koń i gr. *ura* – ogon”³⁹. Warto nadmienić, że ogon konia jeszcze bardziej przypomina pęd innego gatunku z rodzaju skrzyp – skrzypu leśnego, ros. **хвощ лесной** (*Equisetum sylvaticum* L.).

O podobieństwie kolców na łodydze rośliny do zwierzęcych pazurów można wnioskować z popularnych nazw czepoty puszystej⁴⁰ (ункария опушённая, *Uncaria tomentosa* (Willd.) DC.): **kości pazur**, **кошачий коготь**. Odnoszą się one do cierni tego pnącza przypominających swoim wyglądem kocie pazury⁴¹. Podobieństwem kolców znajdujących się na łodydze rośliny do kolców na grzbiecie jeża motywowane są metaforyczne nazwy botaniczne różnych gatunków jeżyny w języku rosyjskim i polskim: **ежевика сизая**, **jeżyna popielica** (*Rubus caesius* L.). Cechą charakterystyczną jeżyny są „прямые тонкие шипы на побегах”⁴², dlatego też słowo *ежевика* „образовано от ёж (от основы ежев-

³⁶ Zob. E. Kuźniewski, J. Augustyn-Puziewicz, op. cit., s. 101.

³⁷ Zob. wyjaśnienie znaczenia i pochodzenia rosyjskiej nazwy rodzajowej oraz nazw ludowych skrzypu zbieżnych z punktu widzenia motywacji semantycznej, w: В.А. Меркулова, *Очерки по русской народной номенклатуре растений*, Наука, Москва 1967, s. 117.

³⁸ Zob. M. Rejewski, op. cit., s. 59; także: J. Linford, *Ziola. Kieszonkowy przewodnik*, Paragon, Bath UK 2009, s. 102.

³⁹ M. Rejewski, op. cit., s. 68.

⁴⁰ Znana też w obiegu handlowym pod nazwą *vilcacora*.

⁴¹ Zob. B.E. Wyk, M. Wink, *Rośliny lecznicze świata*, MedPharm Polska, Wrocław 2008, s. 330.

⁴² С. Мацюцкий, *Туристу о растениях*, Профиздат, Москва 1988, s. 104.

ср. *ежовый*) по колючести стебля”⁴³. Inny gatunek – **jeżyna fałdowana, ежевика складчатая** (*Rubus plicatus* W. et N.) – ma „pędy kanciaste, pokryte kolcami średnio dużymi, zastrzonymi, nieco zakrzywionymi”⁴⁴. Polska nazwa botaniczna **jeżówki purpurowej** oraz jej łaciński pierwowzór *Echinacea purpurea* (L.) Moench (ros. эхинацея пурпурная⁴⁵) również budzi pewne skojarzenia z jeżem – być może z powodu uderzającego podobieństwa wewnętrznych kwiatów rurkowych do kolców jeża, szczególnie u przekwitających roślin⁴⁶.

Nazwa zwyczajowa **rdest wężownik**, ros. **горец змеиный**, a także nazwy ludowe **gadzi korzeń, паковые шейки, змеевик** pochodzą od „powyginanych wężowatych korzeni”⁴⁷ tej rośliny, która ma „kłącze grube, zdrewniałe, wygięte”⁴⁸. Łacińska nazwa naukowa *Polygonum bistorta* L. również odnosi się do wężowo pogiętych kłączy, jako że „*bistortus* – podwójnie skręcony; złożenie łac. *bis* – dwakroć, podwójnie, i łac. *tortus* – kręty, skręcony”⁴⁹. W tym wypadku metafora oparta jest na podobieństwie kłącza rośliny (przekształcenia pędu) do ciała zwierzęcia.

Także nasiona roślin leczniczych mogą przypominać nam zwierzęta (owady), co zostało użyte w nominacji opartej na metaforze. Przykładem takiej metaforycznej nazwy może być **подорожник блошный**, czyli babka płesznik, której ludowe polskie miano brzmi **pchlica**, określenia rosyjskie zaś, to m.in.: **блошник, блошница, блошное семя, блошная трава**⁵⁰. Analogiczną motywację ma łacińska nazwa naukowa *Plantago psyllium* L., w której epitet gatunkowy *psyllium* „pochodzi od greckiego słowa *psylla* – pchła, gdyż nasiona tego gatunku babki są ludzko podobne do pcheł, zarówno pod względem wielkości jak i kształtu”⁵¹. Łacińska nazwa rącznika pospolitego *Ricinus communis* L. „pochodzi od łacińskiego słowa *ricinus* – kleszcz, gdyż nasiona przypominają nassane kleszcze *Ixodes ricinus*”⁵². Takie samo wyjaśnienie można byłoby dać nazwie rosyjskiej zwyczajowej **клещевина обыкновенная** oraz ludowej nazwie polskiej **kleszczowina**.

⁴³ П.Я. Черных, *Историко-этимологический словарь современного русского языка*, Русский язык, Москва 1994, t. I, s. 282.

⁴⁴ H. Strzelecka, J. Kowalski (red.), op. cit., s. 208.

⁴⁵ Rosyjska nazwa zwyczajowa to zaadaptowane fonetycznie i graficznie zapożyczenie właściwe z łaciny, nie posiada ona zatem czytelnej „wewnętrznej formy”.

⁴⁶ Zob. szczegółowy opis kwiatów jeżówki w: H. Strzelecka, J. Kowalski (red.), op. cit., s. 207.

⁴⁷ Cytuję za: E.M. Dreier, *Ziola oraz ich trujące sobowtóry. Poradnik dla zbieraczy*, Bauer-Weltbild Media (KDC), Warszawa 2008, s. 51. Jak przypuszczam, autorce zapewne chodziło o wykorzystywane w ziołarstwie kłącza, a nie korzenie.

⁴⁸ J. Mowszowicz, op. cit., s. 293.

⁴⁹ M. Rejewski, op. cit., s. 37.

⁵⁰ Nazwy pochodzą od rzeczownika *блоха* – pchła.

⁵¹ A. Rumińska, A. Ożarowski (red.), op. cit., s. 43.

⁵² Ibidem, s. 415.

2. Nazwy metaforyczne oparte na **podobieństwie zapachu wydzielanego przez rośliny do zapachu wydzielanego przez zwierzęta**

„Kozim” zapachem, na co wskazuje nazwa, wyróżnia się **kozieradka pospolita** (пажитник сенной, *Trigonella foenum-graecum* L.), która ma „nasiona o charakterystycznym, silnym zapachu po roztarciu”⁵³, a jak podaje Henryk Różański, „u niektórych osób pod wpływem przetworów z kozieradki pot i łój przybiera kozi zapach”⁵⁴. Stanowiące wyjątkowo cenny surowiec leczniczy łącznie **kozlka lekarskiego** (валериана лекарственная, *Valeriana officinalis* L.) zawiera olejek eteryczny o niemiłym, mdłym zapachu, określanym jako „kozi”⁵⁵. Metaforyczny charakter mają także polskie nazwy ludowe kolendry siewnej – **pluskewnik**, **koper pluskwiany**, motywowane nieprzyjemnym zapachem świeżej rośliny, przypominającym zapach pluskwiew (zapach pluskwiaków spowodowany jest obecnością trans-tridecenu i aldehydu kuminowego w niedojrzałych owocach). Podobnie można byłoby wyjaśnić łacińską nazwę naukową kolendry *Coriandrum sativum* L., której część rodzajowa *Coriandrum* pochodzi od greckiego wyrazu *koris* – pluskwa⁵⁶. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że metaforyczne nazwy ludowe utworzone zapewne na podstawie odbieranych wrażeń węchowych powstały na zasadzie kalki łacińskiej nazwy rodzaju⁵⁷. Marian Janusz Kawałko nadmienia, że już „greccy pisarze starożytni (Arystofanes, Teofrast, Hipokrates, Dioskorides i in.) wymieniali ją pod nazwą *koriannon* lub *korion*, interpretowaną jako derywat wspomnianego wyżej wyrazu *koris* (pluskwa)”⁵⁸. Rosyjska nazwa zwyczajowa kolendry to кориандр⁵⁹ посевной, syn. кишнец. W republikach zakaukaskich jest powszechnie uprawiana jako roślina warzywna pod nazwą кинза (киндза)⁶⁰. Do mian zbudowanych na podstawie podobieństwa zapachu rośliny do zapachu zwierzęcia należą również

⁵³ J. Mowszowicz, op. cit., s. 139.

⁵⁴ H. Różański, *Kozieradka pospolita i kozieradka błękitna w fitoterapii człowieka i zwierząt*, [online] <<http://luskiewnik.strefa.pl/farmakologia/trigonella.htm>> (dostęp: 5.12.2014).

⁵⁵ Zob. I. Siedlecka, op. cit., s. 113; M. Polakowska, *Leśne rośliny zielarskie*, PWRiL, Warszawa 1987, s. 111.

⁵⁶ Jak podaje M. Rejewski, „zapewne złożenie gr. *koris* = pluskwa i *annesion* = anyż; ze względu na charakterystyczny pluskwiany zapach świeżych owoców kolendry, zmieniający się z czasem w przyjemny, korzenny aromat”, w: M. Rejewski, op. cit., s. 55; por. także opis rośliny w: K. Głowniak, J. Wideliski, *Kolendra – przyprawa i lek*, „Panacea” 2013, nr 1 (42), s. 16–17.

⁵⁷ Co ciekawe, kolendra jest jedną z najwcześniej uprawianych roślin – już ok. 1000 lat p.n.e., a jej owoce znaleziono w staroegipskich grobach z okresu V dynastii: zob. A. Rumińska, A. Ożarowski (red.), op. cit., s. 221.

⁵⁸ Zob. M. J. Kawałko, *Historie ziołowe*, KAW, Lublin 1986, s. 292.

⁵⁹ Zapożyczenie wyrazowe z łaciny, podobnie jak polska nazwa *kolendra*.

⁶⁰ Zob. Ю.И. Муханова, Е.М. Хомякова, *Пряная зелень на грядках*, Московский рабочий, Москва 1991, s. 15.

nazwy botaniczne **pluskwica groniasta**, **клопогон вонючий** (*Cimicifuga racemosa* Nutt.). Zarówno nazwa rodzajowa polska, jak i rosyjska (w drugim przypadku także człon gatunkowy – вонючий) wskazują na nieprzyjemny zapach wydzielany przez roślinę, przypominający zapach pluskwiew.

3. Metaforyczne nazwy roślin **motywowane nazwami ze świata zwierząt**, cechujące się **negatywnym wartościowaniem**

W nazwach mających charakter metaforyczny musi być uwzględniony czynnik kognitywno-kulturowy realizacji wyrażenia metaforycznego, bez którego niemożliwy byłby jego prawidłowy odbiór i zrozumienie⁶¹. Jak wyjaśnia Aleksander Kiklewicz, polega on na „wspólnej dla partnerów komunikacji wiedzy o świecie”, znajdującej swój wyraz w tym, że „w obrębie wspólnoty językowej i kulturowej określonym conceptom (kategoriom pojęciowym) przyporządkowuje się wyznaczone prototypy – ekstensjonalne (tzn. konkretne referenty) lub intensjonalne (tzn. cechy lub zespoły cech)”⁶². W wypadku nazewnictwa roślin leczniczych stwierdzenie powyższe można byłoby odnieść do metaforycznych nazw zawierających komponenty wartościujące ujemnie – przymiotniki typu *wilczy/волчий* (także: *psi/собачий*, *świński/свиной*, *wroni/вороной*). Są to kategorie pojęciowe (koncepty) związane z potencjalnym niebezpieczeństwem zagrażającym człowiekowi ze strony zwierząt (lub z negatywnymi konotacjami z nimi związanymi), co znajduje swoje odbicie zarówno w kulturze, jak i w pozostałej sferze rzeczywistości pozajęzykowej. Cechą stanowiącą bazę dla metafory są w tym wypadku trujące (a więc niebezpieczne, stwarzające zagrożenie utraty zdrowia lub nawet życia) właściwości tych roślin. W metaforycznych nazwach tego typu niekiedy są wręcz wskazywane najbardziej trujące części rośliny, poprzez obdarzenie ich epitetem „odzwierzęcym”. W takich mianach brakuje zewnętrznego widocznego podobieństwa między rośliną a zwierzęciem. Podstawą metafory jest skojarzenie roślin leczniczych i trujących zarazem ze zwierzętami drapieżnymi, które stanowią dla człowieka potencjalne niebezpieczeństwo, zatem podobieństwo wynika z analogii do poczucia zagrożenia. Tego typu nazwy metaforyczne są wysoce ekspresywne, zawierają sugestie i przestrożę, ostrzegając przed spożyciem roślin⁶³.

⁶¹ Zob. A. Kiklewicz, *Język, komunikacja, wiedza*, Prawo i Ekonomika, Mińsk 2006, s. 239.

⁶² Ibidem, s. 239.

⁶³ Zob. artykuł В. Стец, *Особенности номинации ядовитых лекарственных растений в русском и польском языках*, [w:] *Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе*, ред. Л.А. Кудрявцева, Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Киев 2011, s. 163–167.

„Wilcze” elementy wartościujące zawierają zarówno nazwy botaniczne (polska i rosyjska), jak i liczne ludowe miana **wawrzynka wilczego łyka**, ros. **волчегодник обыкновенный** (*Daphne mezereum* L.): **волчье лыко, волчник, волчегодник смертельный, волчьи ягоды**. Jak podano w opisie rośliny, „в коре содержатся гликозид дафнин и желтоватая смола мезерин, эта смола обнаруживается во всем растении и объясняет его ядовитость”⁶⁴. Metaforyczne i oceniające jest także ludowe rosyjskie określenie **psianki słodkogórz** (паслен сладко-горький, *Solanum dulcamara* L.) – **волчья ягода**, której jagody są „ярко-красные, сочные [...] В народе их называют волчья ягода”⁶⁵. **Pokrzyk wilcza jagoda** (красавка белладонна, *Atropa belladonna* L.) także ma nazwy ludowe, które niejako deprecjonują tę roślinę: **psia wiśnia, wilcza wiśnia, wilczojagoda**⁶⁶. Inne miana ludowe polskie i rosyjskie są nie mniej ekspresywne: krzykawiec, wisielec; сонная одурь, бешеная ягода, вишня бешеная. Polska nazwa botaniczna tej rośliny „nawiązuje do legendy mandragory, której korzeń o kształcie przypominającym postać ludzką wydawał krzyk podczas wrywania. [...] Друга część nazwy – wilcza jagoda związana jest z wykorzystywaniem tej rośliny jako trucizny na wilki. Do dołów-pułapek podrzucano mięso zatrute sokiem z owoców pokrzyku”⁶⁷. Wszystkie powyższe określenia cechują się negatywnym wartościowaniem, jednoznacznie wskazując na zagrożenie. Inne przykłady rosyjskich metaforycznych nazw roślin motywowanych nazwami ze świata zwierząt i niosących przekaz wartościujący ujemnie to: **вороний глаз четырехлистный** (czworolist pospolity, *Paris quadrifolia* L.)⁶⁸ oraz silnie trujący **воронец колосовидный** (czerniec gronkowy, *Actaea spicata* L.), którego owocami są „продолговатые ягоды, черные или красные”⁶⁹. W obydwu nazwach podstawą metafory stało się podobieństwo barwy owoców do ubarwienia ptaka.

Oprócz wymienionych powyżej metaforycznych modeli mian roślin leczniczych, motywowanych nazwami animalistycznymi, w procesie nominacji językowej spotyka się również metafory zbudowane na zasadzie: siedlisko

⁶⁴ Г.В. Круглякова, *Заготовка, хранение и переработка дикорастущих ягод и грибов*, Экономика, Москва 1990, s. 33.

⁶⁵ Ibidem, s. 34.

⁶⁶ J.A. Kozłowski i in., *Zioła z apteki natury*, Publicat SA, Poznań 2007, s. 137.

⁶⁷ Zob. A. Rumińska, A. Ożarowski (red.), op. cit., s. 385; W. Kopaliński, op. cit., s. 646–647 oraz s. 899.

⁶⁸ „Из центра мутовки выходит длинная цветоножка с одним цветком. [...] Плод – одна ягода, правильной шаровидной формы; цвет – черный с синеватым отливом; очень ядовитая” – zob.: Г.В. Круглякова, op. cit., s. 33–34.

⁶⁹ Ibidem, s. 34.

rośliny⁷⁰ = siedlisko zwierzęcia. W tym wypadku brak jest zewnętrznego podobieństwa, analogia dotyczy zaś **miejsca występowania w przyrodzie** – wspólnego dla nazywanej rośliny i zwierzęcia będącego podstawą przeniesienia znaczenia. Przykładem takiej metafory mogą być ludowe określenia rdestu ostrogorzkiego (горец перечный, *Polygonum hydropiper* L.), motywowane siedliskiem rośliny, będącym typowym miejscem występowania żab: polska – **żabieniec** – obecność rośliny „związana jest z podłożem mokrym”⁷¹, a także rosyjska **лягушечник** – „растение произрастает близ воды”⁷². Ale ponieważ nazewnictwu ludowemu nieobca jest synonimia, **żabieńcem** nazywany jest również inny gatunek rośliny – kniec błotna (калужница болотная, *Caltha palustris* L.), która, podobnie jak ww. rdest ostrogorzki, na co dzień „sąsiaduje” ze zwierzętami – żabami oraz innymi płazami⁷³. Na zasadzie metafory opartej na podobieństwie warunków związanych z miejscem występowania rośliny i zwierzęcia zbudowany jest człon rodzajowy polskiej nazwy botanicznej cenionej rośliny leczniczej, jaką jest **bobrek trójlistkowy** (вахта трехлистная, *Menyanthes trifoliata* L.) oraz jedno z jej ludowych mian – **bobrowniczek**. Gatunek ten w stanie dzikim spotykany jest w miejscach występowania bobrów – porasta obrzeża torfowisk, bagna i brzegi różnego typu zbiorników wodnych, występując także na podmokłych łąkach i moczarach⁷⁴. Również nazwa zwyczajowa **żurawina błotna** (клюква болотная, *Oxycoccus palustris* Pers.) oraz analogicznie brzmiące rosyjskie ludowe określenie tej rośliny – **журавина**, mogą być interpretowane jako przenośnie powstałe na zasadzie podobieństwa siedliska rośliny i siedliska zwierzęcia. Tak wyjaśnia to Irena Siedlecka, która pisze, że żurawina „rośnie wśród mchów na torfowiskach. Podobne środowisko upodobał sobie żuraw, który jest mieszkańcem okolic bagnistych”⁷⁵. Ale nazwa tej rośliny

⁷⁰ Siedliska roślinne jako motyw nazwotwórczy w nominacji językowej roślin leczniczych zostały szczegółowo przedstawione w artykule: W. Stec, *Z zagadnień motywacji nazw roślin leczniczych w języku polskim i rosyjskim: nazwy motywowane warunkami środowiskowymi roślin*, „Studia Wschodniosłowiańskie” 2013, t. 13, s. 127–142.

⁷¹ Cz. Trąba, K. Rogut, P. Wolański, *Rośliny dziko występujące i ich zastosowanie: przewodnik po wybranych gatunkach : materiały dydaktyczne*, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rzeszów 2012, s. 134.

⁷² К.Ф. Блинова, Г.П. Яковлева (ред.), *Ботанико-фармакогностический словарь: справочное пособие*, Высшая школа, Москва 1990, s. 180.

⁷³ Zob. opis siedliska rośliny w: H. Strzelecka, J. Kowalski (red.), op. cit., s. 227.

⁷⁴ Zob.: J. Kozłowski i in., *Rośliny i surowce lecznicze. Podstawowe wiadomości z zakresu zielarstwa*, IWNiRZ, Poznań 2009, s. 68; I. Siedlecka, op. cit., s. 113; B. Bacler-Żbikowska, *Zasoby gatunkowe cennych roślin leczniczych powiatu włoszczowskiego. Część 3 – bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata L.*, „Annales Academiae Medicae Silesiensis” 2012, t. 66, nr 6, s. 7.

⁷⁵ I. Siedlecka, op. cit., s. 115.

może być też motywowana pewnym podobieństwem łodyg kwiatowych i kwiatów żurawiny błotnej do szyi i głowy żurawia zwyczajnego.

Nazwy metaforyczne roślin leczniczych utworzone od nazw pochodzących ze świata zwierząt mogą wynikać ze **skojarzeń związanych z wyglądem i rozmiarem rośliny** lub z **jej praktycznym wykorzystaniem przez zwierzęta**. W nazwach tego typu aktywnie są wykorzystywane przymiotniki utworzone od nazw zwierząt: zajęczy/заячий, niedźwiedzi/медвежий, lwi/львиный, ptasi/птичий, kukułczy/кукушкин, wroni/вороной, psi/собачий, świński/свиной, żabi/лягушачий i in. Przymiotniki owe mogą wskazywać na **mniejszą wartość użytkową roślin** bądź ich **niejadalność**, deprecjonując je w ten sposób.

Metaforyczny charakter oparty na zauważalnym podobieństwie organów rośliny do narządów zwierzęcia mogą mieć łacińskie nazwy roślin leczniczych, których odpowiedniki w językach narodowych cechują się inną motywacją. Przykładem takiej metafory jest nazwa rodzajowa komosy piżmowej (марь амброзиевидная) – *Chenopodium ambrosioides* Cr., która wywodzi się „od dwóch słów greckich *chen* – gęś i *podos* – stopa i nawiązuje do kształtu liści tej rośliny, a nazwa gatunkowa wskazuje na ich silny aromat”⁷⁶. Korzeń bylicy estragonu (полынь эстрагонная, posp.: эстрагон, тархун) jest powyginany, przez co „kształtem przypomina smoka lub węża, stąd zapewne wzięła się jej łacińska nazwa (*draco* – wąż)”⁷⁷ – *Artemisia dracunculus* L. Metaforyczny charakter związany ze zwierzęciem, ale powstały nie w oparciu o podobieństwo cech zewnętrznych, lecz o pewną analogię w rozwoju rośliny i zachowaniu się zwierzęcia ma łacińska nazwa chmielu zwyczajnego (хмель обыкновенный) – *Humulus lupulus* L. Nazwa gatunkowa *lupulus* – ‘wilk’ „tłumaczy się tym, że chmiel oplata inne rośliny, a to może prowadzić do ich śmierci”⁷⁸, co ma swoje uzasadnienie w rozwoju biologicznym tej rośliny – chmiel zwyczajny jest bujnym, silnie rosnącym pnączem wytwarzającym pędy czepne.

Jednakże, jak wykazało powyższe badanie, prawdziwą skarbnicą metafor utworzonych od nazw ze świata zwierząt (choć nie tylko) są liczne nazwy ludowe (gwarowe, regionalne) roślin leczniczych. Źródła językowe oraz z zakresu zielarstwa i ziołolecznictwa pozwalają domniemywać, że im szersze było zastosowanie medyczne bądź magiczne konkretnych roślin, tym większy i bogatszy pod względem motywacyjnym był „arsenał” ich ludowych mian.

Sposób tworzenia nazw roślin leczniczych z użyciem metafory, w której punktem odniesienia są zwierzęta – ich charakterystyczne cechy somatyczne,

⁷⁶ A. Rumińska, A. Ożarowski (red.), op. cit., s. 225.

⁷⁷ J.A. Kozłowski i in., op. cit., s. 45.

⁷⁸ A. Rumińska, A. Ożarowski (red.), op. cit., s. 105.

a także związane z nimi konotacje – jest dość rozpowszechniony w nominacji roślinnej. Metafora w nazewnictwie to wynik percepcji i kojarzenia przez człowieka właściwości flory i fauny w ich wzajemnych zależnościach i uwarunkowaniach. Powstaje w drodze porównywania, poszukiwania cech wspólnych, a w rezultacie uświadamiania sobie różnego rodzaju podobieństw, które znajdują swoje odbicie w nominacji językowej.

Metaforyczne miana roślinne motywowane nazwami pochodzącymi ze świata zwierząt mogą być w pewnych sytuacjach uniwersalne (kalki językowe, równoległa nominacja w różnych językach na zasadzie asocjacji⁷⁹). Tym samym stanowią niejako potwierdzenie tezy o występującym u wszystkich ludzi podobieństwie procesów myślowych i sposobów ich odwzorowywania w języku⁸⁰. W takiej sytuacji nazwy cechują się analogiczną motywacją semantyczną, co przekłada się na ich zbieżność formalną (morfologiczną i słowotwórczą). U źródeł tego podobieństwa leży zbieżność kulturowo-językowa narodów słowiańskich, obejmująca również zbliżone zastosowanie roślin w stanowiącym podstawę medycyny ludowej ziołolecznictwie, będącym nieodłącznym składnikiem tradycji kulturowej każdej społeczności. Zdaniem Aleksandry Niewiary „nie do pominięcia jest założenie, iż języki w obrębie jednej grupy językowej – mające podobną strukturę – podobnie interpretują świat, budują podobne obrazy świata”⁸¹.

Ale jak wykazała analiza, metaforyczne nazwy roślin leczniczych mogą być także przejawem odrębności kulturowej, przekładającej się na różnice językowe (nomenklatoryczne). Wówczas różne miana nadawane tym samym gatunkom roślin leczniczych przez użytkowników języka polskiego i użytkowników języka rosyjskiego powstają w następstwie niejednolitego postrzegania denotatów oraz wynikają z odrębnych konotacji z nimi związanych. Użytkownicy tych dwóch języków słowiańskich, pomimo wielu wspólnych cech kulturowych, mogą mieć odmienny obraz nazywanych roślin, które niekoniecznie kojarzą im się ze zwierzętami, bądź inne skojarzenia są silniejsze i stają się decydujące w procesie nadawania nazw. A jak wyjaśnia Norbert Morciniec: „Tylko to znajduje odzwierciedlenie w języku, co dla danej wspólnoty językowej jest w jakiś sposób

⁷⁹ Jak wyjaśnia J. Waniakowa, op. cit., s. 117: „Ze zjawiskiem paralelnego rozwoju znaczenia w różnych językach mamy do czynienia wówczas, gdy cecha rośliny, która stała się podstawą motywacyjną nazwy, jest oczywista, sama się narzuca i stanowi pierwsze skojarzenie przy nazwach metaforycznych”.

⁸⁰ Zob. M. Timoszuć, *Język a teoria lingwistyczna*, KJS UW, Warszawa 2005, s. 27.

⁸¹ A. Niewiara, *Badania etymologii a odtwarzanie językowego obrazu świata*, „Językowy obraz świata i kultura”, red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, t. 13: „Język a Kultura”, Wrocław 2000, s. 97.

ważne. Rzeczywistość językowa wyrażająca się w słownictwie i gramatyce [...] jest więc swoistą interpretacją zjawisk świata obiektywnego przez daną wspólnotę i stanowi odzwierciedlenie tylko tej części zjawisk świata, która jest dla tej wspólnoty w pewien sposób ważna. Na tę interpretację i klasyfikacje pracowały setki pokoleń, pozostawiając w języku przekazywanym z pokolenia na pokolenie ślady swojego obrazu świata, swoich wartości, swojej wiedzy, wiary i przesądów”⁸².

Będące nazwami wtórnymi metaforyczne miana roślin leczniczych, motywowane nazwami ze świata zwierząt, odzwierciedlają fundamentalną właściwość ludzkiego myślenia, jaką jest umiejętność analizowania rzeczywistości pozajęzykowej, kategoryzacji i porównywania różnych jej zjawisk i cech. Jak stwierdza Alicja Nagórko, struktury nazewnicze oparte na metaforze i porównaniu mają charakter uniwersalny, występując w wielu językach, są upowszechniane „drogą kontaktów międzyjęzykowych” albo powstają „niezależnie od siebie na mocy właściwych człowiekowi mechanizmów postrzegania i kojarzenia cech”⁸³. Użycie metafory w procesie nadawania nazw umożliwia postrzeganie nieznanych dotąd roślin leczniczych przez pryzmat posiadanej wiedzy i doświadczenia w odniesieniu do już znanych człowiekowi zwierząt. Dzięki temu powstające metaforyczne miana są niezwykle obrazowe i łatwe do zapamiętania. Pełnią nie tylko funkcję nominatywną, ułatwiając poznanie, ale mogą również zawierać elementy wartościujące nazywane rośliny. Być może dlatego tego typu mechanizm nazwotwórczy jest jednym z najpopularniejszych sposobów tworzenia nazw roślin w ludowej, potocznej nominacji, często bardziej wyrazistej semantycznie niż nominacja naukowa.

Резюме

Метафора в номинации растений: польские и русские метафорические названия лекарственных растений, мотивированные названиями из животного мира

Вопрос использования метафоры в номинации растений представлен на примере избранных метафорических названий лекарственных растений мотивированных названиями из животного мира – в польском и русском языках, на фоне латинской научной номенклатуры. Способ образования названий лекарственных растений путем метафорического переноса по сходству с животными (в основу положены особенности их внешнего строения,

⁸² N. Morciniec, *O językowym obrazie świata, czyli czym różnią się języki*, [w:] „For the Love of the Embedded Word – in Society, Culture and Education”, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 21–22.

⁸³ Zob. A. Nagórko, *Zarys gramatyki polskiej*, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998, s. 188.

связанные с ними коннотации), является довольно распространенным в растительной номинации и встречается в наименованиях разного типа. Метафора возникает в результате восприятия и ассоциации человеком свойств природного мира – флоры и фауны, в их взаимной обусловленности и зависимости. Метафорические названия растений образны и легко запоминаются, выполняют номинативную и когнитивную функции, но могут также заключать оценочные компоненты.

Summary

Metaphor in the linguistic nomination of plants: Polish and Russian names of medicinal plants conveying animal-related metaphor

The paper refers to the use of animal-related metaphor in the linguistic nomination of plants. This phenomenon is illustrated through numerous examples of medicinal plants' names in Polish and Russian languages, as well as in Latin binomial nomenclature. In the process of plants' linguistic nomination, it is fairly common to use „zoological” metaphor (metaphor involving animals' body parts or the connotations associated with the animal given), reflecting the human perception of the world of nature as well as of the interdependence between flora and fauna. Metaphorical names are illustrative and easy to remember. Not only is metaphor a part of plants' name-formation process, but it may also indicate how the plant is perceived in a society.

Key words: linguistic nomination, animal-related metaphor, medicinal plants' names, Polish and Russian languages, Latin binomial nomenclature.

Literaturoznawstwo

Irena Betko

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Дослідження творчості Лесі Українки в Польщі: вибрані сторінки історії (З нагоди 100-ої річниці смерті письменниці)

1 серпня 2013 р. минула сота річниця смерті Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки, 1871–1913), котра до наших днів, поряд з Тарасом Шевченком та Іваном Франком, лишається одною з найбільш розпізнавальних постатей вітчизняної літератури і культури. Творчість цієї видатної поетеси, письменниці, а передусім авторки непересічної модерністської драматургії протягом багатьох десятиріч сумлінно вивчається не лише в українському, але й світовому літературознавстві.

Вихідними пунктами у ході аналізу фактів з польського загальнокультурного обшару служать оглядові статті двох українських учених (зрештою, досить стисло пов'язаних з польською славістикою) – Ростислава Радишевського *Творчість Лесі Українки в Польщі*¹ та Валентини Соболю *Recepcja twórczości Łesi Ukrainki w Polsce*². Кожну з цих праць детермінують свої особні, і то доволі специфічні завдання (зокрема, проф. Соболю основний акцент кладе на обговорення вибраних польськомовних тлумачень ранніх ліричних творів письменниці).

Тим часом у межах порушеної нами теми особливої вартості набувають власне представлені у даних статтях бібліографічні вказівки щодо науково-популярних та стисло наукових лесезнавчих досліджень, написаних передусім польською, а також українською мовами й опублікованих у Польщі протягом понад 120-ти рр. (1887–2011). Джерела у статті проф. Радишевського датуються 1887–1983 рр., натомість проф. Соболю контекст свого дослідження збагачує ще кількома виданнями як із зазначеного, так і з наступного періоду (до 2011 р. включно).

¹ Див.: Р. Радишевський, *Творчість Лесі Українки в Польщі*, [в:] *Леся Українка. Публікації, статті, дослідження*, Київ 1983, с. 183–213.

² Див.: W. Sobol, *Recepcja twórczości Łesi Ukrainki w Polsce*, tłum. M. Zambrzycka, „Przegląd Humanistyczny” 2011, № 4, с. 77–92.

Але навіть така солідна джерельна основа, окреслена зусиллями обох учених, тим не менше, потребує певного доповнення, яке, зокрема, уявляє присутність Лесі Українки на сторінках польськомовних *Історій української літератури*. Пальму першості у даній справі, думається, належить віддати Богданові Лепкому (1872–1941), одному з найцікавіших представників угруповання „Молода Муза”, сенаторові Сенату Речі Посполитої V каденції, а також викладачеві-україністу й, нарешті, надзвичайному професору Ягеллонського університету в Кракові. На сторінках його книги *Zarys literatury ukraińskiej* (Варшава – Краків 1930) кілька сторінок спеціально присвячено загальному огляду життя і творчості Лесі Українки. Проф. Лепкий передусім дає надзвичайно високу оцінку літературної спадщини письменниці, підкреслює її особистий партіотизм, високі моральні якості, духовний стоїцизм у боротьбі зі смертельною хворобою, перелічує основні поетичні та драматичні твори тощо³.

На закінчення розглядуваного лесезнавчого фрагмента наводиться цікава версія ліро-драматичної мікропоеми *Саул (Монолог)* в істотно скороченому польському перекладі (*Mój grajku ukochany!*)⁴. Оскільки автора цього перекладу не названо, можна припустити, що, імовірно, ним є сам проф. Лепкий. Польський новотвір подається без титулу й налічує 34 поетичних рядки, тоді як в українському оригіналі їх 116, – тобто, приблизно в чотири рази більше⁵. Не виключено, що така істотна редукція вихідного тексту була продиктована суто дидактичними потребами та міркуваннями.

Ще один варіант стислої, але вельми влучної характеристики творчості письменниці міститься в наступній історико-літературній праці проф. Лепкого – есеї *Literatura ukraińska*: „Łesia Ukrainka (Larisa Kosaczówna: 1871–1913) – autorka liryk, poematów i dramatów. Bardzo wykształcona, subtelna, obdarzona szeroką skalą uczucia, wysokim poziomem fantazji, darem psychologicznej analizy i filozoficznego myślenia, jest najpiękniejszym i najpełniejszym wyrazem ukraińskiego intelektu na przełomie XIX i XX stulecia”⁶. Ця

³ Див.: В. Лепки, *Zarys literatury ukraińskiej: Podręcznik informacyjny*, Warszawa – Kraków 1930, с. 261–262.

⁴ Ibidem, с. 162–163. В основу мікропоеми Лесі Українки *Саул (Монолог)*, що датується 18 XI 1900 р., положено старозавітні мотиви (1 Сам. 16: 14–15; 18: 6–7, 9–11).

⁵ Пор.: Леся Українка, *Саул (Монолог)*, [в:] eadem, *Твори в двох томах*, підготував тексти та склав примітки Г. Аврахов, вступне слово В. Коротич, т. 1: *Поезії*, Київ 1970, с. 188–191.

⁶ В. Лепкий, *Literatura ukraińska*, [w:] A. Brukner, *Literatura rosyjska*, J. Gołąbek, *Literatura białoruska*, В. Лепкий, *Literatura ukraińska*, Warszawa [b.r.w.], с. 532. На наступній, 533-й сторінці зазначеного видання вміщено широковідому юнацьку фотографію Лесі Українки в національному костюмі.

прониклива оцінка Лесиноного генія з перспективи ХХІ ст. сприймається як один із домінуючих концептів усієї подальшої традиції польської наукової рецепції творчості письменниці. Адже аналітичні акценти, так безпомилково розставлені Лепким, згодом звучатимуть практично в усіх лесезнавчих працях польських дослідників.

Як справедливо підкреслює Ольга Царик, „Лепкого недаремно називали «амбасадором» української культури в Польщі», оскільки саме він „був першим і довгий час єдиним автором польського нарису історії української літератури”⁷. Допіру протягом 1970–2000 рр. у Польщі з’явилися три наступні історико-літературні огляди українського красного письменства, написані іншими авторами – відповідно Ришардом Лужним (1927–1998), Мар’яном Якубцем (1910–1998) і Богуславом Мухой (1945 р.н.). У кожному з них є спеціальний фрагмент, що в інтегральний спосіб представляє найважливіші факти біографії Лесі Українки та загальну характеристику її основних поетичних і драматичних творів⁸.

Повнота і глибина наукових праць, написаних у жанрі *історії літератури* тієї або іншої нації, безпосередньо залежить від профіля, повноти й загального обсягу фундаментальних досліджень у її царині. У цьому плані визначною подією в соту річницю народин письменниці (1971 р.) стала публікація № 4 авторитетного часопису „*Slavia Orientalis*”, на сторінках якого було вміщено шereg оригінальних лесезнавчих праць відомих польських українців, – у т.ч.: *Lesia Ukrainka na tle epoki* Стефана Козака (1937 р.н.), *Lesia Ukrainka i polska literatura romantyczna* проф. Якубца, *Prometeizm Lesi Ukrainki* Фльоріана Неуважного (1929–2009), *Z obserwacji nad poetyką Lesi Ukrainki* Збігнєва Бараньського (1925–2009), *Uwagi o języku Lesi Ukrainki* Мар’яна Юрковського (1929–2005). Як інформує проф. Соболю, усі зазначені праці спочатку були виголошені у формі доповідей на

⁷ О. Царик, *Богдан Лепкий у літературно-мистецькому середовищі Кракова*, [в:] *Творчість Богдана Лепкого в контексті європейської культури ХХ століття: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження письменника*, за ред. М.П. Ткачука, Тернопіль 1998, с. 126.

⁸ Див.: R. Łużny, *Zarys dziejów literatury ukraińskiej*, „Uniwersytet Jagielloński CCXLVII – Prace Historyczne” z. 32: *Ukraina. Teraźniejszość i przeszłość*, red. M. Karaś, A. Podraza, Kraków 1970, с. 395; M. Jakóbiec, *Literatura ukraińska*, w: *Dzieje literatur europejskich* 3, cz. 1, red. Wł. Floryan, Warszawa 1989, с. 538–546 (цей фрагмент найбільший за обсягом у порівнянні з двома іншими, а також щедро оздоблений іконографічними матеріалами, – у т.ч. світлиною Лесі Українки та фотокопіями її рукописів, титульної сторінки збірки *На крилах пісень*, ілюстрацій творів письменниці); B. Mucha, *Literatura ukraińska*, [в:] idem, *Zarys literatury ukraińskiej i białoruskiej*, Piotrków Trybunalski 2000, с. 121–125.

засіданні Комітету Слов'янознавства ПАН (Польської Академії Наук), присвяченому ювілею письменниці⁹.

Подібно як решта інших, ґрунтовна розвідка проф. Козака відзначається концептуальним підходом до порушеної в ній наукової проблеми. Згодом вона увійшла до окремого книжкового видання праць цього відомого ученого¹⁰. Дане дослідження в органічний спосіб поєднує ознаки історико-літературного огляду певної епохи й літературного портрету. Вчений передусім характеризує найважливіші риси тієї яскравої, але й складної та суперечливої доби порубіжжя XIX–XX ст., що нероздільно пов'язана з життям і творчістю Лесі Українки: „w tysiącletnim łańcuchu piśmiennictwa ukraińskiego ten okres był ogniwem najważniejszym, najbardziej intelektualnie ważkim i twórczo prężnym, zdecydowanie nowatorskim i śmiało nawiązującym do nowych europejskich tradycji literackich i filozoficznych”¹¹.

Літературно-художнє багатство епохи, а водночас і породжені нею протиріччя великою мірою зумовлювалися рядом принципових світоглядно-мистецьких відмінностей у поглядах старшого й молодшого покоління. Передусім у розглядуваний період продовжують творити такі майстри, як Пантелеймон Куліш, Панас Мирний, Іван Нечуй-Левицький, Франко та ін., котрі генерально стверджували традиційні народницькі цінності. Паралельно на літературну арену разом з Лесею Українкою виходить плеяда молодих письменників – у т.ч. Василь Стефаник, Агатангел Кримський, Микола Вороний, Василь Щурат, Лесь Мартович (символічно, що всі шестеро – 1871 р.н.), а також Микола Коцюбинський, Ольга Кобилянська, поети „Молодої Музи” та ін., чия творча діяльність пов'язувалася з широко потрактованими модерністичними напрямками мистецтва – від символізму та неоромантизму до декадансу.

Розглядаючи творчість письменниці у феноменологічному контексті художніх явищ порубіжжя XIX–XX ст., проф. Козак розвиває ідеї свого безпосереднього попередника проф. Лужного. Останній, зокрема, слушно наголошував, що в цю добу „ренесансу поезії”, котра розвивалась тоді „під гаслами модерністичного бунту [...], творчої свободи та експериментаторства”, найістотнішу роль відіграла саме літературна спадщина Лесі

⁹ Див.: W. Sobol, op. cit., c. 81.

¹⁰ Див.: S. Kozak, *Lesia Ukrainka na tle epoki*, [в:] idem, *Z dziejów Ukrainy. Religia. Kultura. Myśl społeczna: Studia i szkice*, Warszawa 2006, c. 243–267. Далі розвідка цитується за цим виданням.

¹¹ Ibidem, c. 246.

Українки, „завдяки якій українська поезія вийшла поза вузькі національні рамки й досягнула загальноєвропейський вимір”¹².

У свою чергу проф. Козак підкреслює, що Леся Українка на тлі сучасної їй епохи вималовується як постать справді інтегральна, котра в ідеальних естетико-філософських пропорціях зрівноважує все те найцінніше, що вирізняло творчість як письменників старшого покоління, так і її ровесників. При цьому, класифікуючи приналежність поетки до одного з найцікавіших літературно-художніх напрямів доби, вчений адекватно окреслює його як *новоромантичний*, послуговуючись тим містким поняттям, що свого часу вона сама й запропонувала¹³. Адже як авторка винятково культурна та ерудована (відгомін характеристики проф. Лепкого), про літературу висловлювалась глибоко й суголосно з духом своєї сучасності: будучи противницею „постави естетичного герметизму”, усвідомлювала „високу роль і відповідальність красного письменства щодо суспільства та історії”. А разом з тим не мала сумнівів, що в актуальній культурно-політичній ситуації перманентно й без почуття міри „нав’язувана українською традицією модель мученицького патріотизму виродилась у зручне виправдання нікчемної інтелектуальної бездіяльності”¹⁴.

У ході огляду найважливіших проблем творчості Лесі Українки дослідник наголошує на потребі її різноаспектного комплексного вивчення – як феномену свого часу, детермінованого суспільно-історичними чинниками, а також як вершинного прояву неповторної індивідуальності та особистої долі майстрині художнього слова, „для якої поезія стала формою існування – того глибшого, духовного”. Однак в особливий спосіб він обстоює потребу врахування екзистенційного чинника в контексті внутрішньої драми митця поневоленого народу: „tylko wtedy można w pełni zrozumieć twórczość Łesi Ukrainki, kiedy zrozumie się jej dramat egzystencjalny, dramat artysty zmagającego się z samym sobą – z jednej strony, z drugiej zaś – dramat zaangażowanego twórcy, dźwigającego na swych barkach wielowiekowe brzemie niewoli oraz szukającego dróg – i to jest bardzo znamienne – psychicznej i politycznej rekonstrukcji narodu z jego urazów i z determinant dziejowych”¹⁵.

¹² Див.: R. Łużny, *Zarys dziejów literatury ukraińskiej...*, с. 395. Тут і далі переклад і переказ з польської мій – І. Б.

¹³ Згодом деякі модерністичні аспекти творчості Лесі Українки наголосила Агнешка Корнієнко при okazji обговорення ширшого кола спеціальних історико-літературних проблем, – див.: A. Kornijenko, *Ukraiński modernizm. Próba periodyzacji procesu historycznoliterackiego*, Kraków 1998, с. 43, 44, 46, 70, 71, 103, 104.

¹⁴ Див.: S. Kozak, *Łesia Ukrainka na tle epoki...*, с. 251, 256.

¹⁵ Ibidem, с. 254–255.

Автор розвідки велику увагу приділяє проблемі типології „модерністського міфологізму” як одній із ключових у контексті „новочасної та сучасної” творчості Лесі Українки, орієнтованої на ідеали середземноморської гармонії та класичної краси, котра – з огляду на високу насиченість біблійно-християнськими й антично-старожитніми сюжетами і мотивами – репрезентує в цьому плані надзвичайно вдячний художній матеріал (напр., знаменитий *прометеїзм* і багато ін.). Свій аналіз він базує на актуальних у 70-ті рр. XX ст. у польській гуманістиці теоретичних дослідженнях у царині співвідношення міфу і художньої літератури, зокрема, в контексті польського модернізму (праці Юліана Кржижановського, Самуеля Сандлера, Анджея Маковецького, Зигмунта Лемпійського, Марії Подрази-Квятковської, Казімержа Вики та ін.). Розвиває також одну із засадничих тез акад. Олександра Білецького щодо особливого стосунку Лесі Українки до міфу, зацікавлення яким у неї не обмежувалося суто мистецькою сферою, але у відповідний спосіб відбивало неповторність її власного духовного досвіду.

На думку проф. Козака, специфіку творчої уяви письменниці в ряді аспектів детермінують релікти магічного (міфологічного) мислення, що уможлиблює їй взаємне пов’язування віддалених у часі й просторі та розрізнених фактів і явищ на засаді метонімічної подібності. Саме це у свою чергу зумовлює феноменологію мистецького віддзеркалення й подальшого історіософського узагальнення минулих і сучасних подій українського національного буття за посередництва авторитетних культурно-міфологічних парадигм, піднесення їх локального значення до загальносвітового масштабу тощо.

З бігом часу лесезнавча розвідка проф. Козака, багата за змістом і переконлива щодо наукової аргументації, не втратила своєї аналітично-пізнавальної вартості. І навіть більше – будучи контекстуалізована як XIV глава книги *Z dziejów Ukrainy. Religia. Kultura. Myśl społeczna: Studia i szkice* (Варшава 2006), котра являє собою розбудовану аналітичну працю з пограниччя історії літератури як такої й широко потрактованої культури, що охоплює шерег промовистих вибраних фактів від часів Київської Русі до початку XXI ст., вона, безперечно, істотно увиразнила свої проблемно-змістові параметри.

Аналогічно склалася також науково-видавнича доля лесезнавчого реферату проф. Неуважного, який з часом, у формі окремого ґрунтовного розділу, увійшов до відомого монографічного дослідження літературо-

знавця *O poezji ukraińskiej. Od Iwana Kotlarewskiego do Liny Kostenko* (Бялисток 1993). Подібно як у книзі Козака, розділ, присвячений більш детальному вивченню ряду вельми істотних аспектів творчості Лесі Українки, тут теж становить невід'ємну інтегральну частину значного за обсягом цілісного наукового тексту, котрий у даному разі репрезентує історико-літературне дослідження національної поезії на протязі майже двох століть її поступового розвитку. Загалом видання такого типу, як книги Козака й Неуважного, з огляду на свій аналітично-пошуковий характер, в органічний спосіб доповнюють, конкретизують та збагачують ті усталені загальновідомі факти й точки зору, що, як правило, визначають жанровий зміст т.зв. портретних нарисів, які традиційно містяться на сторінках історій літератури.

Наукова концепція розглядуваного розділу книги проф. Неуважного задекларована в самому його титулі, належною мірою уточненому у порівнянні з версією реферату: *Od rodzimych źródeł ku europejskim. Prometeizm Łesi Ukrainki*¹⁶. Цей титульний *прометеїзм*, наряду з первними героїзму й трагізму, у принципі окреслює один із найбільш розпізнавальних концептів творчості письменниці¹⁷. Відтак початково може скластися абсолютно помилкове враження, що рефлексії польського дослідника буде витримано в річищі офіційної соцреалістичної ідеології пізньюрадянської доби, згідно якій Лесю Українку було канонізовано власне як дочку *Прометея*, а також *співачку досвітніх вогнів* тощо, – письменницю-революціонерку, що на *Олімпі* української літературної класики займає почесне третє місце одразу після Шевченка і Франка.

Тим часом вірогідне методологічне підґрунття дослідження проф. Неуважного становить теза Томаса Крайлайла щодо сакральньо-міфологічного сприйняття поета як пророка свого народу. На справедливу думку вченого, саме ця теза надзвичайно співзвучна поглядам Лесі Українки, тоді як художньо-світоглядні витоки її *прометеїзму* він шукає в типологічно, тематично та проблемно споріднених творах Есхіла (трагедія *Прометей закутий*, 444–443 рр. до Р.Х.), Джона Мільтона (епічна поема у білих віршах *Втрачений рай*, 1667, в якій на письменницю великий вплив справила типологічно подібна до Прометея постать Сатани), Джорджа Гордона Байрона (вірш *Прометей*, 1816), Персі Біші Шеллі (лірична драма

¹⁶ F. Nieuważny, *Od rodzimych źródeł ku europejskim. Prometeizm Łesi Ukrainki*, [в:] idem, *O poezji ukraińskiej. Od Iwana Kotlarewskiego do Liny Kostenko*, Białystok 1993, с. 48–63.

¹⁷ На це, серед ін., вказує Владзімерж Вільчиньскі, – див.: W. Wilczyński, *Ukrainka Łesia*, [в:] idem, *Leksykon kultury ukraińskiej*, Kraków 2004, с. 238.

Прометей звільнений, 1820), а також у поемі Шевченка *Кавказ* (1845) й оповіданні Михайла Драгоманова *Про заздрісних богів* (1894)¹⁸.

На підставі аналізу поетичних і драматичних творів української письменниці польський літературознавець визначає специфіку її *прометеїзму*, який має справді парадоксальний характер. Адже незважаючи на те, що символічно багатоплановому образу грецького титана вона безпосередньо не присвятила жодного більшого твору, його бунтівничими рисами й тираноборчим духом наділено багато яскравих Лесиних героїв і героїнь – отих справжніх „нащадків Прометея”. Дослідник підсумовує: „Bohaterowie Łesi Ukrainki są jakby sumą postaw postaci antycznych, których prototypem jest Prometeusz Ajschylosa, romantycznego rozumienia bohaterstwa łączącego *vates* [поета пророка – І. Б.] Carlyle’a z lucyferyzmem Milтона i Byrona oraz rewolucyjnej interpretacji postawy bojowników o prawa ludu [...] W tych ludziach tlił się, przysypany popiołem niewoli narodowej i społecznej, ogień Prometeusza. W imię tych ludzi Łesa Ukrainka [...] obalała jedno po drugim stare bożyszcza i apelowała, «by budować nową świątynię». Poświęcając swoje życie i twórczość walce z «chaosem» ograniczoności, codzienności, konformizmu życiowego, lęklivosti swoich rodaków, Łesa Ukrainka ani na chwilę nie traciła wiary w «piękno zmagania, chociaż bez nadziei», wiary w swoje prometejskie posłannictwo i w drzemiącą moc swojego narodu»¹⁹.

Дальшого оригінального розвитку лесезнавчі розважання проф. Неуважного знайшли в статті „*Contra spem spero*”. *Liryka intymna Łesi Ukrainki* авторства відомої ольштинської дослідниці східнослов’янської поезії Еви Нікадем-Маліновської (1956–2012). Обраний ученою підхід, скерований на аналіз міфо-психологічних подробиць, дозволив їй, м.ін., зауважити нові аспекти *прометеїзму* письменниці, що саме у психобіографічному контексті уявляють його феноменологію в плані нерозривного органічного зв’язку суспільного та індивідуально-особистісного чинників: „Łesa Ukrainka – Prometeusz ukraińskiego narodu – powtarza jakby jego los, ale jest w swej walce i cierpieniu samotna. Miłość do narodu, z którego się wywodziła połączyła się w jej utworach z bardzo osobistym stosunkiem do niego, a ból wywołany jego niewolą zrównał się i połączył z bólem autorki, jaki sprawił jej los, odbierając zdrowie i normalne życie. To prawdopodobnie zaważyło na ostatecznym kształcie mitu w jej interpretacji. Prometeusz Łesi Ukrainki

¹⁸ Див.: F. Nieuważny, *Od rodzimych źródeł ku europejskim...*, с. 48, 55–56.

¹⁹ Ibidem, с. 63.

nie jest Tytanem, tylko człowiekiem, a jego ludzka słabość przeradza się w siłę, jak cierpienie w nadzieję”²⁰.

Той небанальний аналіз психо-символічного підґрунтя Лесиного *прометеїзму*, що його dokonує дослідниця, у свою чергу, стає підставою ряду узагальнень світоглядно-філософського характеру. Відтак „prometeizm, będący zarówno przejawem buntu przeciw wyższym potęgom i normom kępującym wolność, jak i poświęcenia się dla idei, jest u Łesi Ukrainki w równej mierze filozofią nadziei. Jest to niewątpliwie jej własne, podyktowane przez własny los spojrzenie na to stanowisko etyczne. Mamy tu do czynienia nie tyle z interpretacją mitu, co z jego wzbogaceniem o żywe ludzkie uczucia, gdyż Prometeusz Łesi Ukrainki ma nie tylko krwawiącą wątrobę, ale i serce”²¹.

Об’єктом спеціальної уваги у розвідці проф. Нікадем-Маліновської, як впливає з її титулу, є інтимна лірика поетки. Дослідниця передусім зауважує її художню еволюцію, що пролягла від дещо „абстрактних” віршів раннього періоду – до вершинних, справді оригінальних ліричних поезій часів творчої зрілості. Наступним вельми істотним дослідницьким мотивом стала вдала спроба окреслення спільного типологічного простору інтимної лірики Лесі Українки, за промовисті „координати” якого в контексті європейської традиції авторка статті обрала дві інші *життєтворчості* – виразно віддаленої в історичному часі напівлегендарної Сафо (рубіж VII–VI ст. до Р.Х.), а також молодшої Лесиної сучасниці, видатної польської поетки Марії Павліковської-Ясножевської (1891–1945).

Концептуальна візія проф. Нікадем-Маліновської ґрунтується на психодіалектиці „надії-в-безнадії”, що виступає своєрідним спільним знаменником символіко-екзистенційного кредо трьох несамопитих жінок-митців: „Pegaz w sposób przedziwny połączył losy tych trzech kobiet, chociaż każda z nich w inny sposób upijała się wodą z Hippokrene. W życiu każdej z nich los niedopełniony i przedwczesna śmierć łączą się w motyw «nadziei i rozpaczy». W poezji każdej z nich czystość uczuć, szczerłość wypowiedzi i bezpretensjonalność stylu niezależnie od wybranej tematyki (Safo – miłość, Łesia Ukrainka – polityka i miłość, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – miłość i polityka), dają w efekcie nie zwykłe utwory poetyckie, lecz okruchy dusz poetek, przedstawicielki trzech różnych światów”²².

²⁰ E. Nikadem-Malinowska, „*Contra spem spero*”. *Liryka intymna Łesi Ukrainki*, [В:] *W kręgu kultury ukraińskiej*, red. W. Piłat, Olsztyn 1995, с. 92.

²¹ Ibidem.

²² Ibidem, с. 93–94.

Вельми цінним надбанням польського лесезнавства стала на початку 90-х рр. минулого століття стаття проф. Лужного *Świat sacrum chrześcijańskiego na drodze twórczej Łesi Ukrainki*²³. Її було написано в загальному проблемно-методологічному річищі гуманітарних досліджень Католицького університету в Любліні, які інтенсивно провадились там з кінця 70-х рр. до кінця XX ст., охоплюючи вивчення різноманітних проявів сакрально-релігійної феноменології спочатку на польському, а згодом також і східнослов'янському літературно-художньому ґрунті.

Своє дослідження проф. Лужни будує на науково вірогідній тезі, що хоча Лесю Українку й „не можна назвати релігійною письменницею в повному і дослівному значенні цього поняття”, однак „сфера християнського *sacrum*” у її творчості „займає важливе місце, іноді особливо істотне, а навіть домінуюче”²⁴. З цих позицій учений розглядає практично цілий корпус Лесиних творів сакрально-християнської та біблійної тематики, у т.ч.: два ранніх оповідання, написаних з позицій критичного реалізму (*Святий вечір*, *Момент*); ліричні й ліро-епічні поезії та драматичні поеми, в яких осмислюються відповідно старо- й новозавітні сюжети і мотиви (*Єврейські мелодії*, *Саул (Монолог)*, *Дочка Ієфая*, *Вавилонський полон*, *На руїнах*, *Жертва*, *Завжди терновий вінець...*, *Одержима*, *На полі крові*, *Йоганна жінка Хусова* та ін.); нарешті, драматичні твори, що апелюють до історичної доби раннього християнства (*В катакомбах*, *Руфін і Прісцилла*, *Адвокат Мартіан*).

Подібна проблемно-тематична класифікація видається надзвичайно продуманою та аргументованою. При okazji дослідник також пунктирно окреслює польський типологічний контекст драматичних творів Лесі Українки на євангельські й ранньохристиянські мотиви, до якого залучає драму Кароля Губерта Ростворовського *Judas z Kariothu* та історичний роман Генрика Сенкевича *Quo vadis?*

У висновках проф. Лужни підкреслює, що зацікавлення письменниці біблійно-релігійною проблематикою та символікою ніяк не обмежується суто конспіраційними, чи то пак політичними потребами сягання по засоби *езопівської мови*, але передбачає глибоке художнє осмислення різноманітної світоглядної тематики. Інтелектуально, творчо та емоційно Леся Українка була відкрита практично на весь часо-просторовий обшар світової культури (стародавній Єгипет і Близький Схід, античні Греція і Рим,

²³ Див.: R. Łużny, *Świat sacrum chrześcijańskiego na drodze twórczej Łesi Ukrainki*, „Zeszyty Naukowe KUL”, R. 34, Lublin 1991 (1994), № 1–2, с. 89–106.

²⁴ Ibidem, с. 92.

європейська історія нових і новітніх часів тощо). Але „najczęściej i w sposób najbardziej dla własnego warsztatu poetycko-dramatopisarskiego korzystny, artystycznie płodny [...] interesowała się «historią świętą» ludzkości, utrwaloną na kartach «księgi ksiąg», w jej obu częściach, staro- i nowotestamentowej, a także w jej swoistym przedłużeniu pisanym przez pierwsze wieki ery chrześcijańskiej; [...] biblijne *sacrum* oraz religijny chrześcijański *ethos* miały w niej swoją wierną, wnikliwą, a przy tym równocześnie dociekliwą i krytyczną wielce czytelnicką-komentatorkę. [...] była to – podobnie jak dwaj inni wielcy z największych ukraińscy pisarze, Szewczenko i Franko – poetka w sprawę wiary, religii, chrześcijańskiej kultury szczególnie zaangażowana”²⁵.

Протягом кількох останніх років (2006–2011) польське лесезнавство збагатилося, серед ін., циклом статей д-р Єулялії Паплі, присвячених вивченню проблематики, поезики і ритмомелодики ряду вибраних творів письменниці²⁶, а також роботами молодих дослідниць д-р Марти Реди²⁷ й мгр. Агати Корицької²⁸ (Рошкевіч). Нарешті, з’явилося солідне монографічне дослідження д-р Сильвії Вуйтовіч *Dramatopisarstwo Łesi Ukrainki. Horyzont aksjologiczny refleksji kulturowych* (Вроцлав 2008), в основу якого лягла докторська дисертація цієї авторки²⁹. На підставі ретельного аналізу справді невичерпного буттєвого змісту і досконалої поетичної форми Лесиних драматичних творів дослідниця переконливо доводить, що естетико-філософськими домінантами художнього світосприйняття письменниці виступають такі неминущі вартості європейської гуманісти-

²⁵ Ibidem, c. 104, 105.

²⁶ Див.: E. Papla, *Samotność indywidualistki. Łesi Ukrainki dramat pasyjny „Opetana”*, „Musica Antiqua Europae Orientalis XIV, vol. 2: Acta Slavica”, Bydgoszcz 2006, c. 209–218; eadem, *Poetka i pieśń. Muzyka w życiu i twórczości Łesi Ukrainki*, [w:] eadem, *Poeci wobec muzyki. Fiodor Tiutczew – Łesia Ukrainka – Anna Achmatowa – Marina Cwietajewa – Bohdan Ihor Antonycz*, Kraków 2014, c. 65–96 (див. також першу публікацію цього дослідження в: *Światło w dolinie. Prace ofiarowane prof. Halinie Krukowskiej*, red. K. Korotkich, J. Ławski, D. Zawadzka, Białystok 2007, c. 407–418); eadem, „Antybizantynizm” poezji Łesi Ukrainki, [â:] *Atheny. Rzym. Bizancjum. Mity Śródziemnomorza w kulturze XIX i XX w.*, red. J. Ławski i K. Korotkich, Białystok 2008, c. 585–599; eadem, *Z obserwacji nad „muzycznością” liryki Łesi Ukrainki*, [w:] *Dialog sztuk w kulturze Słowian Wschodnich*, t. 2, red. J. Kapuścik, Kraków 2008, c. 240–245.

²⁷ Див.: M. Reda, „Kamienny gospodarz” Łesi Ukrainki w kontekście donżuanerii europejskiej, [w:] *Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich* 7, cz. 2, red. M. Bukwałt, T. Klimowicz, M. Maciołek, A. Matusiak, S. Wójtowicz, Wrocław 2007, c. 267–274.

²⁸ Див.: A. Korycka, *Fakty i mity w życiu i twórczości dramatopisarki doby modernizmu Łesi Ukrainki*, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 21”: *Kobiety w literaturze Słowian Wschodnich*, red. H. Mazurek i B. Pawletko, Katowice 2011, c. 45–52.

²⁹ Див.: S. Wójtowicz, *Dramatopisarstwo Łesi Ukrainki. Horyzont aksjologiczny refleksji kulturowych*, Wrocław 2008, ss. 208. Високу оцінку даній монографії, серед ін., дає проф. Соболев, наголошуючи, що це „niezwykle wartościowa praca, poświęcona jednemu z najtrudniejszych aspektów twórczości Łesi Ukrainki, czyli jej dramaturgii”, – див.: W. Sobol, op. cit., c. 91.

чної культури, як добро, правда і краса, кожній з яких присвячено особний розбудований розділ монографії. Усі згадані праці демонструють ґрунтовну обізнаність авторок у матеріалі та об'єктивність їх наукової методології, але в даному разі нема, на жаль, можливості належного повномасштабного розгляду цих найактуальніших лесеознавчих досліджень.

З перспективи другого десятиліття ХХІ ст. цілком очевидним видається те, що епістемологічні закономірності дослідження польськими українцями творчості Лесі Українки як одної з чоловічих постатей національної літератури і культури зумовлені рядом об'єктивних факторів: позитивними аспектами добросусідських взаємин двох слов'янських народів, певною подібністю їх історії, менталітету, мови та культури. Виявляється, що лірична і драматична поезія письменниці, глибока за змістом і вишукана за формою, принципово орієнтована на загальнолюдські цінності, не просто служить багатим і вдячним матеріалом для наукових пошуків, аналітичних рефлексій чи синтезуючих узагальнень тощо. На підставі розглянутих літературознавчих праць можна без перебільшення ствердити, що для польської гуманітарної еліти наших часів Леся Українка є воістину *своєю* авторкою – емоційно інспіруючою, інтелектуально інтригуючою, творчо провокуючою до відкриття несамоовитих таємниць художнього слова. Відтак високо одуховлена особистість цієї єдиної у своєму роді української письменниці, а передусім її глибоко сугестивна мистецька творчість, що розкриває справді невичерпні можливості наукових інтерпретацій, іще не раз стане предметом спеціальних лесеознавчих досліджень – і в Польщі, й у себе на батьківщині, але також і на цілому світі.

Streszczenie

*Badania nad twórczością Łesi Ukrainki w Polsce: wybrane zagadnienia
(W 100. rocznicę śmierci pisarki)*

1 sierpnia 2013 r. mija setna rocznica śmierci Łesi Ukrainki (1871–1913), wybitnej ukraińskiej poetki i dramatopisarki, której twórczość od ponad 120 lat jest wnikliwie badana w Polsce. Fragmenty przedstawiające sylwetkę pisarki w sposób integralny znajdują się we wszystkich polskojęzycznych *Historiach literatury ukraińskiej*, które powstały w okresie od lat 30. XX i do początku XXI wieku (np. autorstwa Bohdana Łepkiego, Ryszarda Łuźnego, Mariana Jakóbca, Bogusława Muchy). W drugiej połowie XX i na początku XXI wieku analizy poszczególnych aspektów spuścizny literackiej Łesi Ukrainki dokonali Florian Nieuważny, Stefan Kozak, Ewa Nikadem-Malinowska, Eulalia Papła, Sylwia Wójtowicz, Marta Reda, Agata Korycka i in.

Summary

Researches of Lesia Ukrainka's literary works in Polish: chosen problems (In 100-th anniversary of writer's death)

100-th anniversary of Lesia Ukrainka's death (1871–1913), which is the great Ukrainian poet, writer and author of poetical drams, was celebrated on 1 August 2013. Her literary works are the objects of research in Polish during more than 120 years. Lesia Ukrainka is represented in polish histories of Ukrainian literature, which were written by Bohdan Łepki, Ryszard Łużny, Marian Jakóbiec, Bogusław Mucha, from 1930 to 2000. Florian Nieuważny, Stefan Kozak, Ewa Nikadem-Malinowska, Eulalia Papla, Sylwia Wójtowicz, Marta Reda, Agata Korycka and other had analyzed the chosen aspects of Lesia Ukrainka's literary works on the second half of XX and on the beginning of XXI century.

Key words: anniversary of Lesia Ukrainka's death, research of Lesia Ukrainka's literary works in Polish.

Jolanta Brzykcy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

„Królewska дума z wielkiej niepomyślności”¹. Doświadczenie emigracji w poetyckiej perspektywie Lwa Gomolickiego

Rosyjskojęzyczna twórczość poetycka Lwa Gomolickiego (1903–1988) zamyka się w latach 1918–1938. Złożyło się na nią przede wszystkim dziewięć niewielkich pod względem objętości tomików, „parę cykli i kilkanaście refleksyjnych poemacików”, jak nazbyt chyba samokrytycznie pisał po latach sam poeta². Dorobek ten nie cieszy się większym zainteresowaniem polskich i rosyjskich badaczy, zwłaszcza jeśli porównać kilka zaledwie artykułów³ na ten temat ze znacznie dłuższą listą opracowań krytycznych oraz naukowych dotyczących jego powojennej i pisanej w języku polskim prozy⁴. Abstrahując od przyczyn tej

¹ Л. Гомолицкий, *Эмигрантская поэма*, [online] <www.mochola.org/rossica/gomolicki/emigrant.html> (dostęp: 22.01.2013), tłum. cytatu – J.B.

² L. Gomolicki, *Horoskop*, PIW Warszawa 1981, s. 77. Cytaty z tego wydania oznaczam w tekście literą H i numerem odpowiedniej strony.

³ O poezji Gomolickiego w Polsce pisał przede wszystkim Wiktor Skrunda: *Rosyjski uchodźca na polskim bruku. O poemacie Lwa Gomolickiego „Warszawa” (1934)*, „Studia Rossica X”, Warszawa 2000, s. 89–125; idem, *Echa „gniewnych jambów” w poemacie Lwa Gomolickiego „Warszawa” (1934)*, „Studia Rossica XI”, Warszawa 2000, s. 187–197; idem, *Zamysł poematu Lwa Gomolickiego „Warszawa” w świetle inwektiw Karola Radka i nauk mnicha Ewagriusza*, „Studia Rossica XII”, Warszawa 2001, s. 215–228. Zob. także bardziej ogólny artykuł Janiny Kulczyckiej-Saloni, *Przedwojenne i powojenne pisarstwo Leona Gomolickiego*, „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 4, s. 47–57. W ostatnim czasie ukazały się także artykuły: J. Brzykcy, *Lew Gomolicki: twórca pogranicza*, „Slavia Orientalis” 2014, nr 3, s. 367–379; eadem, *„Bóg był moją pierwszą miłością...”*. *Sacrum w poezji Lwa Gomolickiego (tom „Oddech”, 1932)*, „Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica XVII: Sacrum świata wschodniego i zachodniego w kulturze Słowiańszczyzny”, pod red. C. Nelkowskiego, Bydgoszcz 2014, s. 413–430. W Rosji o Gomolickim pisały: T. П. Агапкина, О. В. Цыбенко, *Материалы к биографии Леона (Льва) Гомолицкого*, [w:] *Studia Polonorossica: K 80-летию Елены Захаровны Цыбенко. Сборник статей*, отв. ред. В. А. Хорев, Изд-во МГУ Москва 2003, s. 468–479.

⁴ Zob. bibliografię podmiotowo-przedmiotową poświęconą Gomolickiemu w: J. Rzymowski, *Erynie historii i człowieka. O pisarstwie Leona Gomolickiego*, Wyd. Łódzkie, Łódź 1973, s. 242–252. Nie objęła ona piętnastu ostatnich lat twórczości pisarza. Zob. także: *Leon Gomolicki (1903–1988). Zestaw bibliograficzny*, oprac. B. Krakowiak, Pracownia Reprograficzna WiMBP im. J. Piłsudskiego, Łódź 1993; *Słownik współczesnych pisarzy polskich*, t. I: A–I, PWN, Warszawa 1963, s. 576–578. Por.: J. Rzymowski, *Leon Gomolicki – sylwetka prozaika*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1972, z. 90.

dysproporcji, warto podkreślić, że poezja Gomolickiego, usunięta w cień przez późniejsze powieści pisarza⁵ i dziś w Polsce nieco zapomniana, zaś w Rosji do niedawna prawie w ogóle nieznana⁶, zasługuje na wnikliwą i rzetelną analizę. Powodów jest kilka: z perspektywy rosyjskiej jest to bezsprzeczna wartość wierszy Gomolickiego dla wciąż jeszcze odkrywanej literatury emigracyjnej⁷, z perspektywy polskiej zaś jest to ich znaczenie dla jego prozy. To właśnie „w poetyckich strofach z lat trzydziestych znajduje się źródło wizji, które patronują jego niespokojnym, powieściowym światom, powołanym do życia po doświadczeniach wojny”⁸. Sam poeta we własnej twórczości poetyckiej widział – znów nazbyt surowo ją oceniając – „zapowiedź [...] powołania życiowego, [...] szkic tego, czym wreszcie mogłem przemówić do ludzi” (H 70).

Jednym z ważniejszych tematów, jakie Gomolicki podejmował w swoich wierszach, była emigracja i determinowane przez nią postawy życiowe. Temat ten wyrastał, jak wiadomo, z osobistych doświadczeń poety, który – jak miliony jego rodaków – po przewrocie bolszewickim w 1920 r. znalazł się poza granicami Rosji, na początku lat trzydziestych minionego stulecia przeniósł się do Warszawy i w szybkim czasie został, za sprawą kolejnych zbiorów poezji i działalności krytycznoliterackiej, uznany za jednego z głównych przedstawicieli rosyjskiej diaspory w Polsce⁹.

⁵ Jeszcze na początku lat sześćdziesiątych XX wieku R. Matuszewski pisał: „poetyckie próby [...] Leona Gomolickiego pozostaną z pewnością intymnym marginesem działalności znanego rusycysty” („Rocznik Literacki 1957”, Warszawa 1962, s. 48, cyt. za: J. Rzymowski, *Erynie historii*, s. 161).

⁶ W 2011 roku wydano w Rosji trzynomową edycję obejmującą rosyjski okres twórczości Gomolickiego i uzupełnioną o obszerną monografię: Л. Белошевская, П. Мицнер, Л. Флейшман, *Лев Гомолицкий и русская литературная жизнь в межвоенной Польше (Lew Gomolicki i rosyjskie życie literackie w międzywojennej Polsce)*. Zob.: Л. Н. Гомолицкий, *Сочинения русского периода*, t. I–III, „Водолей” Москва 2011. Zob. polską wersję tejże monografii: P. Mitzner, L. Fleishman, *Metamorfozy Lwa (Leona) Gomolickiego*, tłum. R. Szczęsny, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015.

⁷ W 1964 roku badacz rosyjski konstatował: „Jego wiersze i poematy zajmują widoczne miejsce w rosyjskiej poezji lat dwudziestych-trzydziestych naszego stulecia” (В. Эпштейн, *Проза Леона Гомолицкого*, „Русский голос” 1964, nr 5–6, s. 5, cyt. za: J. Rzymowski, *Erynie historii*, s. 47).

⁸ J. Rzymowski, *Erynie historii*, s. 47–48. Por.: „Основные мотивы польского романного творчества Гомолицкого – мотивы бегства, потопа, катастрофизма, вины за то, что выжил, когда миллионы погибли, призывы к примирению, к сохранению тонкого слоя культуры, который так легко разрушить, утверждение неповторимости человеческой личности, – все эти мотивы имеют своим истоком русское поэтическое творчество Льва Николаевича Гомолицкого” (Т. П. Агапкина, О. В. Цыбенко, *Материалы к биографии...*, s. 472–473).

⁹ Według Sergiusza Kułakowskiego, autora przedwojennej monografii poświęconej literaturze rosyjskiej lat 1884–1934, Gomolicki zajmował „wybitne miejsce w skromnym ruchu literackim wśród emigracji rosyjskiej w Polsce” (S. Kułakowski, *Pięćdziesiąt lat literatury rosyjskiej. 1884–1934*, Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa 1939, s. 360). Józef Czechowicz zaliczał poetę do grona „gwiazd pierwszej wielkości”, obok Dowida Knuta i Władimira Lawińskiego (J. Czechowicz, *Muza wygnańców*, „Pion” 1939, nr 3).

Losy Gomolickiego po 1920 r. odbiegają jednak od typowej wygnańczej biografii, z takimi jej niejako obowiązkowymi elementami, jak ucieczka czy wygnanie z ojczyzny, obcość językowa i kulturowa, izolacja od rodzimego środowiska. Już okoliczności, w jakich poeta znalazł się na obczyźnie oraz niewielki wpływ tego faktu na jego codzienne życie, nie przystają do rozpowszechnionego pojmowania emigracji jako katastrofy, która wywołuje wstrząs w układzie ról życiowych. Gomolicki, mieszkający wówczas na Wołyniu, został emigrantem w wyniku wytyczenia granicy państwowej między Rosją i Polską, przy czym wydarzenie to nie naruszyło dotychczasowego trybu jego życia, nie zmusiło do przerywania nauki w gimnazjum w Ostrogu czy do przeprowadzki. Znacznie większą rangę miał wyjazd do Warszawy w 1931 r., aczkolwiek on również nie był spowodowany względami politycznymi, lecz ekonomicznymi (poszukiwaniem pracy), po części wynikał także z aspiracji kulturalnych początkującego poety, potrzeby wyrwania się z dalekiej prowincji, która nie sprzyjała rozwojowi twórczemu.

W Warszawie Gomolicki borykał się, co prawda, z takimi trudnościami, jak brak pieniędzy i stałego miejsca zamieszkania, konieczność łączenia pasji literackich i graficznych z zarabianiem na utrzymanie, rozłąka z rodzicami, nie będzie jednak przesadą stwierdzenie, że jego pobyt w stolicy Polski przebiegał daleko mniej dramatycznie, niż to miało miejsce w przypadku wielu innych przedstawicieli „pierwszej fali” rosyjskiej emigracji. Trudy wygnania łagodziła wyniesiona z domu oraz z gimnazjum znajomość języka i kultury polskiej. Stosunkowo łagodną formę przybierała także związana z emigracją eksterytorialność, rozumiana jako pozostawanie poza rodzimą sferą i kulturą¹⁰. W przypadku Gomolickiego miała ona charakter względny, ponieważ polska kultura była przez poetę odbierana jako inna, ale nie obca. Gomolicki uniknął zaświadczonego przez wielu innych rosyjskich emigrantów „pierwszej fali” syndromu „szklanej szyby”¹¹, niewidzialnej, ale szczelnej granicy oddzielającej uchodźców od

¹⁰ I. A. Ndiaye, *Hipertrofia tęsknoty za utraconym domem w poezji emigrantów rosyjskich „pierwszej fali”*, Wyd. UWM, Olsztyn 2008, s. 113–118.

¹¹ Por.: „Oglądając się na tamte lata swobodnego życia za granicą, widzę siebie i tysiące innych Rosjan prowadzących trochę dziwne, ale i nie pozbawione uroków życie w materialnej nędzy i psychicznym błogostanie pośród pozbawionych wszelkiego znaczenia, zaledwie zwidujących się nam, wygnańcom, obcokrajowców, w których miastach egzystowaliśmy fizycznie. Tubyłcy owi byli niczym przejrzyste, płaskie postaci z celofanu i choć korzystaliśmy z ich budynków, wynalazków, ogrodów, winnic i rozrywek itd., między nimi a nami nie istniał nawet ślad owych ludzkich stosunków, jakie łączyły ze sobą większość emigrantów. Niestety jednak fantomy narodów, wśród których my i rosyjskie muzy prześlizgiwaliśmy się beztrąsko, zaczynały nagle ohydnie otrząsać się i twardnieć; galareta przeistaczała się w beton i wyraźnie wskazywała nam, kto tu właściwie jest jeńcem, a kto tłustym chamem” (V. Nabokov, *Tamte brzegi*, tłum. E. Siemaszkiewicz,

rodzimych mieszkańców europejskich miast, w których znaleźli schronienie. Przeciwnie – poeta był traktowany jako pełnoprawny członek warszawskiego środowiska literackiego. Tłumaczono jego wiersze na język polski, publikowano w polskiej prasie jego artykuły, czynnie uczestniczył w życiu artystycznym przedwojennej stolicy Polski, łączyła go przyjaźń między innymi z Józefem Czechowiczem.

Aklimatyzację w Warszawie niewątpliwie ułatwiło Gomolickiemu pochodzenie, przede wszystkim zaś dorastanie na Wołyniu, gdzie przenikały się rozmaite konteksty kulturowo-cywilizacyjne, mieszały różne narodowości, języki, religie, a zróżnicowanie tamtejszej ludności potęgowały jeszcze podziały społeczne i majątkowe. Młodość spędzona na kulturowym pograniczu, na terenie różnych „rzeczywistości myślowych”¹², kształtowała jego tożsamość kulturową, wyrobiła w nim umiejętność swobodnego poruszania się w obszarze dwóch kultur: polskiej i rosyjskiej.

Przedstawione powyżej zagadnienia zdeterminowały emigrancką postawę Gomolickiego, zaważyły na jego myśleniu o emigracji jako takiej, znalazły także odzwierciedlenie w twórczości poetyckiej. Temat emigracji pojawiał się w niej w ścisłym powiązaniu z refleksjami o dwoistej naturze człowieka, z rozważaniami o antynomii pierwiastków materialnych i duchowych, o niemożności dokonania między nimi wyboru i jednoczesnych wysiłkach zmierzających do ich stopienia w harmonijną jedność¹³. Badacze są zgodni, że poezja Gomolickiego jest silnie nasycona pierwiastkiem filozoficznym¹⁴. Poeta podejmował „problemy ludzkiej egzystencji: dobra i zła, życia i śmierci, kłamstwa i prawdy, sensu (raczej braku sensu) życia, przemijania czasu, osamotnienia człowieka, jego wyobcowania. Refleksje te wynikały nieraz z rozmyślań nad losem tułaczem”¹⁵.

A. Kołyszko, [b.m.w.] 1986, s. 197–198). O szybie jako metaforze bariery komunikacyjnej w kontekście filozofii dialogu zob. A. Krupska-Perek, *Ludzie „za szybą”, czyli o barierach w interpersonalnej przestrzeni komunikacyjnej*, [w:] *Pogranicza. Materiały z konferencji 8–10 maja 2006 r.*, pod red. D. Kowalskiej, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2007, s. 313–325.

¹² H. Mamzer, *Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki*, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2003, s. 107–112.

¹³ Por.: A. Л. Бем, „Вскипетившая жизнь эмигранта”. *О стихах Льва Гомолицкого*, „Меч” 1938, nr 23, 12 июня, [online] <www.russianresources.lt/archive/Gomol/Gomol_18.html> (dostęp: 22.01.2013).

¹⁴ Por. idem, *Священная лира*, „Меч”, 1938, nr 23, 12 июня, [online] <www.russianresources.lt/archive/Gomol/Gomol_18.html> (dostęp: 22.01.2013); С. Барт, *Приятие мира*, „Молва” 1932, nr 137, 18 сентября, [online] <www.russianresources.lt/archive/Gomol/Gomol_21.html> (dostęp: 7.02.2013).

¹⁵ T. Zienkiewicz, „I nas izgnannikow w molitwach pomiani...” (*O poezji emigracji rosyjskiej w Polsce międzywojennej*), „Studia Rossica X”, s. 79.

Badacze wskazują, że poezja Gomolickiego przesyciona jest „typowym dla poetów-emigrantów pesymizmem”¹⁶, w jego strofach odkrywają „głębinę posępnych nastrojów”¹⁷, widzą w nich „zapis wielkiej katastrofy dziejowej – upadku imperium rosyjskiego [...] i jego konsekwencji w dziedzinie światopoglądu, systemu wartości, kultury”¹⁸. Głównym motywem poezji Gomolickiego jest „los Rosji i trudne położenie poety, wyrzuconego przez los poza granice swojego kraju”¹⁹.

Do emigracyjnych przeżyć autora nawiązuje między innymi złożony z pięciu wierszy cykl *Dom* (Дом, 1933). Analizując go, trzeba przypomnieć pewną oczywistość: pojęcie domu jest jednym z fundamentalnych w słowniku emigranta, odnosi się bowiem do tych wartości (duchowych i materialnych), które stanowią podstawę ludzkiej egzystencji, a zarazem są unicestwiane przez wygnanie. Dom uosabia prawdę, zgodnie z którą „O ile nasze życie jest włóczęgą, pamięć jest domatorem i choćbyśmy się wyrwali bez ustanku, nasze wspomnienia przykute do miejsc, skąd odchodzimy, nadal kojarzą między sobą swoje zasiedziały żywoty”²⁰. Obraz domu, uczestniczącego w procesie samoidentyfikacji człowieka, konstruującego tożsamość jednostki, w literaturze emigracyjnej stał się szczególnie nośny znaczeniowo. W twórczości przedstawicieli „pierwszej fali” emigracji rosyjskiej motyw domu funkcjonował jako „fenomen świadomości, określony paradygmat, z którym poeci emigracyjni identyfikowali się w różnym stopniu i czynili zeń składnik biografii emigracyjnej twórcy oraz bohatera epoki porewolucyjnej”²¹.

Taką rolę pełni motyw domu także we wspomnianym cyklu Gomolickiego. Jak pisał autor, cykl ten wyrósł ze „zmęczenia problemem wielkich analogii”, był „ucieczką od filozofujących konstrukcji do tego, co banalnie ludzkie” (H 68). Tę potrzebę zwyczajności, przyziemności wyrażają intymne sceny czulej rozmowy bohaterów lirycznych przed zaśnięciem, wspólnego zapadania w sen oraz poranka przy filiżance herbaty. Pragnienie odpoczynku od zgiełku świata jest tym większe, że towarzyszy mu świadomość kruchości takiej egzystencji. Z obrazami nietrwałego, jakby wykradanego losowi szczęścia kontrastują autobiograficzne epizody z pierwszych lat pobytu Gomolickiego w Warszawie. Był

¹⁶ S. Kułakowski, *Pięćdziesiąt lat...*, s. 360.

¹⁷ Ibidem, s. 361.

¹⁸ J. Kulczycka-Saloni, *Przedwojenne...*, s. 50.

¹⁹ O. B. Розинская, *Связи русской эмиграции с творческой интеллигенцией Польши (1920–1930-е гг.)*, [w:] *Studia Polonorossica...*, s. 290, tłum. cytatu – J.B.

²⁰ M. Proust, *W poszukiwaniu straconego czasu*, tłum. P. Hertz, t. 7, PIW Warszawa 1969, s. 380.

²¹ I. A. Ndiaye, *Hipertrofia tęsknoty...*, s. 16.

to czas naznaczony głodem i ciężką pracą robotnika budowlanego. Podmiot liryczny cyklu przywołuje obrazy „obcej ziemi”, „pustki wygnania”, „tułaczego i anonimowego życia”, „pierwszego wymuszonego kroku ucieczki na niosący zbawienie pokład obcego statku” („чужая земля”, „пустота изгнания”, „скитальческая и безымянная жизнь”, „бегства первый вынужденный шаг на борт спасительный чужого корабля”). Finał cyklu transponuje problematykę emigracyjnej bezdomności i potrzeby zdomowienia z płaszczyzny autobiograficznych odwołań i jednostkowych przeżyć na płaszczyznę rozważań ponadindywidualnych. Wydaje się, że tak właśnie należy odczytać końcowe wersy cyklu, w których pojawia się postać Adama, pierwszego człowieka na ziemi, tęskniącego za przytulnością domu. Pojęcie to pisane jest w wierszu zarówno z małej litery – oznacza wówczas schronienie strudzonych tułaczy, jak i z wielkiej – stając się „znakiem historycznej, ogólnoludzkiej wymowy rosyjskiego uchodźstwa”²².

Ze względu na sposób, w jaki podmiot liryczny wierszy z cyklu *Dom* przedstawia swoje przeżycia, należy je zaliczyć do liryki bezpośredniej o cechach wyznania i silnie emocjonalnym charakterze. Taki model przeżywania był, według ustaleń polskiego badacza, najbardziej reprezentatywny dla poezji rosyjskiej emigracji „pierwszej fali”, jako taki stał się reperkusją unikalnej w dziejach kultury rosyjskiej, nigdy wcześniej nieznannej sytuacji pozostawania na obczyźnie wielomilionowej rzeszy Rosjan, wśród których znaleźli się uczeni, artyści, czołowi twórcy, badacze i krytycy literatury rosyjskiej²³.

Echa emigracji pobrzmiewają również w kilku wcześniejszych wierszach Gomolickiego, zatytułowanych *Bóg* (*Бог*, 1930) *Miłość*, (*Любовь*, 1930) i *Golem* (*Голем*, 1930). Pierwszy z nich jest poetyckim wyznaniem wiary – podmiot liryczny deklaruje w nim bowiem ufność w sens i zasadność wyroków Stwórcy, często trudnych do przyjęcia i wymykających się ludzkiemu osądowi. Drugi z wymienionych utworów, *Miłość*, można natomiast nazwać osobistym dekalogiem czy też testamentem poety. Składają się nań, co zapowiada już tytuł wiersza, nakazy miłości bliźniego, poszanowania życia w każdej jego postaci, zarówno pięknej, jak i żalostnej, dobrej i złej, oraz przekonanie o jedności duchowych i materialnych pierwiastków życia. W *Golemie* natomiast poeta sparafrazował zaczerpnięty z tradycji żydowskiej mit o ulepieniu z gliny niemej i bezmyślnej istoty²⁴. W wierszu poety Golem, stworzony z gniewu i przeznaczony do zemsty, ostatecznie zostaje zwyciężony przez miłość Ewy – córki swego stwórcy. Nie

²² W. Skrunda, *Rosyjski uchodźca...*, s. 97.

²³ T. Zienkiewicz, *I nas izgnannikow...*, s. 78–79.

²⁴ G. Scholem, *Wyobrażenie Golema w kontekście tellurycznym i magicznym*, [w:] idem, *Kabala i jej symbolika*, tłum. R. Wojnowski, Wyd. „Znak” Kraków 1996, s. 173–218.

mogąc przeciwstawić się tej miłości, z powrotem zamienia się w bezkształtną masę. W ten sposób poeta wyraził przekonanie o zwycięstwie dobra nad złem. Zamykające wiersz pytanie retoryczne kryje w sobie wskazówkę dotyczącą moralnego kodeksu człowieka. Kodeks ów winien się, zdaniem Gomolickiego, opierać na wyrzeczeniu się gniewu i nienawiści na rzecz przebaczenia i umiłowania życia.

Powyższe wiersze jedynie pozornie nie są związane z motywem emigracji. Gomolicki głosi w nich postawę pokory wobec Boga i Jego przykazania miłości, w której mieści się także przekonanie o konieczności zaakceptowania bolesnej przeszłości, pogodzenia się z doznanymi krzywdami i otwarcia na przyszłość. Pojednanie z rzeczywistością oznacza także akceptację własnego stanu uchodźstwa. Ponadto poeta zwraca się ku fundamentom ludzkiego istnienia, wyznacza jego prawdy podstawowe, ustala wartości nadrzędne. Innymi słowy – tworzy na nowo zręby świata, który uległ rozpadowi w wyniku dziejowej zawieruchy, postulując zarazem odrodzenie do nowego, doskonalszego życia.

Istotnym uzupełnieniem przedstawionych wierszy była zamieszczona wraz z nimi krótka, kilkudzaniowa, wypowiedź poety, w której ujmował rewolucję 1917 r. nie w kategoriach utraty statusu materialnego i wiążących się z nim przywilejów społecznych, lecz w kategoriach wyswobodzenia się z matni socjalnych antagonizmów Rosji początku XX wieku. Pierwsza wojna światowa, przewrót bolszewicki, a następnie wojna domowa nie tylko zahartowały Gomolickiego, wyrabiając w nim życiową zaradność, odporność na ubóstwo i poniżenie, zdolność do ciężkiej pracy fizycznej. Wzbudziły w nim również „potężne i wstrząsające” umiłowanie Boga, uodporniły na „złą wolę innych”, dały poczucie całkowitego panowania nad własnym losem i wytyczyły na stałe kierunek jego duchowej ewolucji. W rezultacie zapoczątkowały one prawdziwą, gdyż świadomą egzystencję poety, ufundowaną na przeświadczeniu, że „istnieje prawdziwe, rozumne i wieczne życie, które nie mieści się w ramach mojego istnienia”²⁵.

Wymienione wiersze antycypowały treści wyrażone w pochodzącym z 1934 r. poemacie *Warszawa (Bapuawa)*. W przedwojennej poezji Gomolickiego poemat ten zajął miejsce szczególne, został odebrany jako utwór znamionujący artystę dojrzałego, otwierający nowy etap w jego twórczej biografii, ważki dla całej rosyjskiej poezji emigracyjnej²⁶. W skład utworu weszły przeredagowane strofy *Miłości*. „Wiersz ten zawierał już – w zarysie – filozoficzne credo poety, wten-

²⁵ Л. Гомолицкий, *Краткая биография*, [online] <www.russianresources.lt/archive/Gomol/Gomol_03.html#2>, tłum. cytatu – J.B. (dostęp: 22.01.2013).

²⁶ Por.: А. Л. Бем, „Вскипевишая жизнь...”

czas sformułowane abstrakcyjnie, w rozważaniach o ludzkiej naturze, a następnie, w poemacie *Warszawa*, odniesione do tematu emigracji, przełożone na język wniosków dotyczących przyszłości uchodźców, w obliczu nabrzmiewającego kryzysu emigranckiej świadomości. [...] Podobnie motyw „boskiego tchnienia”, Bożej obecności w człowieku (w wierszu [...] *Bóg*) był załączkiem motywu przenikającej człowieka „przedwiecznej mądrości niebios”, odniesionego w *Warszawie* do losów emigracji”²⁷. Ponadto bohater poematu przechodzi duchową przemianę, w odróżnieniu od Golema z przedstawionego już wiersza zostaje obdarzony Bożym tchnieniem i odwraca się od gniewu ku miłości, wstępuje na drogę wybaczenia doznanych krzywd. Rozwinięcie znalazło w *Warszawie* także, charakterystyczne dla omówionej autobiograficznej wypowiedzi Gomolickiego, spojrzenie na własną emigrację poprzez pryzmat związanych z nią zysków duchowych.

Poemat był zatem zwieńczeniem wcześniejszych przemyśleń poety na temat emigracji, konsolidował w sobie treści rozproszone po różnych tekstach lirycznych. Utwór Gomolickiego odczytać można w kilku płaszczyznach, między innymi jako poetycką autobiografię oraz jako dyskurs o postawach emigranckich. Obie te perspektywy przenikają się i uzupełniają wzajemnie. Autobiograficzność *Warszawy* przejawia się w wiernym odtworzeniu rzeczywistości pozaliterackiej, w przywołaniu realnych szczegółów warszawskiego pejzażu oraz w kreacji bohatera, stanowiącego *alter ego* poety. Gomolicki obdarzył go nie tylko własną biografią „materialną”, ale także duchową. Sceny ciężkiej pracy fizycznej i nocnych wędrówek po mieście, drobne epizody z życia bohatera, jak na przykład noc spędzona na dworcu czy odpoczynek w parku miejskim, przeplatają się z opisami jego przeżyć duchowych. Te układają się w określonym porządku, prowadząc od początkowego niepokoju, rozdarcia, negacji wrogiego świata, poprzez aktywne poszukiwanie wewnętrznej równowagi aż do osiągnięcia pożądanego stanu mistycznego pojednania ze światem i samym sobą. W końcowych partiach poematu bohater, wcześniej wiodący bezdomne i jałowe życie emigranta²⁸, odzyskuje spokój, odnajduje utracony w dziejowej zawierusze stan błogiej harmonii. Warunkiem duchowego odrodzenia bohatera jest wszakże wyzbycie się przezeń gniewu, przebaczenie, otwarcie na zbawczą działalność Boga („przedwieczną mądrość niebios”). Bohater poematu jest realizacją pozytywnego wzoru „umysłu uzdrowionego”, kierującego się w życiu nakazem miłości bliźniego, umiłowania świata w jego wzniosłości i trywialności, służenia ludziom. Wzorowi temu, odsyłającemu do tradycji patrystycznej (nauki mnicha

²⁷ W. Skrunda, *Zamysł poematu...*, s. 226–227.

²⁸ J. Rzymowski, *Erynie historii...*, s. 44.

Ewagriusza o grzechu), poeta przeciwstawił postawę aktywnego nieprzejednania. Jej uosobieniem jest wizja uchodźcy – „mściciela” wraz z odsyłającymi do niego tematami „gniewu”, „nienawiści”, „zemsty”, „niewiedzy” i „szaleństwa”²⁹.

W poemacie Gomolicki wyrażał nadzieję „na przezwyciężenie tragicznych następstw rewolucyjnej katastrofy, na przełamanie paraliżującej frustracji, na ułożenie normalnego życia uchodźców”³⁰. Zapewne z tego względu krytyk rosyjski docenił odwagę autora, który zdobył się na to, by otwarcie poruszyć temat przez środowisko literackie rosyjskiej diaspory kwitowany milczeniem³¹. Przesłanie poematu, zawarte w losach bohatera, dotyczyło pogodzenia z rzeczywistością współczesnego świata, umiejętności życia w nowych warunkach, z zachowaniem tożsamości narodowej. W ten sposób autor przeciwstawiał się powszechnemu wśród rosyjskich uchodźców pesymizmowi, poczuciu zagubienia, niewiary w możliwość zachowania „rosyjskości” na obcej ziemi.

Wyrażone w *Warszawie* postrzeganie rosyjskiej emigracji popaździernikowej w kategoriach duchowej odnowy, bazującej na tradycji kulturalnej narodu rosyjskiego i wartościach chrześcijańskich, określiło również następne utwory Gomolickiego. Do jednego ze swych późniejszych poematów (*Сотом вечности*, 1937) poeta wprowadził mityczną postać Deukaliona, który uratował się z potopu, otrzymawszy od bogów pozwolenie schronienia się na Parnasie. W optyce rosyjskiego poety losy Deukaliona są swoistą parabolą wygnańczej biografii, mają działanie terapeutyczne. Wyrażona w starożytnym micie możliwość przetrwania kataklizmu jest receptą na bólączki dwudziestowiecznego wygnańca.

Rozwinięciem i pogłębieniem przemysłów Gomolickiego na temat emigracji stał się utwór pod tytułem *Poemat emigracyjny* (*Эмигрантская поэма*, 1936). Sytuując się wśród pozostałych tekstów Gomolickiego poruszających problem wygnania, zarazem cechował się innym jego ujęciem. Poeta zrezygnował w nim z autobiograficznego podtekstu, porzucił autoanalizę na rzecz charakterystyki innych przedstawicieli rosyjskiej diaspory, dążenie do zbudowania z własnych losów paradygmatu emigranckiej postawy zastąpił próbą zdiagnozowania cudzych zachowań ewokowanych przez przebywanie na obczyźnie.

Na przedstawiony w poemacie portret bezimiennego emigranta składa się kilka dopełniających się wzajemnie szkiców. Każdy z nich ukazuje inny profil osobowości bohatera lirycznego, odsłania inny aspekt jego relacji ze światem zewnętrznym. Sygnalizują to używane w stosunku do bohatera antonomastyczne

²⁹ Problematykę poematu referuję za: W. Skrunda, *Zamysł poematu...*

³⁰ Ibidem, s. 227.

³¹ А. Л. Бем, „Вскипевшая жизнь...”

i peryfrastyczne określenia, które wspólnie tworzą dossier rosyjskiego wygnańca. Jest on nazwany kolejno „nowym Odyseuszem”, „świadkiem okrutnych dni”, „mimowolnym hulaką i graczem”, „uciekiniem”, „człowiekiem” oraz „pustelnikiem” („новый одиссей”, „самовидец дней жестоких”, „невольный бражник и игрок”, „беглец”, „человек”, „пустынножитель”). Każda z wymienionych figur stylistycznych niesie w sobie określony ładunek semantyczny i emocjonalny.

„Nowy Odyseusz” odwołuje się do europejskiej tradycji kulturowej, uaktywnia zakodowane w greckim micie pojęcia wędrowki, wieloletniego pozostawania z dala od gniazda rodzinnego, daremnego poszukiwania porzuconego niegdyś domu, niemożności powrotu do przeszłości, odnalezienia bliskich itp. „Świadek okrutnych dni” oraz „wygnańiec” rzucają światło na przeszłość bohatera, pozwalają doszukiwać się przyczyn przymusowej odysei w niedawnych wydarzeniach historycznych, nienazwanych wprost, ale czytelnym, narzucającym się w sposób oczywisty. W określeniach tych pobrzmiewa echo tematu kluczowego dla *Warszawy*: dramatycznego konfliktu racji jednostki i racji historycznych, tragizmu człowieka wciągniętego w wir wydarzeń dziejowych. Nazywając bohatera lirycznego „mimowolnym hulaką i graczem” oraz „pustelnikiem”, Gomolicki odsłania jeszcze inne, równie bolesne aspekty jego wygnańczej codzienności, naznaczonej samotnością i hazardem. Wreszcie określenie bohatera mianem „człowieka” z jednej strony zaskakuje swoją oczywistością i uderzającą prostotą, z drugiej – w zestawieniu z pozostałymi figurami nabiera swoistej głębi i wieloznaczności. Jest upomnieniem się o ludzką godność bohatera, zredukowaną na obczyźnie do poziomu szulera, tułacza, samotnika. Jest humanitarnym aktem przywrócenia mu pełnego wymiaru osobowościowego, przykrojonego na wygnaniu do kilku negatywnych i stereotypowych ról. Nazwanie bohatera „człowiekiem” wraz ze scenarią całej odsłony nawiązuje ponadto, jak można przypuszczać, do znanego wiersza Fiodora Tiutczewa *Noc święta w dłoni świat ujęła...* (*Святая ночь на небосклон вошла...*, 1848–1850), w finale którego człowiek staje w obliczu pełnej tajemnic przyrody. Emigrant Gomolickiego, który „po polach nocnych błąka się sam, w zamyśleniu” („и по полям ночным блуждает один, в раздумьи, человек”³²), jest duchowym spadkobiercą Tiutczewowskiego „bezdomnego sieroty”. Obraz ten wzbogaca zatem rozważania Gomolickiego o płaszczyznę filozoficzną, wnosi do nich poza nawiązaniami kulturowymi i aktualnymi odniesieniami historycznymi także zagadnienia relacji człowieka jako takiego z przyrodą. To w niej między innymi

³² Л. Гомолицкий, *Эмигрантская поэма*, [online] <www.mochola.org/rossica/gomolicki/emigrant.html> (dostęp: 22.01.2013).

poeta upatruje remedium na chorobę emigracji (por. pejzaż w pierwszej części poematu).

Egzystencja bohatera poematu została ukazana jako tułactwo i naznaczona tymczasowością. Rodzi ona poczucie nieustannego zagrożenia, prowadzi do duchowego zagubienia, łączy się z samotnością, jest jałowa i mialka. Gomolicki jednak nie identyfikuje się z nią, co więcej, w sposób wyraźny dystansuje się od opisanych zachowań. Wyrażną przesłankę dla takiego wniosku odnaleźć można w końcowej partii poematu, w której podmiot liryczny zaznacza swoją odrębność od będącego przedmiotem jego uwag bohatera. Określając go mianem „tych małych”, podmiot ucisza spekulacje co do swojego z nim pokrewieństwa duchowego, analogii postaw życiowych. Tym, co łączy „ja” liryczne z bohaterem, jest jedynie wspólnota doświadczeń, podobieństwo biografii rozumianej jako sekwencja wydarzeń. Zarazem umieszczenie bohatera w kategorii *pluralia tantum* czyni zeń przedstawiciela większej zbiorowości. W ten sposób Gomolicki podnosi przeżycia jednostki do rangi zjawiska ponadindywidualnego, z konkretnego przypadku buduje swoisty antywzór emigranckiej postawy. W rezultacie poemat jest, jak pisze polski badacz, „owiany tragizmem bezruchu i beznadziejności”³³.

Zamykający całość obraz nasion dmuchawca, unoszonych przez wiatr „nad pustynią wędrowki i gniewu” („пустыня странствия и гнева”), nawiązuje do otwierających utwór strof o wędrownych ptakach, które zmierzają do europejskich portów i stolic. W strofach tych ujawnia się ambiwalencja emigracji, łączącej w sobie brak domu, trudy życia na obcej ziemi, ale także wolność i duchowy wzrost, którego rękojmią jest bogactwo doświadczeń wyniesionych z przeszłości. Motyw uskrzydlenia, gotowości do swobodnego lotu, wewnętrznej lekkości, odsyła do poematu *Warszawa*, w którym pojawia się obraz „raju obiecanego skrzydlatej ojczyzny”³⁴ – „Rosji szybującej wysoko ponad doczesnością ziemskich trosk, prawdziwie wolnej”³⁵.

W ostatnich utworach poetyckich Gomolickiego powstałych przed wybuchem II wojny światowej (cykl *Przypowieści*, *Притчи*, 1938) temat emigracji ustąpił miejsca przeczuciom nadciągającego kataklizmu. Po roku 1945, w nowej rzeczywistości historycznej, poeta nie powrócił do wcześniejszych zagadnień. Jego twórczość zdominował temat okupacji i Holocaustu. Dalekie echa emigracji zdają się jednak pobrzmiewać w jego refleksjach pochodzących z ostatnich lat życia. Gomolicki pisał wówczas:

³³ S. Kułakowski, *Pięćdziesiąt lat...*, s. 361.

³⁴ Л. Гомолицкий, *Варшава (Поэма)*, [online] <www.russianresources.lt/archive/Gomol/Gomol_w.html> (dostęp: 22.01.2013).

³⁵ W. Skrunda, *Rosyjski uchodźca...*, s. 114.

[...] życie jest szeregiem katastrof. Wliczam w to katastrofy małe, prywatne i wielkie kataklizmy, których byłem świadkiem, no i te – błędzenia „twórcze”. [...] Ale dobrze wiedzieć – a wiedzę dają zmiany – że każde niepowodzenie w ostatecznym rachunku obraca się na naszą korzyść.³⁶

[...] człowiek powinien być przygotowany na to, aby ponieść treść swego życia z godnością i z pożytkiem dla innych ludzi. (H 78)

Emigracja miała swój udział w formowaniu się takiej postawy Gomolickiego, stała się jedną z pierwszych katastrof i jedną z pierwszych życiowych lekcji do odrobienia. W swej przedwojennej poezji poeta starał się przekazać tę wiedzę innym.

Резюме

*„Царственная гордость великим неблагополучием”.
Эмиграция в поэтической перспективе Льва Гомолицкого*

Проблема, названная в заглавии статьи, рассматривается в контексте понятий экстерриториальности, двукультурности и двуязычности, которые существенным образом повлияли на биографию Льва Гомолицкого (1903–1988) и его поэзию довоенного периода.

В статье анализируются стихотворения поэта, в которых тема эмиграции была подчинена первостепенным экзистенциальным вопросам, а также две поэмы тридцатых годов XX века (*Варшава, Эмигрантская поэма*), в которых проблема изгнания и жизни на чужбине заняла главное место. Автор указал в них как собственную беженскую жизнь, так и судьбу других эмигрантов; автоанализ соединял с оценкой отношений своих соотечественников к изгнанию. Не сомневаясь в том, что жизнь вне родины является катастрофой, он все таки стремился толковать ее в категориях духовного обновления.

Summary

*„The royal pride in great distress”.
The experience of emigration in Leo Gomolitzky's poetic perspective*

The paper discusses the functioning of emigration theme in the poetry of Leo Gomolitzky (1903–1988) – one of the greatest representative of Russian diaspora in Poland before World War II. Some poetical texts and two poems (*Warsaw, The emigre poem*) has been analized in it, in the context of bilingualism, exterritoriality and biculturalism – categories, that had a strong influence on Gomolitzky's life and works.

In the analized texts Gomolitzky shows his own experiences and thoughts caused by the emigration, he also diagnoses people's attitudes toward exile. From the viewpoint of the poet the emigration is, undoubtedly, the catastrophe, but at the same time Gomolitzky interpreates it as a chance of the moral renewal, spiritual rebirth.

Key words: Leo Gomolitzky, poetry, emigration, home, rebirth.

³⁶ L. Gomolicki, [wypowiedź w ankiecie *Pisarz, życie, dzieło*], „Tygodnik Kulturalny” 1971, nr 18, cyt. za: J. Rzymowski, *Erynie historii...*, s. 168.

Marcin Cybulski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Polscy księża zesłańcy postyczniowi o Rosji

Wśród rzeszy polskich uczestników powstania styczniowego, którzy po roku 1863 znaleźli się na zesłaniu, znajdowała się pewna liczba osób duchownych. Jako element wybitnie „nieprawomyślny”, kler katolicki był wyjątkowo represyjnie traktowany przez carski aparat władzy¹. Przyczyną zsyłania księży w głąb Rosji często było nie tyle nawet fizyczne uczestnictwo w zrywie niepodległościowym, co „przewinienia” takiej rangi, jak oddawanie ostatniej posługi poległym powstańcom, święcenie oręża czy zwykła niechęć do współpracy z władzą na polu donosów i kolaboracji². Jak się ocenia, mniej lub bardziej aktywnie z powstańcami współpracowało co najmniej kilkuset duchownych, choć liczba ta mogła być nawet kilkakrotnie wyższa³. Jak podaje większość źródeł, po upadku powstania na zesłanie trafiło około 600 księży⁴. Większość z nich wywieziono do odległych guberni Rosji Europejskiej, a także na Syberię Wschodnią. O sytuacji tych duchownych pisali m.in. Józef Stanisław Pietrzak i Eugeniusz Niebelski⁵.

Fala zesłań, jaka nastąpiła po upadku powstania styczniowego, z czasem zaowocowała wieloma publikacjami o charakterze wspomnieniowo-pamiętnikarskim⁶. Na tle tej okazałej spuścizny literackiej twórczość księży, choć objętościowo stosunkowo skromna, zajmuje poczesne miejsce⁷. Do najistotniejszych

¹ Zob. J. Ziółek, *Księża zesłani na Syberię po powstaniu styczniowym*, [w:] A. Kuczyński (red.), *Syberia w historii i kulturze narodu polskiego*, Wrocław 1998, s. 126–127, 131.

² M. Cybulski, *Rosja we wspomnieniach księdza Stanisława Matrasia*, „Slavia Orientalis” 2010, nr 1, s. 35.

³ Por. A. Wroński, *Duchowieństwo i Kościół katolicki w Królestwie Polskim wobec sprawy narodowej w latach 1832–1860*, Warszawa 1994, s. 115–116.

⁴ Por. E. Niebelski, *Tunka. Duchowni na zesłaniu syberyjskim po powstaniu 1863 r.*, „Przegląd Powszechny” 2004, nr 1, s. 50–51; także: S. Kieniewicz, *Powstanie styczniowe*, Warszawa 1983, s. 737–738 oraz: J. Ziółek, op. cit., s. 127–129.

⁵ J. S. Pietrzak, *Księża powstańcy 1863*, Kraków 1916; E. Niebelski, *Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu w Rosji*, Lublin 2002.

⁶ Szerzej: M. Cybulski, *Rosja i Rosjanie w pamiętnikach Polaków (1863–1918)*, Warszawa 2009, s. 112–213.

⁷ Por. M. Cybulski, *Rosja we wspomnieniach...*, s. 35.

należy zaliczyć prace Mikołaja Kulaszyńskiego⁸, Stanisława Matrasia⁹, Edwarda Nowakowskiego¹⁰, a po części także Juliana Kędrzyckiego¹¹ i Józefa Dawidowicza¹². Nie można też pominąć Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, którego sytuacja była co prawda nieco inna, ale za to spędził on na wygnaniu wyjątkowo długi czas, a poza tym był autorem jednego z ważniejszych dzieł wspomnianych polskiego kleru drugiej połowy XIX wieku¹³.

Ze wspomnień tych, różnorodnych przecież zarówno formalnie, jak i treściowo, w sposób konsekwentny wyłania się obraz Rosji i Rosjan takich, jakimi widzieli ich skazani duchowni. W niniejszym artykule podjęta zostanie próba rekonstrukcji takiego wizerunku na podstawie wspomnień przede wszystkim czterech autorów: Mikołaja Kulaszyńskiego, Stanisława Matrasia, Edwarda Nowakowskiego oraz Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Zanim jednak będzie można przejść do analizy treści ich prac, należałoby w największym skrócie przytoczyć podstawowe dane biograficzne autorów.

Mikołaj Kulaszyński (1828–1901) trafił na Syberię za udzielanie pomocy materialnej i duszpasterskiej powstańcom. Po półtorarocznym pobycie w więzieniu w Zamościu zesłano go do Kraju Krasnojarskiego, gdzie przebywał do roku 1866, a następnie został przeniesiony do wsi Tunka nad Bajkałem. Dopiero w roku 1882 pozwolono mu powrócić do europejskiej części Rosji, a w 1889 – do Galicji¹⁴.

Stanisław Matraś (1836–1917) ukończył seminarium w Lublinie, a od roku 1861 aktywnie uczestniczył w ruchu patriotycznym. Prawdopodobnie kolportował podziemne publikacje, odbierał przysięgę wierności od żołnierzy, miał też święcić broń, choć sam osobiście w szeregi powstańców nigdy nie wstąpił¹⁵. Po obławie wokół Krzeszowa, gdzie był wikarym, udało mu się wymknąć pogoni i usiłował przedostać się do Galicji, jednak został rozpoznany przez prawosławnych Rusinów i wydany w ręce władz. Sąd polowo-wojenny skazał księdza

⁸ M. Kulaszyński, *Trzy pisma z wygnania*, Lwów 1892; idem, *Tunka i jej okolice*, Poznań 1887.

⁹ S. Matraś, *Podróż do Syberii po moskiewskich etapach w 1863 i 1864 roku*, Lublin 2007.

¹⁰ E. Nowakowski, *Wspomnienie o duchowieństwie polskim znajdującym się na wygnaniu w Syberii*, w *Tunce*, Poznań 1875.

¹¹ Zob. M. Janik, *Dzieje Polaków na Syberii*, Kraków 1928, s. 339.

¹² Fragmenty listów J. Dawidowicza, [w:] A. Brus, E. Kaczyńska, W. Śliwowska (red.), *Zesłanie i katorga na Syberii w dziejach Polaków 1815–1914*, Warszawa 1992, s. 272–276.

¹³ Z. Feliński, *Pamiętniki ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa warszawskiego*, cz. 1: 1822–1851, cz. 2: 1851–1883, Kraków 1897.

¹⁴ Por. M. Cybulski, *Obrazy Rosji i Rosjan w dziełach Mikołaja Kulaszyńskiego*, „Slavia Orientalis” 2013, nr 2, s. 169.

¹⁵ Zob. E. Niebelski, *Ks. Stanisław Matraś i jego pamiętniki*, [w:] S. Matraś, op. cit., s. 13–14, 16.

Matrasia na pozbawienie majątku i osiedlenie w odległych rejonach Syberii¹⁶. Wyjazd nastąpił w kwietniu 1863 r., a odbywał się tzw. etapami. Po 14 miesiącach wycieńczającej podróży znalazł się on ostatecznie we wsi Iczory nad rzeką Leną¹⁷.

Edward Nowakowski (1829–1903) pochodził z rodziny o głębokich tradycjach narodowych, patriotycznych i katolickich. Ukończył gimnazjum w Czernihowie, a następnie studiował na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Kijowskiego. W roku 1860 wstąpił w szeregi braci mniejszych kapucynów jako brat Wacław. W momencie wybuchu powstania styczniowego znajdował się w oddziale Mariana Langiewicza, zaś po jego upadku za posiadanie dokumentów świadczących o związkach z ruchem wyzwoleniczym skazany został na zesłanie do Irkucka. Ostatecznie jednak trafił do Usola, skąd kilka lat później przeniesiono go do Tunki. Do Galicji powrócił dopiero w 1877 r.¹⁸

Najbardziej znaną postacią spośród autorów, których prace omawia niniejszy artykuł, jest niewątpliwie Zygmunt Szczęsny Feliński (1822–1895), arcybiskup warszawski, obecnie święty katolicki. Jego dorobek literacki jest bardzo obszerny i choć *Pamiętniki* to jego najbardziej znane dzieło, to ani gatunkowo, ani treściowo nie zamykają one obszarów literackich poszukiwań Felińskiego¹⁹.

Niniejszy artykuł oparty został na modelu rekonstrukcji stereotypu i wizerunku narodowego, zaproponowanym przez Aleksandrę Niewiarę, a poszerzonym przez piszącego te słowa. Obejmuje on następujące aspekty: nomenklaturę narodową, cechy psychiczne i charakterologiczne, cechy fizyczne Rosjan oraz ogólny obraz Rosji jako państwa i kraju²⁰.

Mikołaj Kulaszyński zamiennie używa neutralnego określenia „rosyjski” i nacechowanego bardziej pejoratywnie „moskiewski” oraz analogicznie „Rosjanin” i „Moskal”²¹. Z reguły te nacechowane negatywnie określenia używane są w kontekstach bardziej emocjonalnych, dotyczących kwestii politycznych i światopoglądowych – np. wtedy, gdy autor pisze o „absolutyzmie moskiewskim” lub groźbie „zmoskalenia”²². W omawianym okresie używanie pojęć „Moskal” i „moskiewski” zasadniczo prawie zawsze miało wymiar pejoratywny,

¹⁶ Ibidem, s. 19–21.

¹⁷ Por. S. Matraś, op. cit., s. 58.

¹⁸ Zob. Ł. Grzegorzczak, *Ojciec Wacław z Sulgustowa – bibliotekarz u Świdzińskiego*, [online] <www.klwow.pl/asp/pliki/aktualnosci/13.pdf>.

¹⁹ Monografia na ten temat: M. Cybulski, *Zygmunt Szczęsny Feliński – pisarz i człowiek*, Warszawa 2015.

²⁰ Por. A. Niewiara, *Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI–XIX wieku*, Katowice 2000, s. 130–147.

²¹ Por. M. Kulaszyński, *Tunka...*, s. 48.

²² Ibidem.

bowiem Moskwa nie była już wówczas od kilkudziesięciu lat stolicą carskiego imperium, więc kontekst pragmatyczny stracił swoje uzasadnienie. Niekiedy jednak Kulaszyński stosuje tę nazwę także w kontekście neutralnym, np. pisząc o chrzcie udzielanym Buriatom w „języku moskiewskim” przez prawosławnych misjonarzy²³. Także Stanisław Matraś pisze o „moskiewskim państwie”, które pragnie wymazać z mapy i wcielić w swój obszar Polskę i inne kraje²⁴. Określenia „moskiewski” autor ten używa także w konotacjach z takimi wyrazami, jak: „prawo”, „urzędnicy” czy „obóz”²⁵. Są to więc wyraźnie konteksty związane ze sferą znaczeniową zaborów, okupacji, wojny, zesłania itd. Z drugiej strony u Matrasia występują też takie związki, jak np.: „gubernialne rosyjskie miasta”, „rosyjski aresztant”, „eksoficer rosyjski”²⁶. Nie widać zatem żadnej zasady – choć określenia pejoratywne pojawiają się częściej w kontekstach związanych z polityką zaborców, to zasadniczo obie formy można uznać za stosowane wymiennie. Co prawda, w stosunku do osób Matraś używa zwykle określenia „Moskal”, rzadziej „Rosjanin”, co mogłoby sugerować negatywny stereotyp przedstawicieli tego narodu, który – jak to zostanie wykazane dalej – akurat w przypadku tego autora nie do końca się potwierdza. Jak zwraca uwagę Andrzej Kępiński, etnonim „Moskal” ma charakter stanowczo deprecjonujący, a przy tym jest zasadniczo nieprzetłumaczalny, zawiera bowiem konotacje właściwe tylko narodowi, który go stworzył²⁷. Zupełnie wyjątkowo Matraś używa pogardliwego określenia „kacapy” – niemal zawsze w odniesieniu do agresywnych i prymitywnych funkcjonariuszy carskiej władzy lub też prostackiej ludności atakującej aresztantów²⁸.

Podobna zasada organizuje występowanie etnonimu „Moskal” bądź też bardziej neutralnego „Rosjanin” i „rosyjski” u Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Forma pejoratywna w *Pamiętnikach* pojawia się najczęściej przy cytowaniu różnego rodzaju anegdot, których Rosjanie są głównymi i negatywnymi bohaterami²⁹. Z reguły jednak arcybiskup częściej i chętniej używa form neutralnych: „Rosjanin” i „rosyjski”. Można to tłumaczyć dwojako – po pierwsze utwór powstawał pod koniec stulecia, gdy formy te przeważały już nad etnonimem „Moskal” i przymiotnikiem „moskiewski”, a po drugie pewną rolę odgrywał tu

²³ Ibidem, s. 49.

²⁴ Por. S. Matraś, op. cit., s. 53.

²⁵ Ibidem, s. 54, 58–59 i n.

²⁶ Ibidem, s. 58, 59, 157.

²⁷ A. Kępiński, *Geneza i funkcjonowanie negatywnego stereotypu Rosji i Rosjanina*, [w:] T. Walas (red.), *Narody i stereotypy*, Kraków 1995, s. 157.

²⁸ Por. S. Matraś, op. cit., s. 100.

²⁹ Np. Z. Feliński, *Pamiętniki...*, cz. 1, s. 21.

zapewne dość wyważony ideologicznie światopogląd autora i przypuszczalna niechęć do epatowania nacechowanymi bezwzględnie negatywnie określeniami (pomijając już potencjalne problemy, jakie mogłoby to sprawić w przypadku publikacji)³⁰.

Wszyscy omawiani tu autorzy stosunkowo niewiele miejsca poświęcają fizycznemu wizerunkowi Rosjan. Nieco więcej danych na ten temat można znaleźć w obu dziełach Kulaszyńskiego, ale i tu nie jest ich za wiele. Autor ten szerzej opisuje przede wszystkim ludność autochtoniczną, natomiast o syberyjskich Rosjanach pisze tylko jako o „przeważnie pochodzenia moskiewskiego, z małą przymieszką krwi buriackiej czy mongolskiej”³¹. Stwierdzenie to powtórzone zostaje w *Trzech pismach*³². Ta oszczędność w opisywaniu mieszkańców Rosji jest dość specyficzna dla całości pamiętnikarstwa postyczniowego i wynikać może z przyczyny dość naturalnej – Rosjanie byli nacją doskonale znaną zarówno autorom, jak i czytelnikom, toteż być może kwestie te, jako oczywiste, po prostu pomijano³³. Stanisław Matraś nie zajmuje się specjalnie tym zagadnieniem, ale jego wspomnienia przynoszą jeden szczegółowy i dość odpychający w istocie opis ludności zamieszkującej Iczorę, miejsce zesłania:

Lud mieszkający nad brzegami rzeki Leny ma miłą i przyjemną fizjonomię, ale szpecą go bardzo „zoby”, to jest wielkie narośle, czyli guzy, które są takiej objętości, jak nadęty bydlęcy pęcherz i otaczają całą szyję. Każdy dorosły człowiek, a czasem i małe dzieci dostają takiego obrzęknięcia, które na pierwszy widok wzbudzają obrzydzenie.³⁴

Opuchlizna mieszkańców wsi spowodowana była prawdopodobnie powiększeniem gruczołu tarczycy w wyniku niedoboru jodu³⁵. Bez względu na przyczynę, opis ten wpisuje się w negatywny, azjatycki, „dziki” wizerunek mieszkańców Wschodu, niemniej jednak nie jest on w utworze dominujący. Podobnie jak pozostali autorzy, tak i Matraś na ogół nie charakteryzuje wyglądu fizycznego mieszkańców Rosji. Jeszcze dalej idzie Feliński, który kwestii tej nie poświęca praktycznie uwagi w całych, bardzo przecież obszernych, *Pamiętnikach*. Zasadniczo na podstawie szczątkowych informacji, dotyczących wizerunku fizycznego Rosjan w dziełach analizowanych autorów, trudno byłoby wysnuć jakieg

³⁰ Por. M. Cybulski, *Rosja i Rosjanie w „Pamiętnikach” Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – próba rekonstrukcji stereotypu narodowego*, „Acta Polono-Ruthenica” 2013, nr XVIII, s. 23.

³¹ Por. M. Kulaszyński, *Tunka...*, s. 51.

³² M. Kulaszyński, *Trzy pisma...*, s. 69.

³³ Por. M. Cybulski, *Rosja i Rosjanie w pamiętnikach Polaków...*, s. 126–130.

³⁴ S. Matraś, op. cit., s. 167.

³⁵ Zob. przypis nr 5, [w:] ibidem.

wnioski natury ogólniejszej, aczkolwiek nawet w tak szczupłym materiale zaznacza się pewna, ugruntowana zresztą od stuleci, skłonność do wiązania fizyczności Rosjan z pierwiastkiem azjatyckim, nieeuropejskim, w jakiś sposób dzi kim czy barbarzyńskim³⁶.

Wszyscy autorzy-zesłańcy postyczniowi, a więc także księży, zdecydowanie chętniej opisują cechy psychiczne i charakterologiczne Rosjan, snując na ich podstawie pewien zarys przypisywanego tej nacji charakteru. Trzeba tu przypomnieć, że już w okresie przed zaborami, od wieku XVII, utrwałała się tradycja, która kazała przypisywać Rosjanom cechy tradycyjnie negatywne: barbarzyństwo, prymitywizm, skłonność do okrucieństwa, nieuczciwość i złodziejstwo, rozwiązłość i pijaństwo³⁷. Obrazy te powracają we wspomnieniach postycznio wych, jednak w przypadku autorów duchownych wydają się nacechowane w sposób raczej umiarkowany. I tak na przykład Kulaszyński w swoim naukowym oglądzie w dużej mierze „ignoruje” Rosjan, koncentrując się na fascynujących go kulturach autochtonicznych³⁸. Wiele miejsca poświęca także życiu polskiej diaspory, natomiast Rosjanie są tam tylko dość dalekim tłem. Wynika to zapewne z obopólnej niechęci – wiadomo, że do końca funkcjonowania polskiej enklawy w Tuncie znaczna część mieszkańców oraz urzędników odnosiła się do Polaków wrogo³⁹. Księża jednak często pracowali u miejscowych rybaków i handlarzy, nie było więc mowy o braku kontaktów⁴⁰ – to, że Kulaszyński ich nie opisuje, świadczy raczej o tym, że kontakty takie traktowano jako zło konieczne, stosunków z Rosjanami nie zacieśniano, a oni sami nie byli traktowani jako podmiot etnograficznego czy też zwyczajnie ludzkiego zainteresowania. Kulaszyński w nielicznych wzmiankach przedstawia mieszkańców Syberii raczej neutralnie – jako ludzi prostych czy nawet prymitywnych, ale nie tyle na podstawie cech charakteru, co raczej za sprawą warunków, w których przyszło im żyć⁴¹. Ta ocena zaostrza się diametralnie tylko raz, gdy relacjonuje morderstwo, jakiego nieznani sprawcy dopuścili się na jednym z księży⁴². Jednak wydarzenie to, podobnie jak i inne sporadyczne napady rabunkowe, do których

³⁶ Szerzej: A. Niewiara, op. cit., s. 133–134.

³⁷ Ibidem, s. 134–136.

³⁸ M. Kulaszyński, *Tunka...*, s. 16, 18–19 i n.

³⁹ Por. E. Niebielski, *Tunka. Duchowni na zesłaniu...*, s. 52–53.

⁴⁰ Niektórzy też pracowali na własną rękę. Tak na przykład S. Matraś był rolnikiem, ale wśród polskich księży w Tuncie z czasem znaleźli się nawet właściciele sklepów czy jubilerzy, por. E. Niebielski, *Losy duchownych zesłanych do syberyjskiej Tunki w okolicach Bajkału (1866–1901)*, [online] <www.pan-ol.lublin.pl/biul_11/art_1116.htm>. Na ten temat również: J. Ziółek, op. cit., s. 132.

⁴¹ M. Kulaszyński, *Trzy pisma...*, s. 69.

⁴² M. Kulaszyński, *Tunka...*, s. 51.

wówczas dochodziło, wydają się nie wpływać w jakiś zasadniczy sposób na całościową ocenę mieszkańców dalekiej Rosji.

Edward Nowakowski z jednej strony wystawia niezwykle surową ocenę Sybirakom, którzy ubolewali nad faktem, iż władze nie pozwalają im na przeprowadzanie swoistego rodzaju eutanazji wobec ludzi starych i zniedołężniałych, rzekomo będących poważnym obciążeniem dla społeczności⁴³, podkreśla bestialskie wręcz okrucieństwo Buriatów⁴⁴, z drugiej jednak strony sprawiedliwie charakteryzuje przedstawicieli władzy w Tuncie jako ludzi uprzejmych i kulturalnych⁴⁵.

Z kolei Stanisław Matraś opisuje Sybiraków jako „miłosiernych, litościwych i wyrozumiałych na niedolę skazańców i wspierających ich w potrzebie”⁴⁶. Równocześnie jednak mieszkańców Sławianoserbska przedstawia jako złorzeczących Polakom, opluwających ich na każdym kroku i przeważnie wrogich⁴⁷. Ocena Matrasia jest bardzo wyważona – pisze on, że podczas podróży na Wschód polscy zesłańcy spotykali bardzo różnych ludzi – od jednych otrzymywali życzliwą pomoc, od innych wrogość i nienawiść. Często jednak podkreśla obojętność i bezduszość carskich żołnierzy, a nierzadko bezinteresowną złośliwość, gdy np. łączyli w jedną grupę skazanych Polaków i zbrodniarzy. Rosyjscy więźniowie, stale dybiący na życie i skromny majątek polskich zesłańców, najbardziej odpowiadają w opisie autora *Podróży do Syberii* stereotypowi Rosjani na prymitywnego, zepsutego, okrutnego i pozbawionego zasad moralnych⁴⁸. Niejednoznaczny jest stosunek Matrasia do napotykanych po drodze *brodiagów*, skazańców uciekających z rosyjskich więzień i zmierzających ku europejskiej części kraju. Pewna wspólnota losu sprawia, że autor ów odczuwa do nich nić sympatii, z drugiej jednak strony nie ma większych złudzeń co do tego, że są to z reguły groźni rabusie i mordercy⁴⁹. Ludzie ci nie wylewają też za kołnierz, podobnie zresztą jak inni przedstawiciele rosyjskiej nacji – w oczach wszystkich omawianych autorów stereotyp pijaństwa, jako cechy narodowej Rosjan, znajduje jak najbardziej swoje uzasadnienie. Matraś wzmiankuje o pijaństwie wśród przestępców oraz żołnierzy, ale najbardziej bulwersuje go nadmierna skłonność do wódki prawosławnych duchownych. Kwestia ta pojawia się w jego wspomnieniach wielokrotnie, zaś autor szczegółowo relacjonuje tragikomiczne incydenty

⁴³ E. Nowakowski, op. cit., s. 20–21.

⁴⁴ Ibidem, s. 5.

⁴⁵ Ibidem, s. 36–37.

⁴⁶ S. Matraś, op. cit., s. 120.

⁴⁷ Ibidem, s. 296–297.

⁴⁸ Ibidem, s. 135–138, 147.

⁴⁹ Ibidem, s. 148.

z udziałem pijanych popów i diakonów⁵⁰. O tym samym wspomina zresztą Feliński⁵¹. Matraś zauważa, że prawosławny kler dotknęła nie tylko plaga pijaństwa, ale także cechuje go nieuczciwość, skłonność do przywłaszczania sobie cudzej własności oraz zwykła pazerność i chciwość⁵². Daje tu o sobie znać z jednej strony utrwalony wizerunek Rosjanina jako pijaka, oszusta i złodzieja, a z drugiej – naturalny zapewne (w szczególności u księdza katolickiego) niechętny stosunek do obrządku wschodniego. Matraś daje wyraz tej nieufności, eksponując grzeszne zachowania popów i podkreślając na poły pogańską obyczajowość prawosławnej ludności⁵³.

Edward Nowakowski oraz Mikołaj Kulaszyński także wyraźnie nie uchronili się przed typowym dla ówczesnych zesłańców, a w szczególności księży, postrzeganiem prawosławia jako religii gorszej, niedoskonalej, fałszywej i schizmatycznej w stosunku do katolicyzmu⁵⁴. I tak na przykład działalność misjonarską prowadzoną przez prawosławnych księży wśród syberyjskich autochtónów ten drugi autor interpretuje po pierwsze jako przejaw „moskiewskiego absolutyzmu”, a po drugie jako zajęcie intratne dla samych duchownych (uposażenie uzależnione było od liczby ochrzczonych), odmawiając tym działaniom głębszej podbudowy duchowej. Kulaszyński szczegółowo rozwodzi się nad powierzchowną spektakularnością obrządku wschodniego, która jakoby przyciąga tubylców jedynie swoim kolorytem, piętnuje także rozdawanie prezentów neofitom⁵⁵. Nie zastanawiając się nad tym, że w tym samym czasie sposób prowadzenia misji rzymskokatolickich w różnych zakątkach świata wyglądał z grubsza tak samo, autor ów ulega łatwemu i utrwalonemu stereotypowi o sztuczności, nadmiernej formalności i powierzchowności prawosławia (w porównaniu, rzecz jasna, do Kościoła zachodniego). Sam pop przedstawiany jest jako cynik, oportunist, materialista, do tego na ogół alkoholik lub przynajmniej człowiek regularnie zaglądający do kieliszka, co zresztą jest obrazem dość powszechnym w XIX-wiecznej literaturze zesłańczej⁵⁶.

Skłonność do pijaństwa, jako zasadnicza cecha przypisywana Rosjanom, łączyła się z reguły z ogólnym prymitywizmem, ociężałością umysłową, brakiem inteligencji, a w skrajnych obrazach – wręcz zezwierzęceniem. Zygmunt

⁵⁰ Ibidem, s. 198.

⁵¹ Por. Z. Feliński, *Pamiętniki...*, cz. 1, s. 22.

⁵² Por. S. Matraś, op. cit., s. 202.

⁵³ Ibidem, s. 306–308.

⁵⁴ E. Nowakowski twierdzi nawet, że „Rosjanie nienawidzą w Polakach katolicyzmu”, zob. E. Nowakowski, op. cit., s. 24. Por. także: M. Cybulski, *Rosja i Rosjanie w pamiętnikach Polaków...*, s. 149–153.

⁵⁵ Por. M. Kulaszyński, *Trzy pisma...*, s. 64–66; także: E. Nowakowski, op. cit., s. 8.

⁵⁶ Zob. M. Cybulski, *Rosja i Rosjanie w pamiętnikach Polaków...*, s. 147–149.

Feliński dobitnie akcentuje ten wzorzec w swoich *Pamiętnikach*, a niektóre z anegdot o głupocie Rosjan, jakie przytacza, w zasadzie nie spełniają nawet minimalnych kryteriów prawdopodobieństwa, będąc raczej elementem polskiej kultury popularnej czasów zaborów niż odzwierciedleniem faktycznych postaw i sytuacji życiowych⁵⁷.

Z prymitywizmem i głupotą stereotypowych Rosjan łączy się ich skłonność do złodziejstwa i powszechna nieuczciwość. Stanisław Matraś znów koncentruje się tu przede wszystkim na prawosławnych duchownych, przytaczając relacje o popach kradnących srebrne monety, jak również opisywane w gazetach przypadki morderstw dokonywanych przez diakonów w celach rabunkowych⁵⁸. O podobnych wydarzeniach donosi Mikołaj Kulaszyński⁵⁹. Autor ten hołduje obrazowi Rosjanina nieuczciwego i skłonnego do oszustw także w *Powieści Mikiszki*, gdzie wykreowany przezeń bohater reprezentuje następujący pogląd na własność prywatną (w tym przypadku myśliwskie wnyki):

kiedy sam zwiedzał cudze sidła, uczuwał przestrah, aby nie być pochwyconym, kiedy zaś inni chodzili do jego, uczuwał wielkie oburzenie i żądzę nieprzewycięzoną, aby pochwycić i obić gwałciciela cudzych praw.⁶⁰

Ta szczególna „moralność Kalego”, reprezentowana przez Mikiszkę, wpisuje się ponownie w zestaw tradycyjnych cech przypisywanych Rosjanom, na które składały się: skłonność do zdrady i oszustwa, nieuczciwość, złodziejstwo, brak kręgosłupa moralnego⁶¹. Mieszkańcy Tunki w ogóle przedstawieni są jako wyjątkowo skażeni moralnie, czego dowodzi scena symbolicznego Sądu Ostatecznego, na który trafia wspomniany bohater:

U wszystkich innych ludzi dobro i zło mniej więcej się równoważy, u jednych mieszkańców Tunki tak wiele bywa grzechów, że Bohdyhan kazał zrobić oddzielne wagi z ogromnymi talerzykami.⁶²

Oczywiście nie można zapominać, że ta część *Trzech pism* ma charakter zdecydowanie beletrystyczny, skłaniający do przesadnej ekspresji i literackiego uwypuklania niektórych wątków, trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że pod

⁵⁷ Por. Z. Feliński, *Pamiętniki...*, cz. 1, s. 22–33 i n.

⁵⁸ Por. S. Matraś, op. cit., s. 202, 306–308.

⁵⁹ M. Kulaszyński, *Tunka...*, s. 51.

⁶⁰ M. Kulaszyński, *Trzy pisma...*, s. 120.

⁶¹ Por. także: A. Niewiara, op. cit., s. 134–136.

⁶² Ibidem, s. 144.

pozorem na półzartobliwej przypowieści Kulaszyński przedstawił dość przygnębiający obraz syberyjskiego społeczeństwa, składającego się w dużej mierze ze złodziei, pijaków, oszustów, a nawet zbrodniarzy.

Do stereotypu chytrości, nieuczciwości i zupełnie niepowstrzymanego zezwierżenia w rabowaniu i niszczeniu odwołuje się także w *Pamiętnikach* Zygmunt Feliński, choć znów są to zasłyszane przezeń opowieści z czasów powstania listopadowego, a nie z okresu własnego wygnania⁶³. Jednak w innym miejscu arcybiskup wyraźnie sugeruje, że Rosjanie posiadają pewne wrodzone cechy, które decydują o ich niższym umiejscowieniu w hierarchii cywilizacyjnej:

Chciwość i pijaństwo stanowiły tak powszechną narodową wadę, że nie tajono się nawet z tymi skłonnościami, posuwając środki nabycia do takiej bezczelności, o jakiej cywilizowane społeczeństwa pojęcia nawet nie mają.⁶⁴

Feliński pisze, że nie sposób rozwikłać „sumienie ówczesnego Moskala”⁶⁵, przedstawiając psychiczny portret Rosjanina jako obszar dziwny, niezrozumiały, dziki i budzący obawę – tym samym odwołuje się wyraźnie do zadawnionego mitu Azjaty, przedstawiciela obcej, egzotycznej i niezrozumiałej kultury, która wytworzyła umysłowość niepojętą dla Polaka i Europejczyka⁶⁶. O zasadniczej niechęci Felińskiego do Rosjan najlepiej świadczy fakt, że wkrótce po przybyciu na miejsce zesłania dobrowolnie i intencjonalnie zrezygnował on z nawiązywania jakichkolwiek kontaktów towarzyskich, skazując się zresztą tym samym na długie lata spędzone w samotności, jeśli nie liczyć relacji ze szczupłym gronem przebywających w Jarosławiu (miejscu zesłania Felińskiego) Polaków⁶⁷.

Nie oznacza to, że wizerunek Rosjan w omawianej twórczości jest jednoznacznie negatywny – wspomniano zresztą wcześniej, że szczególnie Stanisław Matraś reprezentował w tym względzie pogląd mocno wyważony. I tak, dość pozytywnie opisuje on gubernatora wschodniej Syberii, generała Michała Korsakowa, który umożliwił polskim zesłańcom spotkanie z księdzem katolickim w okresie wielkanocnym, a także pozwolił na uczestnictwo we mszy świętej i spowiedzi. Inną pozytywną postacią jest rosyjski żandarm, pułkownik Duwing, który starał się w miarę możliwości ułatwić zesłańcom niedogodności związane z podróżą etapami. Wreszcie Matraś z sentymentem wspomina gubernatora

⁶³ Por. Z. Feliński, *Pamiętniki...*, cz. 1, s. 73.

⁶⁴ Ibidem, s. 160.

⁶⁵ Ibidem, s. 162.

⁶⁶ Feliński usiłuje zresztą ową niższość cywilizacyjną Rosjan wykazać na gruncie historiozoficznym – ibidem, s. 209–218.

⁶⁷ Z. Feliński, *Pamiętniki...*, cz. 2, s. 287.

tobolskiego, Aleksandra Despot-Zenowicza, jako urzędnika, który zwalczał nieprawidłowości wśród strażników i starał się o poprawę traktowania polskich zesłańców⁶⁸. Ten zasymilowany Polak pozytywnie zapisał się zresztą we wspomnieniach większości zesłańców postyczniowych⁶⁹. Wreszcie nawet zasadniczo negatywnie nastawiony do Rosjan Feliński nie kryje szacunku i podziwu dla mądrości, rozsądku i kultury osobistej Aleksandra II⁷⁰. Jednak to właśnie w przypadku księdza Matrasia mamy do czynienia z najbardziej zróżnicowanym obrazem Rosjan i w zasadzie tylko w jego przypadku można mówić o pewnej próbie przełamania negatywnego stereotypu. Autor ten wyraźnie unika ocen jednoznacznych, fanatycznych czy krzywdzących, ale z drugiej strony nie stara się usprawiedliwiać bezzasadnego okrucieństwa i nieuczciwości wielu Rosjan, których napotkał. Jednocześnie dostrzega jednak pracowitość, gościnność i przychylność wielu osób – zarówno zwykłych mieszkańców wsi, jak i przedstawicieli władzy. Matraś cechuje się szerokim spojrzeniem na problem – mimo niezaprzeczalnego dramatu, jakim było zesłanie, nie traci ciekawości świata, umiejętności dostrzegania pozytywnych cech odmiennej kultury czy wreszcie najzwyklejszych przejawów człowieczeństwa. Także dość nieliczne opinie Mikołaja Kuluszyńskiego na temat Rosjan nie są dyktowane zapalczywą niechęcią czy nienawiścią, choć wyraźny cień na ten względnie wyważony obraz rzuca silna negacja prawosławia i skłonność do szczególnego eksponowania niskiego poziomu moralnego, nieuczciwości i pijaństwa wśród duchownych. Również wspomniany obraz syberyjskiej ludności, jaki wykreowany został w beletrystycznej części *Trzech pism z wygnania*, jednoznacznie nawiązuje do utrwalonego, dawnego stereotypu Rosjanina jako człowieka prymitywnego, nieuczciwego, niemoralnego.

Wspomnienia księży zesłanych na wschód Rosji po powstaniu styczniowym przynoszą także obrazy Rosji jako państwa i kraju. Stosunkowo najmniej danych na ten temat dają *Pamiętniki* Felińskiego. Mimo że arcybiskup spędził w Rosji dziesiątki lat (nie tylko na zesłaniu, ale także w czasie studiów i pracy kapłańskiej w Moskwie i Petersburgu), to praktycznie nie opisuje on rosyjskich krajo-
brazów, kultury, obyczajów, ograniczając się do lakonicznych stwierdzeń, jak to, że okolice Jarosławia były „malownicze”⁷¹. Rozważania Felińskiego na temat Rosji odnoszą się raczej do jej państwowości i kwestii politycznych, omijając w zasadzie sferę geograficzną, przyrodniczą czy kulturową. Nieco miejsca autor

⁶⁸ Por. S. Matraś, op. cit., s. 124, 154–156.

⁶⁹ Pewnym wyjątkiem jest tu jedynie J. Gieysztor, *Pamiętniki Jakuba Gieyszтора z lat 1857–1865*, t. 2, Wilno 1913, s. 228–230.

⁷⁰ Por. Z. Feliński, *Pamiętniki...*, cz. 2, s. 136–139.

⁷¹ Ibidem, s. 286, 300.

poświęca także zagadnieniom ekonomicznym, opisując np. skomplikowany system monetarny Rosji lat 30. czy też analizując zacofany – jego zdaniem – przemysł rosyjski⁷². Z kolei reprezentacje Rosji jako tworu politycznego sprowadzają się przede wszystkim do podkreślania absolutystycznego i imperialnego charakteru państwa carskiego, którego celem jest podporządkowanie sobie jak największych obszarów geograficznych i wchłonięcie wszelkich autonomicznych żywiołów narodowych⁷³. Za immanentną cechą państwa rosyjskiego uważa Feliński antypolskość, którą w szerokim zakresie utożsamia z antykatolickością. W połączeniu z niechęcią do prawosławia tworzy się tu znany od stuleci stereotyp wschodniego imperium jako kraju azjatyckiego, zacofanego cywilizacyjnie, barbarzyńskiego, ale niezmiennie groźnego⁷⁴.

Na przeciwnym biegunie plasuje się twórczość Mikołaja Kulaszyńskiego, który z reportażową dokładnością opisuje okolice Tunki oraz pogranicza rosyjsko-mongolskiego, wyrażając fascynację pięknym i surowym krajobrazem, pełnym stepów, lasów i wielkich rzek⁷⁵. Autor ów opisuje wioski i sposób życia mieszkańców tych krain, ubogie domki, uprawy, pełną trudów (ale i technologicznego zacofania) codzienną egzystencję. Jego relacja ma sporą wartość etnograficzną i cechuje się dużym obiektywizmem⁷⁶. Niewiele natomiast pisze Kulaszyński o rosyjskim systemie państwowym, ograniczając się do dość standardowych wzmianek o surowości władz, absolutyzmie caratu czy wyrachowanej polityce gromadzenia duchownych w Tuncie w celu odizolowania ich od innych Polaków⁷⁷. W podobnym duchu pisze Matraś:

Rząd rosyjski, pragnąc zupełnie wykreślić z karty geograficznej nazwę Polski, Litwy, Żmudzi, Wołynia, Podola i Ukrainy i wcielić na zawsze wspomniane wyżej kraje do swego moskiewskiego państwa, postanowił zniszczyć materialnie i moralnie cały kraj polski [...].⁷⁸

Jednak wszędzie tam, gdzie autor ten opisuje zwykłych ludzi i ich kulturę, unika tego rodzaju nacechowania emocjonalnego. Także Edward Nowakowski nie oparł się pięknu malowniczych pejzaży rosyjskich, przez które przezierало wszak zawsze ponure widmo szpetnych osad syberyjskich:

⁷² Por. Z. Feliński, *Pamiętniki...*, cz. 1, s. 139, 158–159.

⁷³ Ibidem, s. 73.

⁷⁴ Ibidem, s. 77–83. Zob. także: J. Tazbir, *W pogoni za Europą*, Warszawa 1998, s. 119.

⁷⁵ Zob. M. Kulaszyński, *Tunka...*, s. 5–7 i n.

⁷⁶ Por. M. Kulaszyński, *Trzy pisma...*, s. 69–71.

⁷⁷ Ibidem, s. 72–73.

⁷⁸ S. Matraś, op. cit., s. 53.

Stamtąd rzeczywiście widok wspaniały, choć zaprawdę dziki i przykry; dziki, gdy się patrzy na same lasy i błyszczące jezior i rzek wody, przykry – gdy się spojrzy na wieś. [...] Bolesny zaprawdę widok!⁷⁹

Obraz Rosjan i Rosji wyłaniający się ze wspomnień omówionych tu autorów nie jest jednoznaczny, aczkolwiek ogólnie należałoby go nazwać względnie neutralnym ze skłonnościami do negatywnego stereotypizowania lub też wartościującym w sposób pejoratywny. Jeżeli chodzi o Felińskiego, to trzeba zaznaczyć, że w wizerunki Rosjan i Rosji obfituje przede wszystkim pierwsza część jego *Pamiętników*, a więc napisana co prawda na obczyźnie, ale odnosząca się do wydarzeń sprzed powstania styczniowego i zesłania. Feliński na ogół powiela tu stereotypy ugruntowane w polskiej świadomości zbiorowej jeszcze przed zaborem, a w ich czasie wzmocnione i utrwalone. Zgodnie z tym wizerunkiem, Rosjanie cechują się chciwością, nieuczciwością, okrucieństwem, skłonnością do pijaństwa, przekupnością, są niemoralni, prymitywni, zacofani, a ich duchowość jest powierzchowna i w gruncie rzeczy na poły pogańska. Okazjonalne pozytywne opinie nie wpływają na ten zasadniczy obraz, jaki wyłania się z pracy Felińskiego. Ogólny stereotyp jest tu negatywny i można go wpisać w romantyczny etos utożsamiający w dużej mierze postawę antyrosyjską z polskim patriotyzmem. Arcybiskup zdaje się także ignorować rosyjską kulturę, obyczaje, geografę, mimo że w kraju tym spędził znaczną część swojego życia. Chętniej pisze o zagadnieniach ekonomicznych i gospodarczych, ale z reguły wyraźnie postrzega Rosję przede wszystkim jako żywioł polityczny – zaborczy, nieprzejednany, autokratyczny – i na tym aspekcie w portretowaniu państwa się koncentruje. Różni to dzieło Felińskiego od innych autorów zesłańców, także duchownych, którzy często z etnograficzną ciekawością starali się portretować kraj, w którym przyszło im wbrew ich woli żyć.

Znacznie mniej jednoznaczny obraz Rosjan i Rosji wyłania się z prac Mikołaja Kulaszyńskiego. Co prawda i on odwołuje się do utrwalonego stereotypu Rosjanina – pijaka, złodzieja, oszusta (w szczególności piętnując upadek moralny księży prawosławnych), jednak tematyka ta ma w jego utworach znaczenie marginalne, toteż nie odbiera się sądów autora jako apriorycznie antyrosyjskich. Kulaszyński zachwyca się natomiast pięknym i dzikim krajobrazem Rosji, choć budzi on w nim poczucie przytłoczenia i melancholii. Są to reprezentacje obecne także w innych utworach zesłańców postyczniowych, jak i w ogóle w większości pamiętników polskich drugiej połowy XIX wieku⁸⁰. Jednak prace Kulaszyńskiego

⁷⁹ E. Nowakowski, op. cit., s. 3–4.

⁸⁰ Zob. M. Cybulski, *Rosja i Rosjanie w pamiętnikach Polaków...*, s. 112–213.

odróżniają się tu stosunkowo dużym wyważeniem emocjonalnym. Tym samym obraz Rosji i Rosjan, jaki wyłania się z lektury *Tunki i jej okolic* oraz *Trzech pism z wygnania*, nie przełamuje co prawda negatywnego stereotypu Rosji i Rosjanina ujmowanego z perspektywy zesłańczej, ale w wyraźny sposób osłabia go, przenosząc główny akcent zainteresowania na wymiar reportażowy i etnograficzny.

Najbliższy przełamania negatywnego stereotypu wydaje się Stanisław Matraś. Jego wizerunek Rosji i Rosjan jest stosunkowo obiektywny, przynajmniej na tyle, na ile pozwalała na to sytuacja więźnia i zesłańca. Autor ów dostrzega wiele negatywnych cech w społeczeństwie rosyjskim, ale nie pomija także tych pozytywnych. Daleki jest od jednoznacznego potępienia całego rosyjskiego społeczeństwa, choć oczywiście dostrzega niesprawiedliwość poczynań carskiej władzy. Obraz rosyjskiego narodu jest w jego twórczości ambiwalentny, nie ciężą nad nim jednoznaczne uprzedzenia, przez co można przypuszczać, że jest on po prostu najbliższy prawdzie.

Резюме

Польские священники-ссылные о России (после Январского восстания)

Статья посвящена проблеме восприятия России и россиян в литературном творчестве польских католических священников, сосланных после Январского восстания в Российскую империю. Согласно общим оценкам, в Россию было сослано около шестисот польских священников, так или иначе связанных с восстанием 1863 года. Наиболее известными священниками-ссылными, литературное наследие которых дошло до наших дней, являются: Николай Куляшинский, Станислав Матраś, Эдвард Новаковский и Зигмунт Щенśный Фелинский. Именно этим литераторам посвящена данная статья, концентрирующая внимание на стереотипе россиянина и России. Автор статьи анализирует следующие составляющие стереотипа: национальная номенклатура, психологические и характерологические черты, физические характеристики россиян и общий образ России как государства и страны.

Summary

Polish priests-exiles about Russia (after the January Uprising)

The given article is devoted to the problem of the perception of Russia and the Russians in Polish Catholic priests' literary work, exiled after the January Uprising to the Russian Empire. As commonly assessed, exile to Russia affected about six hundred Polish clergymen, in one way or another connected to the insurrectionary move of 1863. The most famous priest-exiles, whose literary legacy has survived to this day, are: Mikołaj Kulaszyński, Stanisław Matraś, Edward

Nowakowski and Zygmunt Szczęśny Feliński. A present article was devoted to it is for these writers, and is concentrating on the stereotype of the Russians and Russia. The text includes the following aspects one by one: national nomenclature, psychological and characterological features, physical properties of the Russians and the general image of Russia as the state and the country.

Key words: Polish priests, exile, Siberia, memoires, stereotype of Russia and the Russians.

Monika Grącka
Uniwersytet Warszawski

**Myśl narodnicka a polski ruch niepodległościowy.
Powstanie styczniowe w prozie
Nikołaja N. Złatowratskiego**

*Czego szukamy? Czego chcemy?
Tego samego, czego chcą i szukają
wszyscy ludzie w każdej epoce i kraju:
Prawdy, Sprawiedliwości i Wolności*
M. Bakunin¹

Narodnictwo było w latach 70. XIX wieku dominującym nurtem rosyjskiej myśli społecznej. Pozostawiło trwałe ślady w filozofii, socjologii, historii i literaturze. Ideologia ta formowała się wokół dążeń do stworzenia sprawiedliwego systemu społecznego, opartego na równości i niezależności, który zapewnić miała tradycyjna forma kooperacji, jaką wyznaczała patriarchalna wspólnota gminna. „Rozwój ludzkości to chronologiczna niesprawiedliwość, ci bowiem, którzy przychodzą później, mogą korzystać z pracy poprzedników, nie płacąc tej samej co oni ceny [...]”. Lud rosyjski wszystko przecierpiał, lecz zachował gminę, gmina ocali lud rosyjski² – pisał już w latach 50. Aleksander Hercen, uważany za protoplastę narodnictwa³, a jego myśl szerzyła się i utrzymywała w teoriach właściwych ideologów ruchu: Michaiła Bakunina, Piotra Tkaczowa i Piotra Ławrowa. Rosja, ich zdaniem, poprzez zachowanie naturalnych struktur gminnych była szczególnie predestynowana do wcielenia w czyn sprawiedliwego ustroju z pominięciem typowej dla Zachodu kapitalistycznej drogi rozwoju.

Andrzej Walicki, uważany przez większość badaczy za autora prac poświęconych analizie doktryny narodnickiej będących najpełniejszym ujęciem rosyjskiej myśli społecznej, definiuje ją jako: „ideologię, którą charakteryzowało

¹ М. Бакунин, *Философия. Социология. Политика*, Москва 1989, с. 125, tłum. własne.

² А. Герцен, *Письма философичные. Эссе философичные. Россия и старый мир*, ред. А. Валicki, tłum. W. Bieńkowska, Warszawa 1966, t. 2, s. 225.

³ Zob. np.: J. Plechanow, *Wybór pism filozoficznych*, tłum. I. Oliwa, Warszawa 1951, s. 316.

szczególne połączenie burżuazyjnego demokratyzmu z tendencją antykapitalistyczną, występującą w postaci tak czy inaczej rozumianego socjalizmu, ale sprzężoną w istocie z tzw. ekonomicznym romantyzmem, tj. z retrospektywną utopią idealizującą gospodarkę przedkapitalistyczną i przedkapitalistyczny typ więzi społecznej⁴. Wskazuje on przy tym na fakt, że narodnictwo prezentowało sobą „dynamiczną strukturę ideologiczną, występującą w różnych wariantach i dającą się pogodzić z różnymi stanowiskami politycznymi”⁵. W imię „przyszłej szczęśliwości” opowiadano się za stopniową przemianą lub za konspiracją, edukacją i propagandą lub za terroryzmem i rychłym przygotowywaniem rewolucji ludowej, niemniej, jak dodaje Isaiah Berlin: „kamieniem węgielnym narodniczego humanizmu była wiara w ludzką wolność”⁶. Rolą Rosji, w przekonaniu narodników, było zatem zapoczątkowanie na świecie społecznych przemian gwarantujących sprawiedliwość, równość, braterstwo i ludzką godność. Tymczasem ta sama Rosja niewoliła naród polski i skutecznie tłumiła wszelkie dążenia Polaków do odzyskania niepodległości.

Przywódcy i teoretycy narodnictwa nie mogli zatem przejść obojętnie wobec ostatniego zrywu narodowowyzwoleńczego Polaków, jakim było powstanie styczniowe 1863 r., które przeżyli w młodości, tym bardziej że owo wydarzenie było wielkim wstrząsem dla zaborcy i pozostawiło trwałe ślady w życiu wewnętrznym Rosji. Z polskimi powstańcami działacze narodnicy spotykali się ponadto w więzieniach, na katordze, na dalekiej Syberii. Kontakty te wciąż skłaniały do rozmyślań nad tragedią zniewolonego narodu. Pisarz i publicysta narodnicki Wasilij Berwi-Flerowski w pamiętnikach z lat zesłania pisał: „Wy ośmieliliście się marzyć, że znów wywalczyście sobie wolną ojczyznę, że ta ojczyzna znów zabłyśnie jasną gwiazdą między wielkimi narodami – a oto czego doczekaliście. Szczęśliwi ci spośród was, którzy padli na polu walki, oni znaleźli wieczny pokój wśród nadziei i entuzjazmu, a wy? [...] Wy długo byliście wielkimi pochodniami w historii narodów, pochodniami wolności i oświaty i to wszystko straciliście z woli losu”⁷. Powstanie postrzegał Flerowski jako bezpośrednią przyczynę agonii polskiej narodowości zdeptanej przez despotyczną władzę carską i jej wykonawców w postaci osławionego ciemnizy polski Michaiła Murawjowa, lecz Rosjanom za wzór stawiał godność, z jaką przez długie lata umierali Polacy pod jarzmem zaborcy⁸.

⁴ A. Walicki, *Rosyjska filozofia i myśl społeczna. Od oświecenia do marksizmu*, Warszawa 1972, s. 329.

⁵ Ibidem, s. 329.

⁶ I. Berlin, *Rosyjscy myśliciele*, tłum. S. Kowalski, Warszawa 2003, s. 231.

⁷ В.В. Берви (Н. Флеровский), *Воспоминания*, „Голос минувшего” 1915, nr 7–8, s. 112.

⁸ Ibidem, s. 123.

Inny działacz narodnicki, pisarz i publicysta Iwan Bielokonski, w swoich wspomnieniach z zesłania na Syberię podkreślił pomoc, jaką niejednokrotnie służyli polscy zesłańcy nowym towarzyszom niedoli: „ze wszystkimi polskimi zesłańcami politycznymi z 1863 roku byliśmy w najlepszych stosunkach [...]. (Polacy) odróżniali rząd rosyjski od narodu rosyjskiego, a zwłaszcza inteligencji i [...] zawsze po przyjacielsku odnosili się do nas. [...] Wszelkie trudności życiowe i długie lata zesłania nie zabiły ich ideowości i polscy przestępcy polityczni przyjęli nas, rosyjskich przestępców politycznych, jak bliskich swoich towarzyszy i okazywali nam nieocenione przysługi”⁹.

Postawa Polaków w walce o niepodległość budziła wśród narodników szacunek. Wielu działaczy, jak Berwi-Flerowski czy poetka Wiera Figner, przyznawało wręcz, że kontakty z Polakami zaważyły na kształtowaniu ich świadomości społecznej¹⁰, jednak teoretycy i ideolodzy ruchu nie mieli jasno sprecyzowanych poglądów na rok 1863. Rozwijając wielką ideę rewolucji społecznej, zmierzali do tego, by połączyć wszystkie siły uciskanych przez carat ludów (w tym Polaków) w walce przeciwko samowładztwu, lecz nie potrafili rozwiązać problemu ruchów narodowych.

Gorącym zwolennikiem rosyjsko-polskiego sojuszu rewolucyjnego był już Aleksander Hercen, uważany za największego rzecznika sprawy polskiej. Wielokrotnie powtarzał on, że niepodległość Polski jest koniecznym warunkiem wyzwolenia Rosji i zwycięstwa rosyjskiego socjalizmu. W ulotce *Polacy przebaczą nam!*, napisanej na początku wojny krymskiej i rozpowszechnianej w rosyjskim wojsku, wskazywał na moralną wielkość sprawy polskiej, przypominał entuzjazm, z jakim narody Europy witały pokonanych uczestników powstania listopadowego, apelował do braterstwa ogólnosłowiańskiego i wzywał żołnierzy rosyjskich do dalszej wspólnej z Polakami walki pod hasłem „za naszą wolność i naszą”. Dalej jednak wywody Hercena przypominały już bardziej konwencjonalne opinie rosyjskie. Jego zdaniem, utrata przez Polskę państwowości była karą za wyobcowanie ze świata słowiańskiego, spowodowane jej „za-

⁹ И.П. Белоконский, *День времени – Воспоминания*, Москва 1928, s. 311–312. Z kolei w memuarystyce polskiej istnieje wiele świadectw przychylnego stosunku Rosjan do zesłanych uczestników powstania styczniowego. Jeden z nich pisał: „Zawsze, w każdym razie i wszędzie Polak zesłaniec był wielce poważany [...], w każdym domu gościnnie i z pewnym szacunkiem przyjmowany” (S. Półkoźic-Plichta, *Pamiętniki z czasów 1863–1873*, Warszawa – Kraków 1911, s. 138). Zob. o tym m.in.: T. Książek, *Demokraci rosyjscy wobec powstania styczniowego*, „Życie i Myśl” 1962, nr 11/12, s. 175–184.

¹⁰ Zob. o tym: Z. Barański, *Powstanie styczniowe w literaturze rosyjskiej*, [w:] *Dziedzictwo literackie powstania styczniowego*, red. J. Jakubowski, J. Kulczycka-Saloni, Warszawa 1964, s. 539–541. Zob. też: А.Ф. Смирнов, *Революционные связи народов России и Польши – 30–60 годы XIX века*, Москва 1962, s. 347.

chodnim arystokratyzmem” i „oddaniem papieżowi”¹¹. Składając hołd Polsce, podkreślał jednocześnie, że istotne znaczenie dla przyszłości świata ma jedynie „kwestia rosyjska”. Na jego ambiwalentny stosunek wobec walki narodowowyzwoleńczej w Polsce miało wpływ przekonanie, iż polski ruch niepodległościowy był ruchem *stricte* politycznym, podczas gdy w Rosji koncentrował się on wokół spraw społecznych. W artykule pisanym dla organu Demokratycznego Towarzystwa Polskiego (i opublikowanym po raz pierwszy w języku polskim) Hercen pisał: „Myśl rewolucyjna obecna – to Socjalizm. Bez socjalizmu, nie ma rewolucji. Bez niego jest tylko Reakcja – czy to monarchistyczna lub demagogiczna, zachowawcza, katolicka czy republikańska. Stąd socjalizm ma dla nas daleko więcej pociągu nad te wszystkie piękne teorie równouprawnienia władz i równowagi rządów. [...] Socjalizm odprowadza nas do naszej zagrody wiejskiej”¹²; jest wizją „nowego świata”. Polska zaś, zdaniem Hercena, była jedynym krajem słowiańskim posiadającym wielką przeszłość i z tego powodu zainteresowanym w zachowaniu „starego świata”. W obszernej polemice z „Przeglądem Rzeczy Polskich”, zatytułowanej *Rosja i Polska* (1859–1860), filozof ten odrzucał postulat wycofania się Rosji z jej „bezprawnie zagarniętych posiadłości”, argumentując: „Wszystkie państwa na świecie powstały w sposób nader bezprawny i dzięki przemocy [...]. Jeśli będziemy rozczłonkować państwa na podstawie ich bezprawnego wzrostu, jedno tylko pozostanie w swoich granicach niczym Kuźma Bezinteresowny, który nic nie zdobywał – republika San Marino”¹³.

Gdy we wrześniu 1862 r. przedstawiciele Polskiego Komitetu Narodowego przygotowującego powstanie (Agaton Giller, Zygmunt Padlewski i Włodzimierz Miłowicz) przybyli do Londynu, aby zawrzeć umowę z redakcją „Koło koła”, sprawą sporną wbrew obawom Hercena nie okazała się kwestia chłopska, gdyż Polacy obiecali przyznanie prawa włościanom do uprawianej przez nich ziemi, lecz polityczna i narodowa. Strona polska domagała się przywrócenia dawnej Rzeczypospolitej (uznania granic z 1772 r.), uważając wszelkie inne rozwiązania za usankcjonowanie rozbiorów. Ostatecznie delegaci zaakceptowali zasadę samookreślenia narodów, takich jak Litwa, Ukraina, Białoruś, do prowincji i porozumienie zostało zawarte, jednak wzajemna narodowa nieufność pozostała.

Hercen poparł powstanie styczniowe ze względów moralnych: „Wobec strzałów do księży i dzieci, do krucyfiksów i kobiet, wobec strzałów do hymnów i modlitw, zatarły się wszelkie różnice...” – pisał. Jednak do końca nie wierzył ani w sukces powstania polskiego, ani w to, że rewolucjoniści obu krajów mogą

¹¹ Zob. A. Герцен, *Собрание сочинений*, Москва 1954–1966, t. 7, s. 89–90.

¹² Ibidem, s. 60 (*Do Redakcji „Demokraty Polskiego”*).

¹³ A. Hercen, *Pisma filozoficzne...*, s. 359.

zjednoczyć się w walce o prawdziwie wspólne cele. W myśl porozumienia ze stroną polską postanowił doradzać oficerom rosyjskim, aby pomagali Polakom bez łączenia się z nimi, zachowując odrębną, rosyjską tożsamość¹⁴. W pamiętnikach pisanych pod koniec życia przedstawił całą historię rewolucyjnego sojuszu rosyjsko-polskiego jako serię niepowodzeń i rozczarowań wynikającą z głębokich i w istocie nieprzezwycięzalnych różnic między oboma narodami: „Prywatnie, osobiście mogliśmy lubić tego czy innego Polaka i zbliżyć się do nich, ogólnie jednak biorąc, niewiele było między nami jednomyślności w ujmowaniu rzeczy; toteż stosunki nasze były naprężone, rzetelnie nieszczerze: robiliśmy sobie nawzajem ustępstwa, innymi słowy – osłabialiśmy siebie, uszczuplając się wzajemnie w swych najlepszych bodaj siłach. Dogadać się do jednakowego rozumienia rzeczy było niepodobieństwem. Wychodziliśmy z różnych stanowisk – i drogi nasze przecinały się tylko w punkcie wspólnej nienawiści do samowładztwa petersburskiego. Ideał Polaków był poza nimi: szli ku swej przeszłości, przemocą uciętej, i tylko stamtąd mogli odbywać dalej swą drogę. Oni mieli mnóstwo relikwii, my – puste kolebki. We wszystkich ich działaniach i w całej ich poezji jest tyleż rozpacz, co wiary gorącej. Oni dążą do wskrzeszenia zmarłych, my chcemy jak najprędzej pogrzebać swoich. Formy naszego myślenia i nadzieje nasze są inne; nasz duch narodowy, cały skład naszej umysłowości nie wykazuje żadnych podobieństw z nimi. Nasz związek z nimi wydawał się im ni to mezaliansem, ni to małżeństwem z rozsądku. Z naszej strony było więcej szczerości, ale nie więcej głębi; zdawaliśmy sobie sprawę ze swej winy pośredniej, kochaliśmy ich odwagę i szanowali ich nieugięty protest. Cóż oni mogli w nas kochać? Co szanować? Przełamywali siebie, zbliżając się do nas; dla kilku Rosjan robili zaszczytny wyjątek”¹⁵.

Nigdy nie żywił złudzeń co do uczuć, jakimi Polacy obdarzali Rosjan, również Michaił Bakunin. „Nie ma na świecie nic bardziej naturalnego, i można powiedzieć, bardziej uprawnionego, jak nienawiść Polaków do Rosjan” – pisał w jednej ze swych broszur i zaraz dodawał: „Za tę nienawiść i brak zaufania do nas nie mamy najmniejszego prawa gniewać się na nich. Od końca XVIII w. Rosjanie rękami carskiego Imperium pełnią funkcję knuta, uśmierzającego niepodległościowe dążenia polskiego narodu”¹⁶. Za zbrodniczą politykę caratu wo-

¹⁴ Zob.: A. Hercen, *Do oficerów rosyjskich w Polsce*, [w:] *Aleksander Hercen o powstaniu styczniowym*, red. L. Bazyłow, M. Wierchowski, Warszawa 1962, s. 130–136.

¹⁵ A. Hercen, *Rzeczy minione i rozmyślenia*, tłum. E. Słobodnikowa, Warszawa 1952, t. V, s. 180–181.

¹⁶ *Archives Bakounine*, t. IV: *Michel Bakounine et ses relations avec Sergej Nečaev. 1870–1872. Écrits et matériaux*, Introduction et annotations de Arthur Lehning, Leiden 1971, s. 13. Cyt za:

bec Polski Bakunin poczuwał się do osobistej odpowiedzialności, co potwierdził w przemowie, jaką wygłosił w 1847 r. w Paryżu na polskiej uroczystości poświęconej siedemnastej rocznicy powstania listopadowego. „Przyszedłem tu – oświadczył – pełen głębokiego poczucia odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie, podobnie jak na wszystkich moich rodakach, ponieważ honor jednostek jest ściśle związany z honorem narodu”¹⁷. Potwierdził dalej wszystkie opinie o Rosji jako kraju, w którym panuje „nieokiełznany, niczym nieograniczony, ohydny despotyzm”¹⁸. Walkę Polaków nazwał świętą i bohaterską, po czym wezwał ich do przymierza z Rosją, przekonując o konieczności zawiązania polsko-rosyjskiego rewolucyjnego sojuszu skierowanego przeciwko wspólnemu wrogowi: „Dzieci jednego szczepu, nasze losy są nierozłączne i nasza sprawa powinna być wspólna”¹⁹. Przemówienie zakończył słowami hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła”²⁰ wypowiedzianymi po polsku²¹.

Bakunin – pisze Antoni Kamiński – nie obrażał się, gdy Polacy kwestionowali szczerość jego intencji i z pogardą określali „Moskowitzą”. Bez zniecierpliwienia przyjmował nieufność i dyplomatyczną uprzejmość, jaką go niekiedy zbywano²². Ożenił się z Polką, Antoniną Kwiatkowską, którą poznał w Irkucku i zawsze z pasją oskarżał reżim carski za rozbiory oraz politykę rusyfikacyjną. Pod adresem Murawiowa, swojego dalekiego krewnego, słał najcięższe obelgi i pisał: „To my jesteśmy winni – i jeszcze jak winni! Powinniśmy wszystko znieść i czynem dowieść, że mamy prawo do braterstwa z nimi”²³. Mimo wszystko dla wielu Polaków stanowisko Bakunina nie było dość jednoznaczne.

A. Kamiński, *Nieodwzajemnione uczucie. Z dziejów recepcji myśli Michaiła Bakunina w Polsce*, [w:] *Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Część pierwsza*, red. L. Kiejzik, J. Uglik, Warszawa 2009, s. 85.

¹⁷ M. Bakunin, *Pisma wybrane*, tłum. B. Wścieklica, Z. Krzyżanowska, Warszawa 1965, t. I, s. 159.

¹⁸ Ibidem, s. 158.

¹⁹ Ibidem, s. 159.

²⁰ Ibidem, s. 160.

²¹ „Dziwna mowa – pisał w liście do Delfiny Potockiej Zygmunt Krasiński z charakterystyczną dla Polaków nieufnością – ponurą tchnie energią. Wzywa Polskę i Rosję do kojarzenia się, ale choć tego nie wypowiada, czuć, czuć, że miejsce, że pole zjednoczenia tych obu dążeń sprzecznych u niego, to wspólna rzeź szlachty przez ludy oba – czuć to. W moskiewskim duchu zawsze coś potwornie albo podłego, albo okrutnego. U nich dobroć wnet podłością, odwaga i siła wnet okrucieństwem, miary nigdy. Rytm barbarzyńcom niedostępną pięknnością, ale wielka jest oryginalność w tej całej mowie. Coś arcyśmiałego, nowego, nie masz frazesów, tylko pęd ciągły mocy pewnej, jakby nowo narodzonej, a przy tym wady wszystkich nowo narodzonych mającej, to jest ślepy instynkt gnający naprzód, poza wszystkie granice i każący rość, rość, choćby kosztem najświętszych praw ducha”. Z. Krasiński, *Listy do Delfiny Potockiej*, red. Z. Sudolskie, Warszawa 1975, t. III, s. 501–502.

²² Zob. A. Kamiński, op. cit., s. 86.

²³ M. Bakunin, *Pisma wybrane*..., s. 193.

I tym razem w wizji wielkiej Federacji Słowiańskiej kością niezgody pozostawała kwestia statusu Litwy, Ukrainy i Białorusi. Redaktora „Przeglądu Rzeczy Polskich” raziło na przykład przekonanie Bakunina o nierozdzielności losów Polski i Rosji, a wizja Federacji Słowiańskiej – pisał: „całkowicie odbiega od tej jaką my pojmujemy, za jaką walczyliśmy, za jaką cierpimy, umieramy i umierać pragniemy”²⁴.

Po porozumieniu Komitetu Narodowego z redakcją „Kołochoła” Bakunin osobiście zaangażował się w przygotowywanie powstania styczniowego. Spotykał się m.in. z Józefem Wysockim, Janem Amborskim, Zygmuntem Padlewskim²⁵. Uważał też za swój honorowy obowiązek wziąć udział w powstaniu i chociaż Polacy nie chcieli przyjąć go w swe zbrojne szeregi, z narażeniem życia uczestniczył w organizowaniu tzw. wyprawy Łapińskiego (nieudanego przedsięwzięcia desantowego, mającego wspomóc powstańców). Po upadku powstania Bakunin związał swe nadzieje z Włochami, a jego poglądy uległy daleko idącej radykalizacji. Sprawa uciemnionych narodów i wolności politycznej zeszła w jego światopoglądzie na dalszy plan, podporządkowana została bez reszty rewolucji chłopskiej w Rosji.

Piotr Ławrow był przede wszystkim myślicielem-teoretykiem, ale i on w swoich *Listach historycznych* (1868–1869), nazywanych „ewangelią narodników”²⁶, choć podzielał ogólne przekonanie o bezwzględnym prymacie celów „społecznych” przed „politycznymi”, wypowiedział się także z sprawach narodowościowych. *Listy* pisał na zesłaniu w guberni wołogodzkiej, posadzony o kontakty ze środowiskiem działaczy rewolucyjnych z kręgu pierwszej Ziemi i Woli. To tam zetknął się z zesłanymi za udział w powstaniu styczniowym Polakami, tam też poznał swoją drugą żonę – Polkę, Annę Czaplicką.

Narodowość, zdaniem Ławrowa, jest naturalnym produktem historii i posiada swe uzasadnione prawa, a pielęgnowanie narodowości jako samodzielnej i odrębnej całości jest zupełnie naturalne i słuszne. Wyrzec się jej ma prawo tylko ten, kto doszedł do wniosku, że narodowość, do której należy, związana

²⁴ *Odezwa Michała Bakunina*, „Przegląd Rzeczy Polskich” 1862, nr 24 (III), s. 18–19. Inna wpływowa dama – Dionizja Poniatowska pisała do Bohdana i Józefa Zaleskich: „jeśli nas kochają tylko jako przyszłych federalistów swoich, inaczej mówiąc, jako prowincję nie już z musu, lecz dobrowolnie przyłączoną do ich państwa, w którego ogromie oczywiście zatonęlibyśmy, lub jeśli nas kochają jako dziedziców jakiegoś kęsa ziemi na łasce ich potęgi zostającego zawsze, to niechże to Polacy wiedzą i jak głupi zwodzić się nie dają. Moskwa straszna nie jako wróg, ale jako przyjaciel”. *Listy Dyonizyji Poniatowskiej do Bohdana i Józefa Zaleskich*, Kraków 1900, t. II, s. 91.

²⁵ Zob. o tym: A. Kamiński, op. cit., s. 114.

²⁶ Zob. O. Аптекман, *Из истории революционного народничества Земля и Воля 70-х годов*, Петроград 1924, s. 40.

jest z czynnikami zastoju i reakcji. Każda narodowość – jak twierdził – w określonych warunkach swej historii ma prawo do sympatii myślicieli i ludzi krytycznie patrzących na świat, o ile urzeczywistnia w formach cywilizacji dążenie do prawdy i sprawiedliwości. Często jakiś naród nie może rozwinąć postępowych pierwiastków w swej cywilizacji wskutek ucisku wywieranego nań przez inny, walka z którym pochłania wszystkie jego siły. Okazanie pomocy takiemu narodowi, zdaniem Ławrowa, leży więc w interesie postępu, a dążności zaborcze i szowinistyczne są apostępowe i należy je z całą siłą potępić. Godny podtrzymania jest natomiast prawdziwy patriotyzm, który pragnie uczynić swój naród nosicielem kultury, przesiąkniętej ideałami prawdy i sprawiedliwości²⁷.

Wobec walki narodowowyzwoleńczej Polaków nie pozostał obojętny również Piotr Tkaczow. Jako teoretyk spiskowego (inaczej „jakobińskiego” czy „blankistowskiego”) nurtu wewnątrz narodnictwa, bardzo sobie cenił umiejętności konspiracyjne Polaków rozwinięte w okresie powstania styczniowego. O zainteresowaniu Tkaczowa historią polskiego ruchu rewolucyjnego wymownie świadczy jego artykuł *Narodowe towarzystwo patriotyczne w Polsce*²⁸. Montując na emigracji wspólny front rosyjsko-polski do walki przeciwko caratowi, ściśle współdziałał z „blankistowską” grupą Cerele Slave, na czele której stali Polacy: Kacper Turski i Karol Janicki. Razem z nimi rozpoczął wydawanie w Genewie czasopisma „Nabat”, głosząc w nim konieczność centralistycznej organizacji sił rewolucyjnych potrzebnej w działalności spiskowej. Do współpracy z redakcją zaprosił Tkaczow m.in. swojego przyjaciela polskiego działacza niepodległościowego, zasłużonego uczestnika powstania styczniowego Walerego Wróblewskiego.

Tak odważne działania i opinie w sprawie polskich ruchów niepodległościowych mogły zrodzić się jedynie z dala od Rosji²⁹, w której po stłumieniu powstania na zawsze zniknąć miały ślady autonomii Królestwa i nawet nazwy używano coraz rzadziej, stosując zamiast niej określenie „Kraj Nadwiślański”. Zaostrzone represje, aresztowania, zesłania i konfiskaty majątków, rusyfikowanie administracji, sądownictwa i szkolnictwa odbierały Polsce resztki państwowości i spychały na margines zainteresowania w ogólnej kwestii społecznej.

²⁷ Zob. M. Wawrykowa, *Rewolucyjne narodnictwo w latach siedemdziesiątych XIX wieku*, Warszawa 1963, s. 190. Zob. też: L. Kulczycki, *Od wędrówki w lud do upadku Narodowej Woli 1870–1886*, [w:] idem, *Rewolucja rosyjska*, Lwów 1911, t. II, s. 83.

²⁸ Zob. o tym: A. Walicki, op. cit., s. 339.

²⁹ Po opublikowaniu *Listów historycznych* P. Ławrowa w legalnym czasopiśmie „Niedziela” redakcja otrzymała od władz carskich pierwsze ostrzeżenie. Kiedy wyszły w formie książkowej, można było je wycofać jedynie na drodze sądowej, a tego władze nie chciały uczynić, by nie nadać im jeszcze większego rozgłosu.

Powstanie styczniowe zapoczątkowało długi okres reakcji politycznej w Rosji. Cenzura dławiła każde słowo współczucia lub sympatii pod adresem Polski, każde wystąpienie, które podważałoby w jakimkolwiek stopniu oficjalne poglądy na walkę narodowowyzwoleńczą³⁰. Aleksander Pypin zauważył, że powstanie styczniowe mogło być „przedmiotem dyskusji”, ale tylko w „oficjalnym tonie” zdecydowanego potępienia. W atmosferze reakcji już sam epitet „polski” był ciężkim obwinieniem³¹.

W Rosji rozpetano polakożerczą kampanię, której trybuną stało się czasopismo „Russkij wiestnik” redagowane przez Michaiła Katkowa. Jeszcze w latach 50. nie szczędził on deklaracji przychylnych Polsce i przyznawał jej prawo do swobód politycznych i narodowych, lecz po upadku powstania przeszedł do obozu skrajnej reakcji. Zaczął domagać się bezwzględnej rusyfikacji mniejszości narodowych i słać politykę Murawiowa, nazywając go mężem opatrnościowym całej Rosji³². Katkow stale ostrzegał przed „knowaniami” Polaków i zalecał czujność wobec „intrygi polskiej”: „Polska intryga – dowodził – nie zamarła po roku 1863. Ona tylko przeczaiła się. Nie występując osobiście na scenę, kontynuuje swoją działalność pośrednio przez rewolucjonistów rosyjskich. Jej ręka widoczna jest w studenckich zamieszkach; ona zaopatruje w pieniądze naszych nihilistów; ona wnosi stały ferment niezadowolenia”³³. Z pouczeń Katkowa czerpali natchnienie autorzy tzw. powieści antynihilistycznych (Wiktor Klusznikow, Wsiewołod Kriestowski), będących charakterystycznym przejawem antypolskiego nastawienia w obozie konserwatywnej literatury rosyjskiej. Postępowe czasopisma legalne bądź milczały, bądź uciekały się do języka Ezopa, omawiając wypadki w Polsce. Sympatie propolskie słabły. Czasy po powstaniu stanowiły trudną próbę dla rosyjskich demokratów i liberałów.

Wobec ambiwalentnego stosunku ideologii narodnickiej do walki narodowowyzwoleńczej Polaków liberalna literatura narodnicka, pochłonięta problemem stosunków społecznych w powułaszczeniowej wsi rosyjskiej, w atmosferze antypolskiej kampanii rzadko podejmowała tematykę polską. Krytyk i redaktor czasopisma „Mir bożyj” Angiel Bogdanowicz, związany z Polską pochodzeniem,

³⁰ Zob. Z. Barański, op. cit., s. 530.

³¹ Zob. A. Пыпин, *Польский вопрос в русской литературе*, „Вестник Европы” 1880, nr 2, s. 704.

³² Podobne zdanie wypowiadał m.in. Leon Tichomirow – początkowo rewolucjonista-narodnik, członek kółka „Czajkowów”, „Ziemli i Woli”, „Woli Narodu”, emigrant; później zagorzały monarcha (wrócił do Rosji w 1889 r.). Zob. idem, *Warszawa i Wilno w 1863 roku*, [w:] *Dusza polska i rosyjska (od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Solżenicyna)*, red. A. de Lazari, Warszawa 2004, s. 86–91.

³³ Cyt. za: E. Соловьев-Андреевич, *Очерки по истории русской литературы XIX века*, Москва 1923, s. 539–540.

załił się w liście do pisarza narodnika Gleba Uspienskiego: „Nas, Polaków, boli fakt, że Rosjanie, że nawet Gleb Iwanowicz, ignoruje tragedię 63 roku. Jeślibyście, panowie, pamiętali o tym, że szlachta rosyjska wyzyskuje chłopą rosyjskiego nie gorzej od Polaków, jeślibyście nie zapomnieli, że straty polskie z roku 63 wynoszą około 130 tysięcy zabitych, zaginionych bez wieści i zesłanych, jeślibyście nie zapomnieli, że do tej pory Apuchtinowie i Hurkowie³⁴ zadają nam cios za ciosem [...] wówczas żadne powody [...] nie mogłyby zmusić was do podtrzymywania w społeczeństwie rozpowszechnianych przez rząd fałszywych opinii o Polakach”³⁵.

Do tematu powstania styczniowego nawiązał w swojej twórczości inny pisarz narodnik – Nikołaj Złatowratski. Dorastał on w niewielkim powiatowym mieście Włodzimierzu, gdzie żywą pozostawała lokalna legenda o Hercenie, który przebywając tam na zesłaniu w latach 1838–1840, propagował w miejskiej gazecie „Gubernskije wiadomości” bogate zbiory tamtejszej biblioteki publicznej uchodzącej za centrum demokratycznej literatury i publicystyki³⁶. Światłą tradycję biblioteki we Włodzimierzu po prawie dwudziestu latach próbowali kontynuować ojciec Nikołaja Złatowratskiego z bratem Aleksandrem³⁷, a szesnastoletni wówczas gimnazjalista – przyszły pisarz – pomagał im w pracy i chłonał atmosferę społecznego zaangażowania. To wtedy, jak pisał później w swoich wspomnieniach, zetknął się po raz pierwszy z literaturą demokratyczną oraz „Kołokołem” Hercena³⁸, podejmującym również kwestię polskiej walki narodowowyzwoleńczej. Wielokrotnie potem na łamach prasy podkreślał Złatowratski demokratyczny rodowód swojej dojrzałej świadomości narodnika³⁹. Niestety, podobnie jak Hercen, nie potrafił on wyrwać się ze stereotypów myśle-

³⁴ Josif Hurko – generał-gubernator Królestwa Polskiego w latach 1883–1894. Wykorzystał swą nieograniczoną władzę do zwalczania wszelkich objawów ruchu niepodległościowego i niezależnej myśli politycznej, wprowadził najostrzejsze posunięcia rusyfikacyjne, m.in. język rosyjski do sądów, urzędów i szkół, a także do przedsięwzięć prywatnych; Aleksander Apuchtin – twórca zrussyfikowanego systemu szkolnictwa w Królestwie Polskim.

³⁵ Ч. Ветринский, *Глеб Успенский в его переписке*, „Голос минувшего” 1915, nr 7–8, s. 210.

³⁶ Swojemu pobytowi we Włodzimierzu poświęcił Hercen trzecią część dzieła *Rzeczy minione i rozmyślenia* (*Былое и думы*) zatytułowaną *Włodzimierz nad Kłazmą* (*Владимир-на-Клязьме*).

³⁷ Ową tradycję podkreślał artykuł w miejscowej gazecie, w którym w związku z planowanym przez ojca Nikołaja Złatowratskiego otwarciem biblioteki publicznej we Włodzimierzu przypomniano historię jej poprzedniczki i sugerowano, iż: „rok 1839 zamyka dzieje biblioteki publicznej we Włodzimierzu, zaś 1859 rok będzie rokiem jej odrodzenia”. „Владимирские губернские ведомости”, 6 июня 1859 г., tłum. własne.

³⁸ Zob. Н.Н. Златовратский, *Воспоминания*, Москва 1956, s. 83.

³⁹ Zob. Н. Оранский (Н.Н. Златовратский), *Народный вопрос в нашем обществе и литературе*, „Русское богатство” 1880, nr 3, s. 29. Zob. też: „Русский курьер” 1883, nr 170. Zob. też o tym: М. Kupłowski, *Ideologia narodnicka a literatura rosyjska w latach 1870–1890*, Kraków 1986, s. 36–37.

nia o Polakach i o powstaniu styczniowym jako o próbie wskrzeszenia umarłych cieni przeszłości, wskrzeszenia „starej Polski” z jej szlacheckimi przywilejami. Przy czym na gruncie literatury oficjalnej lat 70. podobne sądy, mimo że inne były ich przesłanki, w zasadzie nie różniły się od rządowej propagandy głoszącej, że walka Polaków o wolność była tylko „szlacheckim buntem” nieczułym na los chłopów, a to jemu przede wszystkim oddany był pisarz narodnik.

W powieści *Fundamenty* (Ucmou, 1878–1883) – jednej z czołowych pozycji literatury narodnickiej, kształtującej umysły ówczesnej młodzieży – Złatorwatski kreśli postać starego żołnierza rosyjskiego, który wspomina swój udział w dławieniu powstania styczniowego. Razem z innymi przesiedleńcami jedzie on w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia. Podczas postojów na nocleg w różnych miejscowościach opowiada swoją historię tym, którzy z ciekawością podchodzą do przejezdnych: „Widać, że dla towarzyszy podróży był on nie małą uciechą podczas długiej drogi, gdyż dotąd jeszcze nie skarżyli się, że może już setny raz słuchają jego opowieści”⁴⁰ – pisze Złatorwatski. I tym razem zebranych wokół siebie ludzi weteran przekonuje, że interwencja rosyjska w Polsce była tylko formą pomocy wyzwolonych chłopów rosyjskich dla chłopów polskich, wciąż pozostających pod jarzmem pańszczyzny: „W Polsce wojowaliśmy [...] – mówi bohater. Ciężko żyło się tam chłopom. My byliśmy już ludźmi wolnymi, a oni wciąż żyli przy panach... A panowie u nich nie tacy jak nasi [...]. Pan u nich był jaśnie wielmożny [...] Chłopi nie śmieli nawet podchodzić do pańskich dworów [...]. Niewolnikiem był chłop, byłem go zwali [...]. Jadł i pił jak bydło... Nie widział ni chaty swojej, ni ziemi. Od świtu do nocy szlachcic gonił go do pracy na pańskim. A panowie – ci i rozmawiać z chłopami brzydzili się. Bydło jeno... Ale chłopów Bóg nie zostawi. Zasłyszeli chłopcy, że car darował nam wolność. Ożywili się, wybrali przedstawicieli i wysłali do samego monarchy. «Czegoż wam trzeba, bracia?» – mówi car. – «Otóż – mówią – buntować się chcemy, ciężko nam żyć przy panach, ciężko bez prawdy i woli żyć. Prosimy cię miłościwy, okaż nam łaskę: daj nam naszego króla, żeby nas bronił od szlachty i panów. Nie mamy króla, który stał by po naszej stronie, który dał by nam chleb, bydło, chaty!...» – «Dobrze – rzekł car rosyjski – słusznie mówicie i wam pomogę. Tylko nie dam wam waszego króla, lecz mnie się poddacie. Zgoda?» – «Jakże mamy się nie zgodzić! – krzyczą – tak my z całej duszy się zgadzamy, tylko obroń nas przed panami!» – «No, dobrze – rzekł car, skoro tak, idźcie z Bogiem, a ja przyślę do was moje mężne wojsko». I tak nas posłali”⁴¹

⁴⁰ Н.Н. Златовратский, *Собрание сочинений в 8 томах*, Санкт-Петербург 1911–1913, т. 4, s. 289, tu i dalej tłum. własne.

⁴¹ Ibidem, s. 289–290.

– konkluduje stary żołnierz. Opowieść żołnierza zakończy autor morałem głoszącym solidarność wszystkich chłopów bez względu na narodowość: „Poszliśmy wojować z panami, myśląc: nas samych Bóg obdarował wolnością, trzeba i dla innych tę wolność wywalczyć. Wszyscy my chłopie, musimy wzajemnie sobie pomagać”⁴². Zaznaczy też Złatorwatski odmienną walkę, jaką przyszło stoczyć wojskom rosyjskim z powstańcami: „Dziwna to była wojna: żołnierz walczył z panami [...] sami młodzi, gonimy jeńców pod konwojem, idą dziarsko, pieśni śpiewają w swoim języku; Warszawę gonimy – panie z okien machają im chustkami, rzucają kwiaty, inne – matki, może siostry – płaczą. Żal. Wszyscy młodzi, uczeni... Cóż... Car chłopom obietnicę dał”⁴³.

Pod koniec życia jeszcze raz wrócił Złatorwatski do tematu powstania styczniowego w swoich wspomnieniach *Lata dziecięce i młodzieńcze. Wspomnienia lat 1845–1864* (*Детские и юные годы. Воспоминания 1845–1864 гг.*, 1908–1910) pisanych już po rewolucji 1905 r., kiedy to w innym kontekście odżył problem wspólnej walki z samodzierżawiem. W nowych programach politycznych przełomu XIX i XX wieku wiele uwagi ponownie poświęcało się kwestii polskiej, a w rozważaniach tych stale powracano do wypadków powstania styczniowego. Korzystając ze złagodzenia cenzury, bolesną prawdę o powstaniu z większą mocą ujawniała ponadto literatura polska (Eliza Orzeszkowa, Stefan Żeromski), z którą zetknął się Złatorwatski, pracując w charakterze recenzenta działu krytyki w czasopiśmie „Wiestnik wospitanija” w latach 1897–1909⁴⁴. Faktem jest, że u kresu drogi twórczej pisarz narodnik inaczej już postrzegał polski zryw narodowyzwoleńczy. To, co tak dziwiło starego żołnierza z powieści *Fundamenty*, teraz w oczach młodego Koli, bohatera wspomnień pisarza, budzi podziw. „Była wczesna wiosna – wspomina Złatorwatski – kiedy w naszym mieście rozeszła się wieść o gnanej z dworca do naszej rotty aresztanckiej partii zesłanych na Syberię Polaków. Były święta i nasza konspiracyjna paczka zdecydowała za wszelką cenę, nie bacząc na rozporządzenia władz, popatrzeć na jeńców. Było to dla nas nowe i interesujące wydarzenie. Ukrywając się za płotami domów, mogliśmy obserwować, jak po głównej ulicy Włodzimierza cała partia, około trzydziestu młodych ludzi, prawie tak młodych jak my, w asyście uzbrojonych żołnierzy dziarskim krokiem w zuchowato nadzianych na głowach konfederatkach maszerowała z młodzieńczą rześkością i wyzywającą wręcz śmiałością!”⁴⁵.

⁴² Ibidem, s. 290.

⁴³ Ibidem, s. 290–291.

⁴⁴ Zob. o tym: E. Шпаковская, *Н.Н. Златовратский в 90-900-е годы*, [в:] *Русская литература 1870-1890 годов*, Свердловск 1982, сб. 15, s. 118.

⁴⁵ Н.Н. Златовратский, *Детские и юные годы. Воспоминания 1845–1864 гг.*, tłum. własne. [online] <http://az.lib.ru/z/zlatowratskij_n_n/text_0120.shtml> (dostęp: 20.06.2013).

Powstańców umieszczono w obozie przejściowym pod miastem, w którym oczekiwać mieli na kolejne transporty więźniów, by wspólnie wyruszyć na Syberię. „Od tej pory – pisze Złatorwatski – rotty aresztanckie zawładnęły naszymi umysłami”⁴⁶. Prawie każdego wieczoru młodzież rosyjska, „wyprowadzając wcześniej w pole wszystkich donosicieli i szpiegów”⁴⁷, przychodziła pod obóz jeniecki i chowając się w okolicznych zaroślach całymi godzinami z zapartym tchem przysłuchiwała się rozlegającym się zza krat polskim pieśniom patriotycznym. „Mimo woli z myślami o nich – wyznaje Złatorwatski – w nasze dusze wlewała się podświadomie jakaś bliżej nieokreślona rzeźkość [...], która nawoływała do bohaterskich czynów”⁴⁸. Szacunek i podziw wzbudzała też wśród chłopców młoda Polka – córka ogólnie poważanego lekarza w mieście, która regularnie odwiedzała zesłańców ubrana na znak solidarności i protestu w czarny żałobny strój, czym do granic sierdziła żandarmów. Na jej widok więźniowie dumnie śpiewali polski hymn narodowy. Dopiero zapowiedź gubernatora, iż podczas kolejnej demonstracji strój zostanie zdarty z niej na ulicy, młoda kobieta zaniechała prowokacji pod obozem, ale dalej z dumą nosiła go po ulicach Włodzimierza.

Tych kilka tygodni – podsumuje Złatorwatski – podczas których razem z przyjaciółmi odwiedzał on obóz polskich zesłańców w dużej mierze wpłynęło na wzrost jego świadomości narodowej, nauczyło szacunku do Polaków walczących o wolność, ale wyraz temu pisarz narodnik dał w swojej twórczości bardzo późno.

Резюме

Народнический общественный идеал в конфронтации с польской борьбой за национальное освобождение. Творчество Николая Н. Златовратского

В семидесятых годах XIX века народничество было господствующим течением в русской общественной мысли. Оно оставило прочные следы в философии, социологии, истории и литературе. Народническая идеология формировалась вокруг стремлений создать справедливую общественную систему, основанную на равенстве и независимости. Роль России, в народническом понимании, состояла в том, чтобы начать в мире общественные перемены гарантирующие справедливость, братство и человеческое достоинство. Тем временем та же Россия угнетала польский народ и эффективно подавляла все стремления поляков к независимости.

Предметом статьи является характеристика подхода народнических теоретиков к польскому восстанию 1863 г., а также анализ избранных произведений Николая Н. Златовратского – видного представителя течения русской народнической литературы – с целью представить авторский подход к польской борьбе за национальное освобождение.

⁴⁶ Ibidem.

⁴⁷ Ibidem.

⁴⁸ Ibidem.

Summary

*The Narodnik Social Ideal in Comparison with the Polish Struggle for the National Liberation.
Nikolaj N. Zlatovratskij's Fiction*

The Narodnik current was in the 1870s the main trend of the Russian social thought. It has left long-lasting tracks in the philosophy, sociology, history and literature.

The Narodnik ideology was being formed around the aspirations to create the just social system based on the equality and independency. The role of Russia, in the Narodniks' conviction, was to begin the social changes guaranteeing justice, brotherhood and human dignity in the world. In the same time the Russia itself subjugated the Polish nation and suppressed effectively all Polish aspirations to regain independency.

Thus the subject of the article is the characteristics of the Narodnik theoreticians' stands on the January Uprising of the 1863 and also the analysis of the Nikolaj N. Zlatovratskij's – the leading representant of the Narodnik current in Russian literature – chosen works to present the writer's attitude to the Polish struggle for the national liberation.

Key words: the January Uprising, the Narodnik current, Nikolaj Zlatovratski.

Zbigniew Kaźmierczyk
Uniwersytet Gdański

Wschodnia świadomość zła według Miłosza

Mówiąc o świadomości zła w twórczości Miłosza, moglibyśmy się odwołać do rozróżnienia Sorena Kierkegaarda, który stwierdził, że „Wielki podział między ludźmi nie rozciąga się między tymi, którzy czynią zło, a tymi, którzy czynią dobro (wszyscy, niestety, czynią i jedno, i drugie), lecz między tymi, którzy akceptują różnice między złem a dobrem, a tymi, którzy jej nie uznają lub ją zniekształcają”¹. Śledzenie twórczości Miłosza pozwala zaliczyć go do autorów, którzy zła nie relatywizują, dla których fundamentalną kwestią jest odpowiedź na pytanie, co jest złem, a co jest dobrem. W *Widzeniach nad Zatoką San Francisco* zauważył on, że współcześnie stawianie wyraźnych granic etycznych naraża na etykietę (przyprawienie gęby) reakcjonisty, lecz przyznał, że mimo tej niedogodności uznaje wartość mitów o walce dobra ze złem, oświadczył nawet: „Stare irańskie mity o walce Ciemności ze Światłem, Arymana z Ormuzdem najzupełniej mi odpowiadają”². Ten typ świadomości zła poeta nazwał w *Rodzinnej Europie* „wschodnią częstką”³. Uznał ją za czynnik strukturalny mentalności rosyjskiej. Przypisał sobie jej dziedziczenie⁴. W świetle *Ziemi Ulro* „reakcjonizm” Miłosza daje się łatwo pojąć. Widzimy bowiem, że binaryzm aksjologiczny jest w jego twórczości wstępem do wielkiego zagadnienia *unde malum?*, skąd zło? Miłosz bowiem rozróżnia dobro i zło, aby wyjaśniać pocho-

¹ Cyt. za: M. Janion, *Wobec zła*, Verba, Chotomów 1989, s. 171.

² Cz. Miłosz, *Widzenia nad Zatoką San Francisco*, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989, s. 161.

³ Cz. Miłosz, *Rodzinna Europa*, Warszawa 1990, s. 149.

⁴ Temat mentalnego pokrewieństwa poety z rosyjską świadomością zła dotąd nie znalazł rozwinięcia. Nie znaczy to, że o zainteresowaniach poety rosyjską myślą religijną nie pisano. Monika Wójciak na przykład w interesującym szkicu przedstawiła tę myśl jako zewnętrzny krąg jego inspiracji: „Dlaczego u rosyjskich myślicieli Miłosz szuka inspiracji? Ponieważ nikt w sposób bardziej fascynujący i jednocześnie przerażający nie podjął opisu zła. Kwestia ta, odwiecznie wpisana w krąg zainteresowań artystów, porusza też i polskiego poetę. *Unde malum?* – pyta w wierszach i esejach”. M. Wójciak, *W poszukiwaniu korzeni zła. Czesław Miłosz i rosyjscy myśliciele religijni*, „Zeszyty Literackie” 2006, nr 2, s. 96. Na temat mentalnego (a więc wewnętrznego) pokrewieństwa Miłosza z rosyjskim poczuciem zła pisałem w artykule *Rosja mentalna Miłosza*, „Teksty Drugie” 2010, nr 5, s. 237–246.

dzenie zła. Rozróżnienie jest w jego twórczości poetyckiej i prozatorskiej warunkiem rozwijania etiologii dobra i zła.

Skoro wiemy, że Miłosz wyraźnie odróżnia zło od dobra i szuka przyczyn, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czym jest i skąd się bierze zło według poety.

Najbardziej oczywistym złem w przestrzeni międzyludzkiej jest według Miłosza wola dominacji jednostek i grup ludzkich nad innymi jednostkami i grupami. Pamięć wojen (pamiętanie wojny jako pierwszego obrazu świata) czyni żagarystę namiętnym przeciwnikiem wszelkiej nierówności. Nierówność ta jawi mu się w Wilnie przede wszystkim jako dominacja kapitału nad światem pracy. Ekonomiczny wymiar życia traktuje on wtedy jako zamiennik zmagających wojen. W kilku marksistowskich mowach wierszem (*Na cześć pieniądza, Przeciwno nim*⁵) przedstawia wymiar sprawiedliwości oraz zakłady włókiennicze w Żyrardowie jako przestrzeń nierówności i śmiertelnego wycieńczania robotników. Kapitalizm jawi się w tych wierszach jako ustrój klasowy poddany dyktatowi pieniądza, konserwujący na wsi relikty feudalizmu. Korespondencja Miłosza z Jarosławem Iwaszkiewiczem świadczy o nienawiści żagarystów do dyktatu pieniądza, o dojrzewaniu w ich środowisku opcji komunistycznej, o gotowości do przyjęcia bolszewizmu, byle nie trwał kapitalizm pańskiej Polski.

Przerażenie Miłosza wywołane rozmaitymi formami gwałtu wojennego uczyniło go także nieprzejednanym przeciwnikiem polonocentryzmu. W eseju *Sens regionalizmu*⁶ zarzuca on kulturze polskiej ekspansjonizm wobec kultur ludowych. W wierszu *Opowieść* ubolewa nad życiem

Pośrodku zmilitaryzowanego kraju, w mieście, którego ulicami
przeciągały krzyki nacjonalistycznych pochodów⁷

Śledzenie lektur młodego Miłosza pozwala stwierdzić, że pod wpływem *Jądra ciemności* czytanego równolegle z *Głosami wśród nocy* Brzozowskiego zobaczył on kolonializm jako emanację kapitalistycznej dominacji Europy nad krajami podbijanymi. Przybycie na wystawę kolonialną do Paryża na początku lat trzydziestych unaocznilo żagaryście potęgę ideologii kolonialnej jako fałszywego prometeizmu, ponieważ przewagę cywilizacyjną ujrzał on jako pretekst do drenażu podbijanych przez Europę krajów. *Jądro ciemności* wywarło na nim wielkie wrażenie, gdyż utożsamiał on ducha dominacji dziejowej z duchem zie-

⁵ Cz. Miłosz, *Wiersze*, t. 1, Znak, Kraków 2001, s. 11 i 14.

⁶ Cz. Miłosz, *Przygody młodego umysłu. Publicystyka i proza 1931–1939*, zebrała i opracowała A. Stawiarska, Znak, Kraków 2003, s. 42–46.

⁷ Cz. Miłosz, *Opowieść*, [w:] idem, *Wiersze*, t. 1, s. 9.

mi. Conrad pokazał żagaryście w dżungli afrykańskiej prawa dżungli kapitalizmu – jako ustroju opartego na kulcie pieniądza. *Rodzinna Europa* wyjaśnia, że darwinizm już w latach gimnazjalnych stał się światopoglądowym fundamentem Miłosza. Poszukując odpowiedzi na pytanie skąd zło, znalazł ją w związku człowieka i jego dziejów z darwinowską naturą. Twierdzenie ewolucjonizmu, że człowieka nie dzieli od natury *principium individuationis*, wyjaśniło młodemu Miłoszowi zło indywidualne i dziejowe jako działanie w świecie ludzkim wilczych praw i na trwałe ukierunkowało jego myślenie o naturze człowieka w stronę pojęcia grzechu pierworodnego (stąd bliscy mu janseniści i Pascal) oraz filozofii Schopenhauera, stanowiącej pomost do antropologii manichejskiej w *Wyznaniach* św. Augustyna. Dzieło biskupa katolickiego jest zapisem przezwyciężenia manichejskich pokus, ale wychodzi od ich konstatacji, to znaczy od przesłanek nauki o złu natury ludzkiej nie do pokonania bez poddania woli człowieka woli Bożej.

W wyniku połączenia darwinizmu i manicheizmu w poezji i prozie Miłosza ujawnia się wschodnia świadomość zła. Początkowo w *Trzech zimach* wyłania się ta świadomość w mowie żywiołów ognia, ziemi, wody, powietrza i dymu – z głębi pokładów archeologii duchowej żagarysty, by po latach ustalić się w polu świadomości eseistycznej. Nie mały w tym udział wykładów i pism Mariana Zdziechowskiego, któremu uczeń poświęcił wojenny esej *Religijność Zdziechowskiego*⁸. Tym, co łączy ucznia z nauczycielem, okazuje się w latach czterdziestych pesymizm i to pesymizm wielowymiarowy. Można powiedzieć, że jest to pesymizm integralny. Zdziechowski bowiem w sposób charakterystyczny dla wschodniego rozmachu uznaje pod wpływem Schopenhauera ślepą wolę za wolę ślepej dominacji istnienia nad istnieniem. Ślepy pęd wszelkiego życia, aby pożerać (dominacja jest formą tego pożerania) inne życie, jest u Zdziechowskiego odpowiednikiem siły demiurgicznej, umiejscowionym w ciele wraz z jego popędami. Nosicielem demiurgicznej woli jest zatem każdy człowiek. Pryncypium stworzenia okazuje się prawo uobecnione w naturze pożerającej i naturze pożeranej. Człowiek przez fakt cielesności sam dla siebie stanowi matnię potrzeb pierwotnych. Jako taki jest somatykiem. Jeżeli rozwinął potrzeby wtórne wobec potrzeb ciała, lecz przez ciało zdeterminowane – jak potrzeba społecznej rangi (i rewiru) – jest zaledwie psychikiem. Tak czy owak pozostaje we władzy ślepej woli dominowania, podbijania, ekspansji, potęgowania własnego bytu kosztem pomniejszania, deprecjonowania bytu innego człowieka.

⁸ Cz. Miłosz, *Religijność Zdziechowskiego*, [w:] idem, *Legends nowoczesności*, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996, s. 95–117.

Wschodnia świadomość zła według Miłosza wywodzi się z elementarnych przesłanek: zła ciała i materii. Wynika więc z typowo wschodniego absolutyzmu etycznego: z radykalnego domagania się uobecniania wymiaru duchowego i nastania porządku idealnego. Radykalizm ten rodzi doświadczany przez Miłosza i opisany w *Rodzinnej Europie* dualizm ducha i ciała. Wschodni charakter tego dualizmu polega na przecięciu związku między tym, co duchowe, a tym, co cielesne. Porządek materii i ciała jest porządkiem Złego. Jest zarazem rewirem konieczności. Duchowy człowiek uwięziony jest w kieracie materii. Ten kierat to prawa natury służące demiurgowi do panowania w stworzonym świecie. Pneumatyk może ten porządek kontestować, ale przecież nie uchyli praw fizjologii. Niektórych potrzeb może nie zaspokajać (asceta) albo zaspokajać pogardliwie (libertyn), ale działania praw konieczności uchylić nie zdoła.

Miłosz, doświadczając wschodniego poczucia zła, podkreśla w nim element fatalizmu. Pokazuje, że pragnienie niebotycznego dobra powoduje rozłączenie sfery dobrych intencji i uczynków, które skazane są z założenia na skalenie w wymiarze materialnym i cielesnym. Podkreślając manichejski wymiar katolicyzmu księdza Chomskiego, poeta ubolewa, że przez brak nauki o Łasce, katecheta nie rozwinął w nim pojęcia dobrych uczynków jako języka rozmowy z Bogiem. Ubolewa, że etyczny fatalizm wydrążył jego religijność ze skrupułów (*religio* znaczy skrupuł) i przeniósł w dziedzinę wiedzy (*gnosis*). Właściwie więc ubolewa Miłosz nad utratą zdolności do etyki wiary (*pistis*), widzi konsekwencje zastąpienia jej mistyką rozumu (*ratio*). Krótko mówiąc, w *Rodzinnej Europie* przedstawia sekciarski wymiar swej religijności. Nigdy z niego nie zrezygnuje. Dlaczego? Ponieważ zdaniem Miłosza darwinizm wyrażony filozoficznie w prawie natury pożeranej i pożerającej wyjaśnia najpełniej, skąd bierze się zło.

Sekciarski wymiar chrześcijaństwa nie może być pominięty, kiedy mówimy o Rosji Miłosza. Bogumił Jasinowski w pracy *Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja*⁹ pisze o tym, do jakiego stopnia sekciarstwo wschodnie przeniknęło prawosławie. Wskazuje na obecną w nim tradycję starożytnego gnostycyzmu i obecność wpływów średniowiecznego manicheizmu. Miłosz zarówno gnostycyzm, jak i bogomilizm uznał za klucz do dzieł Dostojewskiego. W pisarzu tym ujrzał herezjarchę i od strony gnostycko-manichejskiej herezji zinterpretował jego działa podczas zajęć na Wydziale Sławistycznym w Berkeley. Przy czym traktował Dostojewskiego jako najwnikliwszego znawcę rosyjskiej mentalności. Jego nauka o Dostojewskim ma aspekt tak pozytywny, jak negatywny i określa stosunek do katolicyzmu i kultury polskiej.

⁹ B. Jasinowski, *Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja. Na tle pierwiastków cywilizacyjnych Wschodu i Zachodu*, Towarzystwo Wydawnicze „Pogoń”, Wilno 1933.

Gnostycki aspekt prawosławia jest bez wątpienia Miłoszowi bliski. Podkreśla on prawosławne poczucie demonizmu ziemskiego istnienia i w nim widzi wyższość literatury rosyjskiej nad polską. Ma na uwadze demonizm immanentny – tkwiący w samej materii, nieodłączny od cielesności. Z tego punktu widzenia atakuje kulturę polską za bukoliczne pojmowanie natury i dziejów jako rewiru Opatrzności. Ma mniemanie o polskim poczuciu dobra świata i natury ludzkiej za niedopuszczalną naiwność. Nie może nie przyznawać racji Dostojewskiemu w ocenie Polaków. Ich defektem jest niezdolność do manichejskiego oglądu rzeczy. Z tej pozycji Miłosz przeprowadza miazdzącą krytykę romantycznego providencjalizmu i idealistycznych mniemań na temat natury ludzkiej. Twierdzi, że romantyzm polski zamknięty w wymiarze historycznym nie miał pojęcia o złu pozahistorycznym. Opatrznościowa wizja dziejów przyniosła hekatombę powstania warszawskiego.

Jednocześnie, w zgodzie z Dostojewskim, Miłosz widzi także u siebie defekty temperamentu manichejskiego. Głównym zaś mankamentem świadomości manichejskiej jest jej antyświatowość. Z jednej strony pesymizm poznawczy rozwinięty względem natury (i natury człowieka jako jej części) chroni przed utopiami, z drugiej zaś strony chrześcijaństwo podszyte sekciarstwem sprzyja fatalizmowi – złu rzekomo koniecznemu. W wyniku sekularyzacji chrześcijaństwa światu zagraża bowiem utopia socjalistyczna (progresywna), a w wyniku uznania świata za domenę Zła, które trzeba pokornie przyjmować, grozi światu utopia konserwatywna (regresywna).

Miłosz podziela przenikliwość Dostojewskiego, który wyjaśnił zanik zachodniej wyobraźni religijnej jako zanik poczucia zła (odrzućcie nauki o grzechu pierworodnym, postawienie na miejsce Boga-człowieka, człowieka-Boga, zamianę Raju na raj ziemski). Autor *Ziemi Ulro* dostrzega w pisarzu rosyjskim sojusznika w zmaganiu z oświeceniowym dogmatem dobra praw natury (z doktryną człowieka dobrego z natury Jana Jakuba Rousseau). Pesymizm antropologiczny Dostojewskiego jest według Miłosza egidą ocalenia przed utopiami komunizmu, ponieważ świadomość zła natury ludzkiej chroni jednostkę przed władzą złotoustych demagogów posługujących się instrumentalnie prometejską ideologią. Wybawia od władzy Wielkich Inkwizytorów. Z tego punktu widzenia Miłosz przyznaje wschodniej świadomości zła wyższość nad „zdrowomyślnością” katolicyzmu i wywodzącej się zeń nowej wiary socjalizmu.

W mniemaniu o wyższości człowieka, który wie, że jest zły, nad człowiekiem, który myśli, że jest dobry, widzimy „wschodnią cząstkę” Miłosza. Jest to węzeł gordyjski jego skomplikowanych relacji z polskością. W liście do Kota Jeleńskiego czytamy: „Pamiętam z dziecińczych lat rycinę Grotgera, na której

katorżnicy rosyjscy żrą i piją jak świnie, rzną w kości i karty, a w kącie stoi (w głębi, na prawo) chudy, smutny, wąsisty szlachetny Polak, bodaj w kontuszu (skromnym, ale schludnym) i pogardza. Już wtedy miałem nieodpartą sympatię do żywotności tych niby «ohydnych» gęb, a silną antypatię do tego szlachetnego purytanina”¹⁰. Alain Besançon zauważył w prawosławiu dualizm człowieka-aniola w cerkwi i człowieka w życiu, opozycję Prawdy i *istiny* – prawdy dostępnej w życiu, lecz tak lichy, że nie lepszej od kłamstwa („*Istina* jest czymś mniej dostojnym niż prawda”¹¹). Ten rosjoznawca zwrócił uwagę na antyświatowy charakter tego dualizmu. W jego ramach rzeczą ważniejszą od moralnej pracy człowieka nad sobą jest zachowanie świadomości własnej grzeszności, nawet jeżeli świadomość ta wymaga dalszego grzeszenia, aby lepiej sobie grzeszność uzmysławiać. W sympatii Miłosza dla żrących i rznących katorżników i w antypatii wobec szlachcica wschodnia część jego mentalności ujawnia się w pełni. Upadli są mu bliżsi od dusz anielskich, od kwiatów, które nie chcą znać swych korzeni. Z tego punktu widzenia wyznawane przez Miłosza poczucie osobistego zła, nieusuwalnej pychy, przemożności natury pożerającej, skazy miłości własnej, silnego naznaczenia grzechem samolubności itd., wcale nie musi oznaczać poczucia niższości, lecz przeciwnie: poczucie wyższości człowieka religijnego, typu mistycznego nad bukolicznym typem mazowieckim. Tu spotkanie z Dostojewskim jest pełne.

Na katordze w Omsku rozegrała się scena jak na obrazie Grottgera. W stronę żrących i rznących morderców, niewypierających się nędzy swej grzesznej kondycji, pewien Polak (Aleksander Mirecki) powiedział: „Nie cierpię tych łotrów”¹². Z *Dziennika pisarza* dowiadujemy się, że słowa te odmieniły Dostojewskiego – umarł socjalista, narodził się religijny tradycjonalista. „Uznał – pisze Besançon – że stoi po stronie łotrów, gdyż jest Rosjaninem. Jest w ich obozie przeciwko wyobrażonemu obozowi Polaka, który był jego przyjacielem, a którego teraz nienawidzi, gdyż jest Polakiem, katolikiem, Europejczykiem i mówi po francusku”¹³. W lutym 1876 r. Dostojewski ujrzał w gnostyckim komponencie prawosławia wyższość religijną Rosjan: „Powtarzam: sądzicie lud rosyjski nie na podstawie tych okropności, które tak często popełnia, lecz na podstawie tych wielkich i wzniosłych rzeczy, do których z głębi swego upadku stale

¹⁰ Zob. Cz. Miłosz, K. A. Jeleński, *Korespondencja*, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2011.

¹¹ A. Besançon, *Święta Ruś*, tłum Ł. Maślanka, Fundacja Świętego Mikołaja, Warszawa 2012, s. 36.

¹² F. Dostojewski, *Dziennik pisarza 1876*, t. II, przeł. M. Leśniewska, PIW, Warszawa 1982, s. 49.

¹³ Ibidem, s. 60.

wzdycha”¹⁴. W przeciwieństwie do Polaka „Rosjanin – zauważa Besançon – jakkolwiek byłby nędzny i zbrodniczy, uznaje w przeciwieństwie do innych swoją nędzę i zbrodniczość”¹⁵. Już ten fakt świadczy o jakiejś mistycznej (ważniejszej niż etyczna) wyższości, gdyż Rosjanin nie przetwarza swej grzeszności w poczucie bycia dobrym z natury, nie stawia więc na miejscu Boga-człowieka, człowieka-Boga, nie przerabia eschatologii w eschatologię świecką (raju na ziemi), no chyba że jest pod wpływem zgubnych idei Zachodu jak Czernyszewski.

Łącząc się z Dostojewskim w sekciarskim spojrzeniu na naturę (i naturę człowieka jako jej część), Miłosz dostrzegł zarazem w poczuciu pierwotnego zła, w rezygnacji z atrybutów boskości (z antropoteizmu), w krytyce budowy raju na ziemi przejaw manichejskiej antyświatowości pisarza rosyjskiego. Na tym przykładzie dostrzegł religijne przesłanki zwalniania się Rosjan z biblijnego nakazu czynienia sobie ziemi poddaną. Uchwycił rosyjski fatalizm – głębokie przeświadczenie, że świat w złym leży. Stwierdził, że Dostojewski ten fatalizm przerobił na mesjanizm. Świadomość osobistego zła i zła świata wywyższył ponad czynienie w tymże świecie dobra. Zachodnia strona świadomości zła Miłosza ujawniła się w krytyce wschodniej antyświatowości Dostojewskiego. Autor *Ziemi Ulro* dostrzegł w sekularyzacji prawosławia narodziny komunizmu, a w komunizmie (jak Jasinowski i Zdziechowski) wyładowanie sekciarskiej antyświatowości. Zobaczył komunizm jako maskę Prometeusza, jako sposobność zdetonowania gnostyckiej i manichejskiej nienawiści do świata jako dzieła złego demiurga.

Dlatego Miłosz, widząc sekciarski wymiar prawosławia Dostojewskiego, czyta jego dzieła z pełnym zrozumieniem grozy rozkładu rosyjskiej wyobraźni religijnej pod wpływem światopoglądu naukowego. Jednak demaskując antyświatowość ukrytą w mesjanizmie Dostojewskiego, buduje też pomost pomiędzy wschodnim spirytualizmem a zachodnim materializmem – posuniętym aż do panteizmu lub monizmu naturalistycznego. Afirmując wschodnią świadomość zła zwróconą przeciw kulturze polskiej, zdobywa się na krytykę Dostojewskiego z pozycji kultury afirmacji ciała i materii. Czyż obie skrajności (rosyjskie poczucie demonizmu materialnego Stworzenia i polska bukoliczność) nie są dalej pokusami umysłu europejskiego?

¹⁴ Cyt. za: A. Besançon, op. cit., s. 60–61.

¹⁵ Ibidem, s. 61.

Резюме

Восточное сознание зла по мнению Милоша

Статья представляет тему восточного сознания зла Милоша. Его сущность состоит в способности различения добра и зла, а также в одновременном фаталистическом убеждении в необходимости зла. Это убеждение основано на отвращении к инстинктивным, телесным силам и силам, находящимся в самой материи, а также на фаталистическом убеждении в необходимости подчинения им. Это одновременно силы, основывающие слепую волю доминирования человека над человеком в разных сферах. Статья объясняет, что в системе восточного сознания зла знание о греховности человека имеет религиозный характер. Человек, совершающий зло и имеющий болезненное сознание этого, уже вследствие самого факта этого сознания превосходит (по мнению Достоевского и Милоша) прекраснотушного идеалиста, который считает, что по природе он добрый. Он превосходит, потому что не отвергает понятие первородного греха, не ставит вместо Бога-человека человека-Бога, а также не сближает землю с небом (не заменяет христианской эсхатологии светской эсхатологией). В статье показано, что Милош, так как и Достоевский, критикует польскую культуру за мнимое незнание зла. Он дает себе отчет в том, что манихейское сознание зла имеет слабую сторону: отвращает человека от мира материи, природы, микро- и макрокосмоса. Поэтому у славян так мало практических достижений в обладании землей и подчинении ее себе по отношению к достижениям человека Запада. Кроме того, восточное сознание зла, понимаемое как сознание превосходства над этической будничной канителью, имеет в глазах Милоша склонность к тому, чтобы придать страданию мессианские черты — христианизирование пассивно терпимого зла. Это ошибка Достоевского. В статье показано, что понятие восточного сознания зла Милош обогащает компонентом западного одобрения того, что телесное и материальное.

Summary

The eastern awareness of evil according to Miłosz

The article shows the Eastern awareness of evil from the perspective of Miłosz. Its essence is the ability to differentiate the good from the evil when there is an inevitable conviction that evil is necessary. The ground for this conviction is laid in an aversion to the impulsive forces of a body and the inherent powers of matter, as well as in the inevitability of yielding to them. These are the forces and powers which constitute the blind will of domination of one over another in different dimensions. The article explains that in the Eastern awareness of evil the knowledge of human sinfulness is of religious nature. The one who does a wrong thing and is painfully aware of this fact, due to this awareness, prevails (according to Dostojewski and Miłosz) over a pretentious aesthete who thinks he or she is good by nature. The aware sinner prevails because he or she does not turn down the original sin, does not place the God-Human in the position of Human-God, and does not give the world to the land (does not exchange the Christian eschatology for the secular eschatology).

The article demonstrates that Miłosz, in alliance with Dostojewski, attacks Polish culture for the alleged unawareness of evil; he realizes that the Manichean awareness of evil has a weak point: it turns a man away from the world of matter, nature, micro- and macrocosm. Hence, the Slavic people have so few practical achievements in making the land their subject in comparison to the

accomplishments of the Western men. Moreover, the Eastern awareness of evil, as the awareness of superiority over the ethical waste of effort of an ordinary day, shows, according to Miłosz, an inclination for a messianic bearing of suffering – passively enduring the suffering like a Christian. That is the mistake made by Dostojewski. The article indicates that Miłosz enriches the Eastern awareness of evil with the Western affirmation of what is physical and material.

Key words: good, fault, consciousness, stuff, dualism.

Andrzej Ksenicz
Uniwersytet Zielonogórski

Jerzy Harasymowicz – poeta pogranicza

Do poezji autora *Zielnika* sięgam od wielu lat. Pierwszy tomik jego wierszy trafił w moje ręce w 1972 r. Nie przypuszczałem wtedy, że powrócę kiedyś do twórczości Harasymowicza profesjonalnie, choć poetyckich tomików zebrało się od tamtej pory już ponad dwadzieścia. Tak konkretnie zainteresowałem się Harasymowiczem dzięki lekturze tomu poezji Bohdana Ihora Antonycza (Kijów 1989). Ten współczesny polski poeta stał się dla mnie wtedy kimś, kto poprzez swoje skomplikowane, a bardziej może jeszcze „pomieszanę” dzieje rodziny, w której skrzyżowały się krew ruska z polską, niemiecką, tatarską, zaczął pisać dużo i śmiało o Łemkowszczyźnie, stając się dzięki temu niezwykle osobowością w poezji polskiej drugiej połowy ubiegłego wieku.

W kilku wcześniejszych tekstach¹ wyjaśniałem koligacje rodzinne i źródła jego zainteresowania ruską tematyką. Przywoływałem wypowiedzi poety o nim samym, jako piszącym „na dwie ręce”: „Piszę na dwie ręce. Dwoma liściastymi piórami. Staram się zbliżyć ludzi i góry. Zapewne jest we mnie coś z raroga lub jastrzębia. I to chyba dosłownie. Moje skrzydła są prawdziwe, zwykłe. Mój wiersz naprawdę krąży nad łemkowską wioską. [...] Na stole mam lichtarz cerkiewny, lecz piszę po polsku”². Twórca poematu *Lichtarz ruski* jest przykładem i dowodem na to, co tak trafnie ujął Lech Witkowski w swojej pracy o uniwersalizmie pogranicza, zauważając m.in.: „Tam, gdzie nie ma potrzeby (gotowości) do nieprzewidzianego, niepoddającego się kontroli spotkania z innym, tam gdzie nie ma szansy na «efekt pogranicza» kulturowego ani na dialog w tym niewygodnym, acz doniosłym kulturowym sensie. Nie ma dialogu tam, gdzie spotyka się ze sobą «to samo», gdzie nie ma różnicy”³.

¹ Zob. A. Ksenicz, *Słowiański wielogłos, czyli od Antona Czechowa do Jerzego Harasymowicza*, Zielona Góra 1999; A. Ksenicz, *Łemkowie i Beskid Niski w poezji Jerzego Harasymowicza*, [w:] *Vedeck? zbornik muzea ukrajinskej kultury vo: Ukrajinci v prihraničnih oblastiah Karpat: problemy...*, Svidnik 2011, s. 314–324.

² J. Harasymowicz, *Słowo od Autora*, [w:] *Cała góra barwinków*, Kraków 1983, s. 5.

³ L. Witkowski, *Uniwersalizm pogranicza. O semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji*, Toruń 2000, s. 15.

O specyfice galicyjskich „kresów kulturowych”, w jakich mieści się Harasymowicz i jego poezja, pisała też Marta Wyka, doszukując się w tej przestrzeni sensów symbolicznych⁴. Pozwolę sobie w tym miejscu na stwierdzenie, że bycie kimś takim oznacza, moim zdaniem, stałą niepewność w kwestii tożsamości, ale tylko wtedy, kiedy twórca nie potrafi ostatecznie przypisać siebie do jednej kultury, jednego języka, jednej tradycji. Przykładów takiej postawy wśród polskich autorów, oczywiście, w moim rozumieniu, można by przytoczyć kilka. Nie będę tu dokonywał bliższej konkretyzacji, nie mamy na to miejsca, ale sądzę, że wśród tych, którzy się określili, można wymienić m.in. Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana czy jeszcze Brunona Schultza. W literaturze rosyjskiej takim pisarzem był chociażby Michał Gogol. Czy jest kimś takim, a raczej był, Harasymowicz? Spróbuję to udowodnić w trakcie analizy kolejnych jego wierszy. Z uwagi na moje zainteresowanie Antonyczem i kręgiem twórców związanych z Galicją, a ściślej z Beskidami, pragnę odnotować, że do tego kręgu trzeba zaliczyć takich twórców jak znany malarz Jerzy Nowosielski czy rzeźbiarz Grzegorz Pecuch. Nie są to wszyscy twórcy, których obejmuje moja „klasyfikacja”, dla której kwestia tożsamości jest bardzo istotna.

Bez zakorzenienia w kulturze, języku i tradycji nie byłby Harasymowicz tym poetą, jakiego znamy z około czterdziestu większych czy mniejszych zbiorów i tomów poezji. Gdyby od tej strony spojrzeć na jego spuściznę, to można by zaryzykować twierdzenie, że trudno znaleźć innego poetę, który mógłby z nim konkurować w tym względzie. Działo się tak, jak sądzę, za sprawą Wydawnictwa Literackiego w Krakowie i swoistej kurateli Kazimierza Wyki. Nie odważę się stwierdzić tego z pełnym przekonaniem, brak mi bowiem materiałów z archiwum poety, ale wydaje się, że jako uczeń znanego i „dobrze widzianego” krytyka literackiego i literaturoznawcy korzystał Harasymowicz z jego wsparcia, ale jednocześnie musiał w jakiejś mierze kierować się sugestiami wyrażanymi przez mentora. To złożona i niejednoznaczna kwestia, którą warto zająć się szerzej. Wydaje się to obecnie możliwe, bowiem dowiadujemy się, że archiwum poety może udostępnić jego żona⁵. Pozostaje mi zatem przejść do tematyki i problematyki wierszy, w których przewijają się kwestie, najogólniej mówiąc, polsko-rusko-ukraińskie. Dlaczego nie polsko-ukraińskie? Ano dlatego, że Harasymowicz, poniekąd tradycyjnie, a zarazem z przekonaniem używał określeń: „ruski”, „Rusin”, „Łemko” w odniesieniu do tego, co teraz zwykło się obejmować terminem „ukraińskie”.

⁴ M. Wyka, *Pamięć kresów jako pamięć kultury*, [w:] *Galicja i jej dziedzictwo. Literatura – język – kultura*, t. 4, red. Cz. Kłak, M. Wyka, Rzeszów 1995, s. 11.

⁵ Zob. С. Гарасимович, *Руський ліхтар, або небо лемків*, вибір та переклад з польської І. Калинця, Львів 2003, s. 14.

Ukochane góry poety to Beskidy, szczególnie Beskid Niski:

Przez potężne palce
jodeł
widzę Beskid
który wyprowadził mnie
z lasu
na pisanie

Każdy ma pejzaż
w którym pozostanie

Każdy ma
ścieżki słów
sobie tylko znane

Wiem – i tylko
podpisać się czytelnie
trzema krzyżykami
cerkwi

(*Beskid*⁶)

Wybierając Beskidy, wybrał poeta również ich mieszkańców – Łemków. W swoim poetyckim testamencie, którego fragmenty przytacza Ihor Kałynec’ – autor tomu tłumaczeń wierszy Harasymowicza na język ukraiński – stwierdza on, że: „у Польщі ніхто переді мною не писав, що є якісь лемки. Лемки – це тільки українці, що мешкають найдалі на Заході”⁷. Łemkowie, ich kultura, historia, język to tylko część zagadnienia stale obecnego w świadomości Harasymowicza. Od pierwszych jego zbiorów kwestie historyczne, kulturowe i społeczne pogranicza polsko-ukraińskiego pojawiały się z większą lub mniejszą częstotliwością oraz siłą poetyckiego wyrazu. Ten ostatni moment jest u poety bardzo istotny z uwagi na stylistyczno-metaforyczną specyfikę jego wypowiedzi. Pozostanie to jednak poza polem mojego zainteresowania do następnej okazji.

W debiutanckim tomiku *Cuda* (1956) młody poeta nie odkrywa jeszcze swych korzeni wprost, chociaż zaskakująco często pojawiają się w nim postacie dziadka, babci, matki: „Babci już dawno umarł mąż, a starość była tą cięciwą, która coraz bardziej zaokrągląła łuk jej pleców”⁸. W tomiku *Powrót do kraju*

⁶ J. Harasymowicz, *Wiersze beskidzkie*, Warszawa 1986, s. 6.

⁷ Є. Гарасимович, *Руський...*, s.13.

⁸ J. Harasymowicz, *Wybór wierszy*, Kraków 1975, s. 20. Kolejne cytaty z tego tomu zaznaczone będą w tekście przez podanie strony.

łagodności (1957), tytuł którego stał się z czasem symboliczny, „rzecz beskidzka” staje się już wyraźnie zaznaczonym i stałym momentem. *Miasteczko w Karpatach*, wiersz który poprzez wprowadzenie szerszego terminologicznie pojęcia dookreśla krąg zainteresowań poety, całkiem wprost odnotowuje ruski element w tych górach:

Na szubienicy daszku piekarniczego wozu, co jedzie aby-aby
 woźnica schylił głowę, powieszony w drzemce,
 i ku brązowej kopułce cerkwi, myśląc że to orzech,
 chmury zachodu, rude wiewiórzyce, zza jodeł się wychylają poruszone
 wielce. (s. 31)

W tomiku tym przeważają jeszcze zdecydowanie „wolne tematy”; historyczne, np. z postacią Talleyranda, z Wersalem, ale widzianymi autorsko, dowolnie, ponieważ ważniejsza jest tu żona poety („Moja żona jest srebrna” – s. 39). W kolejnych wierszach pojawiają się miejscowości (np. Muszyna), rzeki (Poprad), a także „buławy ostów biało-amarantowe szczygły [...] jak narodowe wspomnienie”. A tuż obok:

Cerkiewka pod obłokiem, jak pod grzechów tobołem, zgięta do ziemi, [...]
 pochylona ku brązowej kratce sosnowych gałęzi, gdzie wrzosów prześwieca
 fiolet. (s. 40)

Wyobraźnia poety i jego horyzont tematyczny są zaiste niczym nieograniczone. Trudno byłoby w kilku zdaniach zawrzeć najważniejsze ich atrybuty. Kolejne tomiki: *Wieża melancholii* (1958), *Mit o świętym Jerzym* (1960) są tego przykładem. Sam święty Jerzy, patron poety, pojawi się oczywiście w tym tomiku, ale to nie on jest w nim wiodącym motywem, tylko las, łąka, ptaki, grzyby itd. A święty Jerzy sprowadzony zostaje „na ziemię”:

Gdy spał
 mój patron
 święty Jerzy

 z chorągwi jego
 zrobiłem
 czerwony wsyp (...)

 i tak
 cóż święty

zboże zaczął
zwozić

izbę malować

konia dokupił
drugiego (s. 85–86)

Ramy artykułu nie pozwalają bardziej analitycznie i faktograficznie pokazać bogactwa polsko-ukraińskiej tematyki w wierszach autora *Barokowych czasów*. Dlatego też konieczne jest ukazanie tylko jakiejś niewielkiej części jego spuścizny, by w ten sposób rzecz udokumentować. Jednym z przykładów może być wiersz *Mieszkanie na Łobzowskiej*, tzn. mieszkanie poety w Krakowie. Zaczyna się on od znamienitych słów:

U niego jak w cerkwi
rzekł ojciec [...],

a dalej następuje pokazanie tego, co składa się na taki obraz mieszkania. Jest tam ikona, „chorągiew Łemków wydartą myszom”, „euchołohion księga stareńka” :

Ot takie
obejście guślarza
w środku
ekumenicznych bytów (s. 98–99)

Najogólniej mówiąc są to atrybuty łemkowskiej cerkwi we współczesnym krakowskim mieszkaniu. Nie byłoby ich tam, gdyby Harasymowicz nie czuł się spadkobiercą autochtonicznych mieszkańców Beskidu Niskiego i szerzej Karpat.

W wierszu *Do Jerzego Liberta*, tj. poety, który też kochał góry i nie zrywał z nimi kontaktu, choć nieco dalszymi, z rejonu Huculszczyzny, nie mógł Harasymowicz nie powiedzieć:

Szloch trombity
na wyszywanej
huculskiej połoninie

Głogu święty
ognisty krzak
gorączką spieczony

Ale tamtego świata już nie ma, szczególnie tego beskidzkiego:

Kopułka cerkwi
na wichrze marcowym
skręcona

Co zatem zostanie po obu poetach i ludziach stamtąd:

Ścieżki wydeptane
w śniegu

nad Popradem
nad Prutem (s. 105–106)

Kolejne wiersze ze wspomnianego tomiku i następnych: *Z rodzinnej zmierzchłości*, *Lemkowszczyzna*, *Złockie niebo cerkiewne*, *Elegia lemowska*, *Na cmentarz lemkowski* taki ogląd świata i jego rozumienie dokumentują.

Poeta nie bał się, nie unikał tego, co trudne i niejednoznaczne w historii Polski i Ukrainy, inaczej rzec by można – Rzymu i Bizancjum w rozumieniu eschatologicznym, wyznaniowym czy kulturowym. Jego stanowisko w tej materii wyraźnie ewoluowało, szczególnie w ostatnich latach życia poety. W celu zilustrowania tej kwestii należałoby przeanalizować dokładnie poemat *Lichtarz ruski* i *Paschę Chrysta*. *Poemat Wielkanocny*, czego oczywiście nie sposób tutaj zrobić. Pragnę tylko podkreślić, że Harasymowicz zawsze uważał, iż bardzo skrzywdzono Łemków za ich niezawinione winy. Po takim stwierdzeniu wypada jednakże przyznać, że ulegał poeta pewnym podszeptom, m.in. w czasie takich przełomowych momentów jak rok 1981. Próbował później wyjaśnić to i sprostować, ale ani on sam, ani ludzie, których dotyczyły jego wypowiedzi, nie zapomnieli o tym.

W wierszu *Bieszczady* z roku 1965, późniejszym o rok od *Lichtarza ruskiego*, mamy jakby kondensację tej materii, a także społeczny odbiór zmitologizowanego obrazu wypadków z lat 1943–1947. Kwestia ta nie zostanie tu zaprezentowana z pozycji jednej ze stron, a jedynie poprzez odwołanie się do kilku strof z wierszy. W pięciu zwrotkach odnajdziemy główne, a zarazem najtragiczniejsze odgłosy tego, co stało się nie tylko w Bieszczadach – to „spalone góry”, „głodne cerkwie”, „głosy pomordowanych”, „zbezczeszczony ruski Bóg”, bo „nie wiadomo, czy nie był banderowcem” (s. 171). To nie wszystkie atrybuty tamtego czasu wzajemnej nie zawsze uzasadnionej nienawiści.

Można by zauważyć, że miał Harasymowicz momenty pewnego zmęczenia pograniczem. Wtedy, jak sądzę, starał się osadzić temat w polskich realiach,

polskiej historii, w dniu codziennym. Widać to w takich tomikach jak *Pastorałki polskie* (1966), *Madonny polskie* (1969), *Zielony majerz* (1969), *Znaki nad domem* (1971), *Polska weranda* (1972). Ale przecież to wtedy ukazał się również *Zielnik* (1972), a w nim np. wiersz *Rodowód*, w którym poeta ukazuje złożone są dzieje swego rodu:

Po pradziadku mam

Po babce Niemce
trąby skłonności dęte
gramatyczne rymy

Po dziadku Rusinie
ikony w kadzideł dymie
zdolności diaka skryby

Po matce Tatarce
nieokiełznaność życia
świst uczuć
sumienie czarne

Jestem stołem
zapisanym już dawniej⁹

W roku 1983 ukazały się *Wiersze sarmackie* – zbiorek, do którego wyboru wierszy dokonał K. Lisowski. Pozwolę sobie zauważyć, że moment ich wydania nie był tak zupełnie przypadkowy. Wskazuje na to m.in. krótka notka wydawnicza informująca, że jest to książka dla tych: „którzy chcą wiedzieć coś więcej na temat dziejów państwa i rodziny polskiej, a nie potrafią nagiąć się wyłącznie do podręcznikowych rygorów”¹⁰. W rzeczy samej znaleźć można w tym tomie wiersze pełne chwały, brzęku oręża i dumy państwowej. Podstawy ku temu daje Polakom ich sarmackie pochodzenie, zwycięstwa w bitwach z Turkami, Moskalami i nie tylko. Nie zapomina poeta, że w tych wojnach brali udział także Kozacy, ale to nie oni byli bohaterami, lecz takie postacie, jak Batory, Czarniecki, Żółkiewski, Sapieha i inni jeszcze. Złośliwie nieco można by zapytać: ilu z nich było Polakami z krwi i kości?

Jest też w *Wierszach sarmackich* Ukraina, Moskwa, ale przede wszystkim wielka i mocarna Polska XVI–XVII, a nawet XVIII wieku ze Stanisławem Po-

⁹ J. Harasymowicz, *Zielnik, czyli wiersze dla wszystkich*, Kraków 1972, s. 45.

¹⁰ J. Harasymowicz, *Wiersze sarmackie*, Kraków 1983, s. 254 (abwoluta).

niatowskim włącznie. Są Kozacy, Ormianie i słynne bitwy pod Kłuszynem, Beresteczkiem, Olszynką czy Stoczkiem – te dwie ostatnie już dziewiętnastowieczne. Ale nie jest wcale Harasymowicz takim bezkrytycznym piewcą wielkości Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Nie wspomina też, w tytułach na pewno, Mickiewiczowskiej Litwy. W jednym wierszu pojawia się natomiast koń Radziwiłła, ale tylko dla porównania z czymś, co mogło być ozłocone tak właśnie jak ten koń¹¹. Karol Radziwiłł „Panie Kochanku” został tu prześmiesznie sportretowany przez porównanie z niedźwiedziem:

Lecz czemu ten niedźwiedzi łeb na spirytusie
Janiółki mają słać – kurduple milusie.¹²

Jeżeli już wkraść się tu taki mniej poważny motyw, to może należałoby odnotować również, że wszystkie te wiersze zdają się być napisane z wyczuwalnym sardonicznym uśmiechem, a niekiedy z widoczną ironią. Historyczne zaszczości sąsiadujących ze sobą narodów widzi bowiem Harasymowicz z pozycji „diaka skryby”, jak czytaliśmy wcześniej, dlatego może pozwolić on sobie na odejście od panegirycznej manieri, do której miejscami niby nawiązuje, ale zarazem dworuje sobie z niej. Nie ma takiego nastroju w tych utworach, które tematycznie nawiązują do Beskidu Niskiego (*Michał Skrzydlaty* i *Nieznajowa cerkiew przewrócona*). Archanioł Michał to zarówno patron cerkwi, jak i święty patron staroruskich drużyn. Poeta czyni go dodatkowo świętym i królem:

Ja w szczerym klękę pustkowiu
Szczerbiałą wzniosę ikonę wiersza
Jeden jesteś Polski Korolu
I Twoja gór cerkwa.¹³

Trzeba przyznać, że zinterpretowanie tej zwrotki nie jest proste. Nie sprawia natomiast kłopotu św. Michał jako patron zniszczonej cerkwi w Nieznajowej:

I Pantokrator przewrócony i w kurzu
Skrzydlaty Michał przewrócony z koniem
Zarastają kalina i gąszczem łopuchów
Wielkie usta cerkwi w Nieznajowej.¹⁴

¹¹ Ibidem, s. 59.

¹² Ibidem, s. 86.

¹³ Ibidem, s. 40.

¹⁴ Ibidem.

W końcu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wydanych zostało kilka tomików (np. *Wiersze miłosne*, 1979 czy *Na cały regulator*, 1985), w których tematyka pogranicza została właściwie zupełnie zmarginalizowana. Nie jest to ani zarzut ze strony czytelnika, ani też ukłon poety w stronę wydawców, jak sądzę, a jedynie stwierdzenie, że nie był to *ten znany* nam Harasymowicz. Trzeba jednak zaznaczyć, że w tym czasie ukazały się też dwa malutkie zbiorki: *Cała góra barwinków* i *Wiersze beskidzkie*, potwierdzające fakt, że poeta nie porzucił swoich gór. W roku 1987, po ponad dwudziestu latach od pierwodruku w „Tygodniku Powszechnym” i „Kulturze”, ukazał się *Lichtarz ruski*. W latach dziewięćdziesiątych wyjdą jeszcze kolejne tomiki, m.in. *Erotyki* (1992) czy *Samotny jastrząb* (1995). Pozostał w nich poeta nadal sobą, tzn. „pisząc na dwie ręce”, ale już bez wahań. Najbliższe mu tematy domu, rodziny, a także przyrody Beskidów i piękna świata stanowią dowód miłości poety do rzeczy prostych i ludzi zwyczajnych. To, że jego wiersze stają się niezwykle w odbiorze dzięki zmetaforyzowaniu tego, co realne, rzeczywiste, to już wyłącznie zasługa Harasymowiczowskiego wizjonerstwa.

Резюме

Ежи Харасымович – поэт пограничья

Статья является попыткой показать Ежи Харасымовича как поэта стоящего на пограничье культур. В его творчестве проблематика польско-украинских связей, имеющих в своей основе историческую и культурную общность, проявляется уже в его поэтическом дебюте в 1956 году. Особенное место в творчестве Харасымовича заняли Карпаты и Низкий Бескид с его жителями и их сложной историей. Семейная традиция, беспристрастие поэта, а также его восторг перед горами, перед „страной нежности” дали такую необыкновенную метафорическую картину мира и людей этих гор.

Summary

Jerzy Harasymowicz – poet boundary

The article tries to show Harasymowicz as a poet working under the influence of two cultures. In his poetry relations of Polish and Ukrainian cultures are shown on the cultural and historical background, which are even evident in his first volume of poetry which was published in 1956. The geographical area of the Carpathian mountains and Low Beskids hold a special place in his poetry. Family tradition, objectivity of the poet and his delight in mountain scenery for „the dream and a fairy-tale world” created a metaphorical image of the area and people living in it.

Key words: tradition, Beskid Niski, folk culture, customs, religions calendar.

Liudmila Macapura
Chersoński Uniwersytet Państwowy

Сборник рассказов *Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических повествованиях* Яна Барщевского в контексте русской готической прозы

У книги Яна Барщевского *Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических повествованиях* (*Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach*; 1844–1846) трудная судьба. Больше полутора веков она была недоступна для широкого круга читателей и находилась вне поля зрения литературоведов. Причина подобного забвения кроется в принадлежности этого произведения к нескольким славянским культурам. Я. Барщевский развивался под влиянием белорусских, польских, русских и украинских культурных традиций. Как замечает Д. О. Виноходов, он был российским подданным, белорусом по происхождению и поляком по образованию, но „сам себя он всё же, видимо, позиционировал как представителя польской культуры, хотя в то же время ощущал свою принадлежность к белорусскому народу”¹. Его книга *Шляхтич Завальня*, посвящённая художественному переосмыслению легенд и быличек северной Белоруссии, была написана на польском языке с вкраплениями белорусской речи, а опубликована в Петербурге небольшим тиражом. Неудивительно, что языковой барьер стал препятствием для её восприятия русскоязычными читателями, а преобладание белорусской тематики не заинтересовало польскую аудиторию. *Шляхтич Завальня* надолго стал „забытой книгой”.

Заслуга возвращения главного труда Я. Барщевского в „большую литературу” принадлежит белорусским исследователям. Попытки переиздания *Шляхтича Завальни* предпринимались неоднократно, но первое издание на белорусском языке вышло только в 1990 году в переводе Николая Хаустовича². На русском языке *Шляхтич Завальня* впервые был

¹ См.: Д. О. Виноходов, *Попович Янко, или Беларусь в первой половине XIX века*, [в:] Я. Барщевский, *Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических повествованиях*, Санкт-Петербург 2010, с. 402.

² Я. Баршчэўскі, *Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях*, Мінск 1990.

опубликован в 2010 году в переводе Дмитрия Виноходова³, а в 2012 году книга впервые вышла в Польше – на языке оригинала и в белорусском переводе⁴. Очевидно, что научное изучение *Шляхтича Завальни* только начинается. Много в этом направлении сделано первыми переводчиками книги – Н. Хаустовичем и Д. Виноходовым: в частности, обобщены биографические сведения, представлен исторический фон и даны литературные комментарии. Однако более глубокого освещения требует широкий спектр проблем, связанных с поэтикой произведения и его литературным контекстом. Данное исследование призвано наметить типологические связи между циклом *Шляхтич Завальня* Я. Барщевского и прозаическими циклами 30–40-х годов в русской литературе XIX века, в которых использованы элементы готической поэтики. Отдельные повести из цикла *Шляхтич Завальня* были включены в состав антологий, представляющих готическую прозу. Так, повесть *Кричащие волосы* (*The Head Full of Screaming Hair*) вошла в состав сборника на английском языке *The Dedalus Book of Polish Fantasy* (1996)⁵. Пять повестей в украинском переводе были опубликованы Юрием Винничуком в антологии *Нічний привид: українська готична проза XIX ст.* (2007)⁶. В этом издании Ян Барщевский представлен как украинский автор Иван Барщевский. Возможно, это объясняется тем, что он длительное время жил у своих друзей в Украине, где и был похоронен.

По жанру *Шляхтич Завальня* примыкает к циклически организованным повествованиям, которые объединены рамочной композицией, общими персонажами, местом и временем действия. В русской литературе первой половины XIX века приём циклизации повестей впервые был использован А. Погорельским в цикле *Двойник, или Мои вечера в Малороссии* (1828). Этот сборник стал началом плодотворной традиции: циклы небольших рассказов, новелл и повестей, так называемых „вечеров”, вскоре появились в творчестве Н. В. Гоголя, М. Н. Загоскина, В. Ф. Одоевского, Н. А. Дуровой и других авторов.

В цикле Я. Барщевского события излагаются в форме воспоминаний, написанных от имени автобиографического героя – поповича Янко,

³ Я. Барщевский, *Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических повествованиях*, Санкт-Петербург 2010.

⁴ Я. Баршчэўскі, *Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях*, Warszawa 2012.

⁵ *The Daedalus Book of Polish Fantasy*, ed. W. Powaga, Series “European Literary Fantasy”, London 1996.

⁶ *Нічний привид: українська готична проза XIX ст.*, упорядник Ю. Винничук, Львів 2007.

который в течение осени 1816 – весны 1817 года гостит у своего дяди, состоятельного шляхтича Завальни. Дом, расположенный на берегу большого озера Нещердо, становится в зимнее время своеобразным перекрёстком и убежищем для путников. Сам хозяин сравнивает его с портом на морском берегу⁷. Каждую ночь он зажигает свечу на окне, которая символизирует спасение для тех, кто сбился с дороги, а в контексте всего произведения этот дом служит глобальной метафорой веры и надежды. Как плату за своё гостеприимство хозяин фольварка просит каждого путника рассказать историю и ставит условие, чтобы она была страшной и занимательной. Фольварк шляхтича Завальни – это не просто место, в котором аккумулируются рассказы о сверхъестественном, но и точка фокусировки сюжетных линий, пересечения основных лейтмотивов. В результате такого пересечения складывается своеобразная картина мира, которая по определению автора является „плодом фантазии и меланхоличного духа”⁸.

В оглавлении Я. Барщевский выделяет 14 пронумерованных историй, которые называет повестями (мы будем придерживаться этого определения), хотя на самом деле вставных повествований больше. По утверждению автора, все его повести являются „преданиями давних времён” и основаны на фольклорных источниках. „Я не перенимаю форм, которые использовали английские, немецкие или французские писатели; думаю, что чужеземный наряд будет не к лицу жителю Беларуси, ибо чужда ему болтливость иных народов”, – подчёркивает он в предисловии⁹. Несмотря на это утверждение, в тексте *Шляхтича Завальни* нашли отражение различные литературные традиции, в том числе и готическая.

Понятие „готическая традиция” не обладает терминологической устойчивостью, до сих пор нет его чёткого определения. Н. Д. Тамарченко справедливо указывает, что, если само существование готической традиции в русской литературе в наши дни уже становится очевидным, то изучена она далеко не достаточно¹⁰. По мнению учёного, генетическая связь с жанром готического романа в значительной мере сохраняется в многочисленных и многообразных произведениях о „сверхъестественно-ужасном”. Д. Варма в монографии *Готическое пламя* высказывает мнение, что

⁷ Я. Барщевский, *Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических повествованиях*, Санкт-Петербург 2010, с. 176.

⁸ Ibidem, с. 14.

⁹ Ibidem, с. 6.

¹⁰ *Готическая традиция в русской литературе*, Москва 2008, с. 11.

закономерности эволюции литературной готики обусловлены категориями сверхъестественного и ужасного¹¹.

Создавая свой цикл *Шляхтич Завальня*, Я. Барщевский выбирает из фольклорного материала только те сюжеты, в которых страшное неразрывно связано с ужасным. Основная тема его произведения – противостояние добра и зла, дьявольского и божественного. В каждой повести присутствуют демонологические мотивы, которые группируются вокруг «вечного сюжета» – продажи души. Дьявольское начало воплощается в образе Гугона – сквозного персонажа всего цикла. Он появляется уже в первой повести *Про чернокожника и про змея, вылупившегося из петушиного яйца*, встречается в повестях *Твардовский и ученик*, *Кричащие волосы* и других. Портрет Гугона содержит черты, которые, часто использовались авторами готических романов в описаниях злодеев и превратились в клише: „Невысокий, худой, всегда бледный, нос большой, похожий на клюв хищной птицы, брови густые. Взгляд у него был отчаянный, как у безумца. Одежда чёрная и какая-то странная, совсем не такая, какую носят паны или попы”¹². Его появление сопровождается нетопырями и чёрными птицами. Однако Гугон не выступает в роли искуителя. Один из героев объясняет, что люди сами виноваты, что „дьяволы размножились” в тех краях, а причиной всему являются человеческие пороки – „глупость, жадность и распри”¹³.

Следует отметить, что весь цикл Я. Барщевского проникнут религиозными мотивами, в которых отразились взгляды выпускника Полоцкого иезуитского коллегиума. По мнению автора, нарушение людьми нравственных императивов, неразрывно связанных с верой, ведёт к накоплению и увеличению всеобщего несчастья. В соответствии с общей этической концепцией цикла Я. Барщевский вводит в текст много дидактических сентенций. Например, „как ужасна судьба того человека, который подобен зверю”¹⁴. Зло представлено в повестях цикла не только фольклорно-демонологическими персонажами – ведьмами, оборотнями, чертями, огненными змеями, духами и другими, но и как зло абстрактное, приводящее к природным и социальным потрясениям, к голоду, нищете и смерти простых людей. Наиболее последовательно эта мысль проводится

¹¹ D.P. Varma, *The Gothic Flame, Being a History of the Gothic Novel in England: Its Origins, Efflorescence, Disintegration and Residuary Influences*, London 1957.

¹² Я. Барщевский, *Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических повествованиях*, Санкт-Петербург 2010, с. 32.

¹³ Ibidem, с. 250.

¹⁴ Ibidem, с. 99.

в повестях *Белая сорока*, *Жабер-трава*. Для персонажей цикла – слушателей и рассказчиков историй о сверхъестественном существовании зла воспринимается как неизбежное и роковое. В этом смысле понимание зла в цикле Я. Барщевского сближается с концепцией зла в готическом романе.

Божественное начало в цикле олицетворено в образе Плачки, которая, как привидение в белой одежде, появляется в разных местах Белоруссии. Иногда она предстаёт в образе крестьянской сироты, помогает чистым сердцем людям, предупреждает об опасности, но никому не открывает своей сущности. „Чудо можно постичь сердцем, а не наукой”, – ещё одна сквозная мысль, воплощённая в цикле Я. Барщевского¹⁵. Неслучайно о Плачке рассказывает слепой Францишек, лишённый зрения.

Точки соприкосновения с поэтикой готического романа наблюдаются в использовании автором таких специфических для этого жанра локусов, как кладбище, заброшенный замок, часовня, подземелье. Именно в таких местах чаще всего видят Плачку, неверно толкуя её появление как указание на скрытые клады. Описание часовни, в которую пришли искатели сокровищ, могло бы украсить любой готический роман: „Мрачный вид этого места наводил на них тревогу и страх. Невдалеке шумел густой еловый лес, откуда-то доносился тоскливый голос совы, и месяц очень редко показывался из-за чёрных туч. Часовня стояла на пригорке, в тени нескольких берёз, будто могильный памятник”¹⁶. Местом действия в другой истории о поиске кладов становятся развалины древнего замка, в котором находят склеп, заполненный закованными в кандалы скелетами. Ещё в одной истории о спрятанных сокровищах повествуется о неожиданной находке – скелете в железном панцире и мече. При попытке осквернить прах павшего воина перед незадачливыми искателями появляется „огромный великан в железных доспехах”, держащий над головой „сверкающий меч”. Мотив появления гигантского рыцаря, который творит справедливое возмездие, встречается уже в первом готическом романе – *Замке Отранто* Г. Уолпола. Среди других инвариантных черт готической поэтики, свойственных циклу Я. Барщевского, следует выделить мотивы ожившего портрета, рокового взгляда, падения в пропасть и другие. Созданию общей модальности всего цикла способствуют и мрачные пейзажи.

¹⁵ Ibidem, с. 169.

¹⁶ Ibidem, с. 157.

Фольклорные мотивы в цикле *Шляхтич Завальня* трансформируются под воздействием готической традиции, которая могла быть воспринята Я. Барщевским и опосредованно, через творчество других авторов. Среди ближайших предшественников писателя исследователи выделяют имена Н. В. Гоголя и М. Н. Загоскина, однако связь цикла Я. Барщевского с творчеством его современников требует более внимательного изучения. В 1964 году В. Короткевич, аргументируя необходимость переиздания главного труда Я. Барщевского, назвал его „белорусским Гоголем”¹⁷. Опыт художественного освоения писателем *Вечеров на хуторе близ Диканьки* отразился в формальной организации текста *Шляхтича Завальни*, в его тематике, в ориентации на фольклорное начало, в использовании двуязычных диалогов, в поэтических вставках, а также в многочисленных реминисценциях.

В творчестве Н. В. Гоголя самым готическим произведением является повесть *Страшная месьть*. С данной повестью обнаруживаются наиболее яркие типологические схождения в тексте *Шляхтича Завальни*. Так, общие черты присущи образам колдуна в *Страшной мести* и чернокнижника Гугона в цикле Я. Барщевского. Оба персонажа обладают магической силой и тайным знанием, скрывают свой настоящий облик, их появлению сопутствуют нетопыри. В *Страшной мести* повествование начинается с эпизода оборотничества, в котором проявляется истинная сущность загадочного колдуна, воспринимаемая присутствующими на свадьбе как „образ сатаны”. И Н. В. Гоголь, и Я. Барщевский неоднократно подчёркивают инфернальную природу страшных героев при помощи оппозиции „свой-чужой”.

В развитии готического сюжета важную роль играет онирическая составляющая. С помощью сновидений осуществляется вхождение мистического начала в художественную ткань произведения. В русле готической эстетики сновидение выступает как своеобразная пограничная зона между жизнью и смертью, как часть иного пространства и бытия, в котором сверхъестественные события обретают реальность. Используя приём сновидений, Н. В. Гоголь раскрывает истинные намерения и прошлые преступления колдуна. Во время сна душа Катерины становится уязвима и подвластна злой силе, которой управляет её отец. В повести Я. Барщевского *Кричащие волосы* Гугон обретает власть над Амелией тоже во сне, что приводит к гибели героини. Реминисценции с Н. В. Гоголем

¹⁷ Цит. по: Д. О. Виноходов, *Попович Янко...*, с. 411.

ощутимы и в сцене вызывания духа в повести Я. Барщевского *Огненные духи*: „Пламя свечи стало подниматься вверх, всё выше и выше, и вдруг из огня возникла высокая, лёгкая, колеблющаяся человеческая фигурка”¹⁸. Сравним этот эпизод со сценой вызывания колдуном души Катерины в повести Гоголя: „Тонкий розовый свет становился ярче, и что-то белое, как будто облако, веяло посреди хаты”¹⁹. Подобные реминисценции носят скорее типологический характер, поскольку являются распространёнными в ранней романтической литературе. Их можно обнаружить в произведениях Э. А. Т. Гофмана, А. Погорельского и других писателей.

Д. О. Виноходов указывает на сходство цикла Я. Барщевского *Шляхтич Завальня* с циклом М. Н. Загоскина *Вечер на Хопре* (1834–1837), которое бросается в глаза с первых же строк²⁰. „Дядюшка моего приятеля Заруцкого, Иван Алексеевич Асанов – дай бог ему царство небесное, – был старик предобрый. Никогда не забуду я нескольких дней, проведенных мною под конец осени, помнится, в 1806 году, в его саратовской деревушке, на Хопре”²¹. Действительно, в циклах Я. Барщевского и М. Н. Загоскина много совпадений, которые носят внешний характер. В частности, совпадают и время повествования – начало XIX века, и место действия – глухая деревня, расположенная на берегу обширного водоёма, и даже время года – осень. По мнению Д. Винохова, шляхтич Завальня – литературный двойник персонажа М. Н. Загоскина. Оба героя являются владельцами поместий, в которых происходит действие, по степени родства они приходятся рассказчикам дядями, оба отличаются добротой и сердечностью и любят страшные истории. Однако на этом их сходство и заканчивается, потому что стилистическая направленность обоих циклов различна.

В отличие от Я. Барщевского, М. Н. Загоскин в цикле *Вечер на Хопре* демонстрирует многообразные формы взаимодействия с поэтикой готического романа: от иронического обыгрывания сюжетов, тем, мотивов, образов до их стилизации и пародирования. Отталкивание от готических элементов становится у него сознательным литературным приёмом, что ярко проявляется, например, в обрисовке образа Асанова. Знакомство

¹⁸ Я. Барщевский, *Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических повествованиях*, Санкт-Петербург 2010, с. 192.

¹⁹ Н. В. Гоголь, *Страшная месть*, [в:] idem, *Полное собрание сочинений и писем в 23 томах*, т. 1, ответственный редактор Е. Е. Дмитриева, Москва 2001, с. 196.

²⁰ Д. О. Виноходов, *Попович Янко...*, с. 406.

²¹ М. Н. Загоскин, *Вечер на Хопре*, [в:] idem, *Избранное*, Москва 1988, с. 40.

рассказчика с Асановым предваряют многочисленные слухи о нём, напоминающие о злодеях в готических романах. „Одни говорили, что он нелюдим и гордец, другие называли его полоумным; были даже добрые люди, которые уверяли, что будто бы он никогда не ходил к обедне и что в его доме нет ни одного образа”, – пишет М. Н. Загоскин²². Кроме этого, живёт Асанов „в каком-то заколдованном доме”. Далее следует прямая отсылка к жанру готического романа, потому что дом Асанова называет „заколдованным” почитательница Анны Радклиф, которая выписывала из Москвы все её романы. Но если в готическом романе мотив слухов вводится с целью создания тайны и атмосферы страха и тревожности, то в цикле М. Н. Загоскина *Вечер на Хопре* он подвергается прямому пародированию, поскольку Асанов оказывается „предобрым стариком”.

К общим мотивам в циклах М. Н. Загоскина и Я. Барщевского следует отнести фольклорно-демонологический мотив бесконечной пляски, который используется обоими авторами в похожих сюжетных ситуациях. Бесконечная пляска персонажей выступает как способ наказания со стороны нечистой силы, которой они противостоят. В рассказах *Пан Твардовский* М. Н. Загоскина и *Кричащие волосы* Я. Барщевского представлен общий мотив постройки фундамента дома из „проклятого камня”, из-за чего новый дом приобретает мистические свойства.

Фабулы рассказов М. Н. Загоскина характеризуются двойственностью, позволяющей как реальную, так и фантастическую интерпретацию событий. Подобной двойственности лишены истории Я. Барщевского. В цикле *Шляхтич Завальня* отсутствует ироническое, игровое начало. Важную роль в его построении играют лирические отступления, насыщенные элегическими раздумьями о судьбах родины, а также меланхолическими размышлениями дидактического характера. В этом смысле цикл Я. Барщевского типологически ближе к готическим романам А. Радклиф, чем к циклу М. Н. Загоскина. Неслучайно В. Скотт назвал английскую писательницу „могущественной волшебницей” и „первой поэтессой романного жанра”²³. Она привнесла в жанр готического романа поэтические описания и лирические отступления, включила стихотворения в художественную ткань прозаического текста. Возможно, Я. Барщевский следует традициям А. Радклиф, вставляя в цикл „страшных повестей” собственные стихотворения.

²² Ibidem, с. 40.

²³ В. Скотт, *Миссис Анна Радклиф*, [в:] А. Радклиф, *Итальянец*; перевод с англ. А. Ю. Бриловой, Ленинград 2000, с. 341.

Использование методов сравнительного подхода позволяет обнаружить типологические связи между циклом рассказов *Шляхтич Завальня* Я. Барщевского и циклами рассказов *Вечера на хуторе близ Диканьки* Н. В. Гоголя и *Вечер на Хопре* М. Н. Загоскина, уточнить пути трансформации готической традиции в русской прозе первой половины XIX века.

Streszczenie

*Zbiór opowiadań „Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach”
Jana Barszczewskiego w kontekście rosyjskiej prozy gotyckiej*

Autorka analizuje zbiór opowiadań Jana Barszczewskiego *Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach* (1844–1846) w kontekście tradycji gotyckiej w literaturze rosyjskiej lat 30.–40. XIX wieku. Dochodzi do wniosku, że motywy ludowe w cyklu *Szlachcic Zawalnia* przekształciły się pod wpływem tradycji gotyckiej, która mogłaby być postrzegana przez Jana Barszczewskiego pośrednio, za pośrednictwem twórczości innych autorów. Wykorzystanie metody porównawczej ukazuje relacje typologiczne między cyklem Jana Barszczewskiego i cyklami opowiadań *Wieczory na chutorze w pobliżu Dikańki* Mikołaja Gogola i *Wieczór nad Choprą* Michała Zagoskina.

Summary

*Collection of stories „Nobleman Zawalnia, or Belarus in Fantastic Stories”
by Jan Barszczewski in the context of Russian gothic prose*

The article deals with the collection of stories by J. Barszczewski *Nobleman Zawalnia, or Belarus in Fantastic Stories* (*Szlachcic Zawalnia czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach*, 1844–1846) in the context of Gothic literary tradition in Russian literature of the 30–40-es of the XIXth century. The author comes to the conclusion that folk motives in the cycle *Nobleman Zawalnia...* transform under the influence of Gothic literary tradition, which could be perceived by J. Barszczewski indirectly, through the oeuvre of other authors. The usage of comparative methods allows to find out typological relations between the cycle by Barszczewski and the cycles of stories *Evenings on a Farm near Dikanka* by N. V. Gogol and *An Evening on Khoper* by M. N. Zagoskin.

Key words: gothic novel, gothic tradition, supernatural, motif, poetics.

Oksana Malcewa
Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta
w Kaliningradzie

Шекспир, Шопен, Рембрандт и другие: Концепция гения в христианской парадигме Бориса Пастернака

Борис Пастернак считается сегодня одним из самых исследуемых русских поэтов XX века. Однако подавляющее большинство литературоведческих работ посвящено позднему периоду деятельности художника (особенно его роману *Доктор Живаго*), в то время как раннее творчество исследуется значительно меньше. Одной из причин такого положения вещей является то, что ранний Пастернак устойчиво воспринимается как „непонятный поэт” (И. Кунин), каждое стихотворение которого – это своего рода „ребус” (К. Локс). Чрезмерную усложнённость своих ранних произведений сам поэт пояснял „расчетом на очень искущённого читателя”¹ – читателя, хорошо ориентирующегося прежде всего в различного рода историко-культурных явлениях, аллюзиями на которые проникнута вся ткань поэтического слова Пастернака. Неудивительно, что изучение этих аллюзий занимает значительное место в современном пастернаковедении (А. Жолковский, В. Баевский, Е. Фарыно, И. Смирнов, Е. Тюленева, Л. Горелик и др.). Причём общей тенденцией здесь является мысль о наличии в творчестве Пастернака „мощного мифологического страта” (В. Баевский).

В рамках этих перспективных, на наш взгляд, исследований находится данная статья, в которой рассматривается цикл Пастернака *Сон в летнюю ночь* (из книги *Темы и вариации*, 1916–1922). Это одно из тех ранних произведений поэта, историко-культурный контекст которого практически не изучен и содержание которого в результате представляется некоторым учёным непрозрачным и противоречивым. Например, О. Сененко пишет, что название цикла отсылает к комедии Шекспира, но „отсылка эта,

¹ Б. Пастернак, *Полное собрание сочинений: в 11 т.*, Слово–Slovo, Москва 2003–2005, т. 11, с. 465.

однако, далее никак не развёрнута”, что здесь „роль межтекстовых связей играют музыкальные образы [...] и тесно связанный с ним мотив поэтического творчества”, но при этом на первый план выступает историческая тематика, которая, однако, „не является ведущей ни в одном из стихотворений”².

Итак, первое стихотворение цикла *Крупный разговор. Ещё не запирали...* совмещает в себе одновременно три плана повествования. Первый представляет собой современную лирическому герою картину, рисующую „реальные признаки голодного времени: распределители и ночные очереди, ожидающие открытия магазинов и привоза продуктов”³:

Крупный разговор. Ещё не запирали,
Вдруг как: моментально вон отсюда! –
Сбитая причёска, туча препирательств
И сплошной поток шопеновских этюдов⁴.

Обращение к „шопеновским этюдам” как метафоре народного недовольства и брани обусловлено, по-видимому, образом так называемого *Революционного* и других, близких ему по тематике, этюдов. Действительно, в них музыка „имеет речевой характер, она воспринимается как пламенная речь оратора”⁵. При этом важно то, что Пастернак, таким образом, уподобляет трагедию русского народа в период советской власти образу страдающей Польши, где в 1830–1831 годах вспыхнуло восстание против российского самодержавия, ведь упомянутые этюды были написаны Шопеном в данный исторический момент.

Однако идейный центр стихотворения содержится во второй строфе, в которой взгляд лирического героя перемещается по вертикали вверх, то есть от земных реалий – на небеса, откуда „поток” изливается музыка и где находится её источник, названный здесь безымянно „гений”. Этот последний имеет подчеркнуто духовную сущность (слово „гений” в переводе с лат. означает „дух”) и метонимически сливается с образом луны-света (слово „луна” восходит к праиндоевропейскому языку и означает

² О. Сененко, „Темы и вариации” в контексте раннего творчества Б. Пастернака: поэтика лирического цикла и книги стихов, Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук, Московский государственный педагогический университет, Москва, 2007, с. 146–147.

³ Б. Пастернак, *op. cit.*, т. 1, с. 495.

⁴ *Ibidem*, с. 202.

⁵ *Этюды Шопена*. Лекции по музыкальной литературе, [online] <<http://musike.ru/index.php?id=64>>.

„светлая”), отчего люди, которые воспринимают его дар, представляются теперь стоящими „до края света / Чередой”. В результате данный образ воспринимается как непосредственная интертекстуальная аллюзия на библейский образ Иисуса Христа, о Котором сказано, что „Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до края земли” (Деян. 13:47). Эта аллюзия подкрепляется и имплицитруемой в стихотворении картиной раздачи людям рыбы („кеты”), которая соотносится с евангельской историей о чудесном насыщении Христом пяти тысяч человек – чуде, которое, однако, не является аксиологическим центром Христова деяния. Таковым выступает Его проповедь духовной благодати, изливаемой в погибающий мир незнающих любви людей. Упоминание об Иисусе Христе в приведённом выше историческом контексте творчества польского композитора и русского поэта выглядит неслучайным, ведь Палестина в I в. н.э. находилась под властью Великой Римской империи. И естественно, что еврейский народ чаял увидеть в лице своих пророков прежде всего борцов против этого физического гнёта. Однако Христос, наоборот, стал проповедовать блаженство духовное, которое можно достичь и в самых тяжёлых материальных условиях, даже в нищете. Другими словами, метафорическое уподобление польского композитора Христу призвано, по-видимому, подчеркнуть духовную, а не материальную, земную миссию его художественного гения:

Вряд ли, гений, ты распределяешь кету
В белом доме против кооператива,
Что хвосты луны стоят до края света
Чередой ночных садов без перерыва⁶

– миссию, которую теперь в XX веке в духовно „голодную” эпоху советского периода призван теперь выполнять и лирический герой-поэт цикла.

В данном контексте примечательно выглядит то, что в разгар упомянутых событий 1831 года композитор сгоряча написал в своём дневнике: „О Боже, Ты есть! Есть и не мстишь! Или ещё не достаточно Тебе московских злодеяний – или – или же Ты сам москаль!...”⁷. Эта запись, сделанная Шопеном единственный раз в жизни, стала, очевидно, для Пастернака свидетельством того, что чрезмерная увлечённость гения

⁶ Б. Пастернак, *op. cit.*, т. 1, с. 202.

⁷ *Революционный этюд*. Википедия, [online] <[http://ru.wikipedia.org/wiki/Революционный_этюд_\(Шопен\)](http://ru.wikipedia.org/wiki/Революционный_этюд_(Шопен))>.

земной, материальной стороной жизни может привести его к утрате Божественного Логоса и даже к богоборчеству. По сути, именно эта тема становится ведущей в последующем стихотворении *Всё утро с девяти до двух...* Ключ к ней содержится в центральном образе некой „больной” баллады, которую „излечивает” Шопен. Считается, что он, действительно, создал свой, музыкальный вариант уже существовавших поэтических баллад – произведений Мицкевича и прежде всего его пронизанной непримиримым духом национально-освободительной борьбы поэмы *Конрад Валленрод* (1827). Выразителем авторских идей выступает в ней образ главного героя – крестоносца Конрада Валленрода, который, будучи верховным магистром ордена и одновременно литвином по происхождению, стал вести подрывную деятельность в тылу исконного врага своего народа. Собственно, это был призыв польского поэта к своим соотечественникам, находившимся под гнётом ненавистной власти, действовать аналогично. Эпиграф к произведению, взятый из Макиавелли („Вы должны поэтому знать, что бороться можно двояко... надо быть лисицей и львом”⁸), рисует образ Конрада как лукавого хищника, что в христианизированной системе пастернаковских мотивов воспринимается со знаком минус (достаточно вспомнить библейский текст о том, что именно „диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить”, 1 Пет. 2:8). Действительно, в поэме Мицкевича явно преобладает „безбожный” мотив: противостоящие силы представлены, с одной стороны, язычниками, с другой стороны – крестоносцами, которые, однако, в жестокой схватке забыли о своей духовной миссии:

Крестом украсясь, [...]
Вошли в Литву; и что ж там совершили?
[...]
Ты зарева увидишь вкруг сиянье –
Войны захватнической одеянье⁹.

Дух же христианской, самопожертвенной любви оказывается воплощённым в образе возлюбленной героя, заточённой в башне, что не могло не быть знаковым для автора книги *Сестра моя – жизнь*. Дух безбожия и нелюбви воюющих сторон к друг к другу, которым пронизана

⁸ А. Мицкевич, *Конрад Валленрод* (пер. Н. Асеева), [в:] А. Мицкевич, *Избранное: Лирика. Баллады. Поэмы*, Огиз, Москва, 1946, с. 255.

⁹ Ibidem, с. 307–308.

поэма, по-видимому, побудил Пастернака охарактеризовать её как больную „дифтеритом”, называемым ещё, как известно, „гнилой жабой”, что соотносимо с библейским определением духов нечистых как „подобных жабам” (Отк. 16:13). Данная аллюзия подкрепляется в стихотворении упоминанием о необходимости „кровь [...] отворить ей”, ведь, согласно актуализированному фразеологизму, пускают „дурную” кровь.

Следует отметить, что данный образ „баллады” оказывается в произведении Пастернака синонимичным демоническим образам лукавого („змея”), яда („озон”, „олеандр”, „табак”) и смерти („розмарин”, который используют при бальзамировании тел усопших). Эти таящие опасность реалии окружающего мира в присутствии Шопена оказываются безвредными (символичен образ „ужонка”). Собственно, в их обезвреживании и заключается, по мысли поэта, миссия гения („Прикосновение руки – / И пол-вселенной – в изоляции”). В его образе подчёркнуто духовное начало: как и в предыдущем стихотворении, он возвышается над землёй, наподобие луны („в белом мезонине”), находится в ореоле лилового (лиловый, или фиолетовый цвет – это оптический синтез красного и синего, а поскольку в православной традиции „красный цвет – символ Божьей благодати, синий – символ вещества, твари [...], можно сказать, что фиолетовый цвет в иконе – символ вещества, которого благодать коснулась”¹⁰), он посланник („депешю [...] отозван”) – исцелять народ-„сад” (см. уподобление людей „череде садов” в предыдущем стихотворении), дезориентированный в мире материальных ценностей: „Когда [...] не исцелить, / Всё лето будет в дифтерите”. В результате образ гения выступает у Пастернака как явление Божьей благодати, ср.: „Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятное” (Лук. 4:18–19). В произведении ведущей является мысль о том, что целебная сила творчества гения заключается в отражении духовной, а не плотской составляющей его личности (символичен образ звучащей в саду прелюдии Шопена, актуализирующей тему Духовного Первоначала, Божьего Слова в творчестве польского композитора), в противопоставлении своего духовного идеала земной бездуховной действительности.

¹⁰ А. Селас, *Тайнопись древней иконы*, „Наука и религия” 2013, № 3, [online] <www.n-i-r.ru/modules.php?name=Content&pid=613>.

В стихотворении *Пианисту понятно шнырянье ветошниц...* Пастернак разрабатывает притчевый сюжет. Приём иносказания декларируется уже в первых строчках произведения: здесь пианист уподоблен ветошнице, а рояль – её корзине. Образная система притчи включает в себя также компонент, пока отсутствующий, но принципиально необходимый для функционирования заданного единства, без которого оно бессмысленно и пусто: „Одно прозябанье корзины / И крошнн раскрытых роялей влачат”. Это некая ценная кладь, названная в стихотворении „кладом”, найдя который, музыкант/тряпичница отказывается от того имущества, которым располагал(а) до этого – от ветоши, тряпок, мусора и праха. Знаково, что последнее соотнесено здесь с образом кирпича („Он вешает облако бури кирпичной, / Как робу на вешалку на лето в шкаф”), то есть обожжённой глины – материала, из которого, согласно библейской истории, было сотворено физическое тело человека. Ветошь, таким образом, становится символом его плотской природы. Образ же клада, ради которого художник оставляет материальные ценности мира, соотносится с евангельским образом сокровища, найденного неким человеком – „и от радости о нём идёт и продаёт всё, что имеет” (Мат. 13:44). Таким сокровищем, по словам Христа, является Царство Небесное. Другими словами, „клад” в стихотворении оказывается духовной составляющей тройственной структуры человеческой личности, которая, по христианскому учению, является единством духа, тела и души. Последняя представлена здесь в образе рояля как сосуда, соответственно наполняемого драгоценной водой – Духом („И тянется, как за походною флягой, [...] К роялю, обычно обильному влагой / Огромного душного лета столиц”). Действительно, в Библии имеет место изображение Духа Святого как „воды живой”. Таким образом, говоря об изливаемой из рояля „влаге лета”, автор актуализирует здесь ведущую тему всего цикла – тему творчества гения как явления небесной благодати.

Кульминация имплицитного сюжета содержится во второй части стихотворения, в которой художник, получив дар Духа, обретает черты воина („походная фляга”, „военная карта”) и вступает в брань с „грозой”-зверем („гроза четырьмя / Прыжками бросается к бочкам с цементом”), угрожающим гибелью человечеству, ведь цемент как строительный материал – это своего рода аналог того же кирпича, так как его основой также является глина. Таким „зверем” в Библии именуется дьявол – вековечный антагонист Бога-Творца. Как и в библейском первоисточнике, в стихотворении Пастернака он в результате скован и обезврежен: „Дрожащими лапами ливня гремя”, то есть „гремя”, как цепью. Ср.:

„И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его [...] дабы не прельщал уже народы”. Обращает на себя внимание, что в контексте цикла образу упомянутого Ангела соответствует образ пианиста (Шопена): он являет в себе духовное начало, возвышается над землёй и в руках его „ключ от бездны” – ливень (небесная влага). Кроме того, как и библейские Ангелы, которые воевали против дракона (Отк. 12:7–9), он духовный воин, и в этом, по мнению Пастернака, заключается высшее предназначение художника, чьё творчество должно быть оружием, поражающим зло. Наконец, следует отметить наличие здесь межтекстовой связи и в разработке темы дьявольского „обольщения народов”, которая в предыдущем стихотворении развивалась в мотивах национальной розни и политических конфликтов и которой уже в рассматриваемом произведении противопоставлена тема Божьей любви к людям – в образе творения, актуализирующем идею общности происхождения народов и их однородности в глазах Создателя.

В следующем стихотворении как раз и возникает образ Творца, взгляд Которого как бы направлен по вертикали вниз – на землю. Здесь образ человеческого жилища („дома”), взятый в контексте предшествующего притчевого сюжета с его мотивом строительства, воспринимается как метонимический образ человека, а образ канавы „под домами” – как образ его падения, причём падения духовного, так как слово „канавы” этимологически связано с венецианским словом *kanaula* – „пасть”, что актуализирует образ упомянутого выше зверя, „ищущего кого поглотить”. Действительно, в стихотворении появляется характерный образ тьмы („ночи”), которая поглощает небесный свет („зарю”), но при этом представляется его подобием: „Но едва лишь зарю доконав, / Снова розова ночь, как она, / И забор поражён парадоксом”. Заметим, что в христианской традиции сатану часто именуют Люцифером (лат. „утренняя звезда”) как „горделивого и бессильного подражателя тому свету, который составляет мистическую «славу» божества”¹¹ (ср. с самообозначением Христа как „звезды светлой и утренней”, Отк. 22:16) – подражателя, „обольщающего” таким образом народы подобием истины. Примечательно, что этот свет в стихотворении соответственно связан с inferнальными мотивами жара и дыма („соткой и коксом / По вокзалам дышал и зажётся”).

¹¹ *Мифы народов мира*: Энциклопедия в 2 т., Советская энциклопедия, Москва, 1988, т. 2, с. 84.

Олицетворением человечества, отвергнувшего свет истины и влекомого блеском ложных ценностей, выступает в произведении образ вокзала – сооружения, которое своим названием обязано парку и увеселительному заведению Восхолл в пригороде Лондона. А поскольку этот образ является также символом людей, находящихся в дороге, то становится неудивительным появление здесь мотивов евангельской притчи о блудном сыне. Так, если в первой части стихотворения имеют место мотивы путешествия „в дальнюю сторону” и „распутной жизни” (Лук. 15:12–13), то во второй части – мотивы разочарования и одиночества:

И бормочет: прерви до утра
Этих сохлых белил колебанье.
Грунт убит и червив до нутра,
Эхо чутко, как шар в кегельбане¹²,

А в третьей части – мотивы покаяния:

И на утренней тёрке торца
От зари, как от хренной полоски,
Проступают отчётливо слёзки¹³.

Обращает на себя внимание то, что, согласно традиционной библейской образности, „блудное” человечество Пастернак изображает как заблудившуюся овцу (см. Лук. 15:4–7): „Вешний ветер, шевьот и грязца” (заметим, что словом „шевьот” называется ткань, изготовленная из шерсти шевиотских овец). Важно то, что развязка конфликта между Богом и человеком в библейской притче содержит идею об отцовской любви Творца к Своему, даже заблудшему, творению и Его готовности излить на него благодать Своей милости и прощения. Выразителем этой воли в стихотворении Пастернака должен выступать лирический герой – посланник, сменивший Шопена как явление небесной благодати (символичен повтор „лилового” цвета), но изливаемой не в музыке, а в слове: „Я вишу на пере у Творца / Крупной каплей лилового лоска”. Этот образ, создающий в стихотворении рамочную композицию, выдвигает на первый план проблему высокого назначения поэта в этом мире. Однако, благодаря приёму параллелизма, автор подчёркивает разницу между начальным и финальным образом

¹² Б. Пастернак, *op. cit.*, т. 1, с. 204.

¹³ *Ibidem*.

(ср.: „Я креплюсь на пере у Творца / Терпкой каплей густого свинца”), что выражает идею принципиального несоответствия между заданной миссией поэта и её реализацией на практике, когда, горя негодованием и жадой мести (символ – образ „терпкого”, то есть резкого, язвительного слова-„свинца”), художник не исполняет волю Посылающего его (герой „крепится”, то есть держится, не падает), а подменяет её своими собственными, человеческими устремлениями, теряя, таким образом, дар Духа Святого (символично изменение цвета в образе героя – от „лилового” к безжизненному, „свинцово”-серому).

Тема художника, проматывающего полученное от Отца наследство, становится центральной в последнем стихотворении цикла *Пей и пиши, непрерывным патрулем...* Её символическим воплощением является здесь образ Рембрандта на этикетке „трёхгорного” пива, налитого в кружку лирического героя-поэта: на ней воспроизводится автопортрет нидерландского живописца с женой Саскией на коленях – картина, получившая название *Блудный сын в таверне* (1635). Рембрандт изображён тут в военной форме, но в его руках не оружие, а наполовину осушённый бокал, глаза затуманены, на лице – счастливая улыбка. По сути, явленная в стихотворении действительность повторяет эту картину: пиво распивает и герой-поэт („пей и пиши”), и улицы, „гуляющие под руку в июле / С кружкой пива, тобою пригубленной”, – собственно, весь окружающий мир уподоблен таверне:

Зеленоглазая жажда гигантов!
Тополь столы осыпает пикулями,
Шпанкой, шиповником. – Тише, не гамьте! –
Шепчут и шепчут пивца загогулины¹⁴.

Образ художника, как и всё вокруг, оказывается охваченным мотивом „заблудившегося” человечества. Соответственно здесь же возникают демонические мотивы, свидетельствующие о присутствии „князя мира сего”, а именно: в образе „непрерывного патруля” (французское по происхождению слово „патруль” восходит в свою очередь к слову, означающему «лапа, копыто», актуализированному у Пастернака его паронимическим созвучием с соседним словом „лампа”), в образе „подкарауливающих” (то есть подстерегающих, как хищник свою добычу) „ламп керосиновых” (этот образ перекликается с мотивом лжесвета из

¹⁴ Ibidem, с. 204.

предыдущего стихотворения). Удушающая атмосфера передана здесь словом „спёртость”.

Пастернак рисует художника ещё не утратившим способность слышать голос Духа – воспринимать откровение свыше о сути происходящего. В его памяти – „виденья” о прошлом: как Рембрандт в счастливейший в своей жизни момент довольства и безмятежности помнил о евангельском блудном сыне (о том, что в своей судьбе живописец пророчески видел воплощение библейской притчи, свидетельствует тот факт, что, пережив в дальнейшем годы утрат – смерть близких, оставленность учениками, банкротство и нищету, болезнь и одиночество, – он создаёт картину *Возвращение блудного сына*, 1668–1669), так и лирический герой-поэт в похожей ситуации помнит о Рембрандте и в текущем моменте предчувствует „предгрозе”:

Бурная кружка с трёхгорным Рембрандтом!
Спёртость предгрозя тебя не испортила.
Ночью быть буре. Виденья, обратно!
Память, труби отступление к портерной!¹⁵

Заметим, что, заглушая внутреннюю тревогу забытьём (в „портерной”), герой уподобляется горнистам армии генерала Самсонова, не выполнившим своей миссии – не предупредившим своих о грозящей опасности („в сон погружённые”) и в результате погибшим вместе со всеми в „глуби Мазурских озёр”. Горнисты (музыканты) Самсонова, таким образом, – это пророки, проспавшие врага – и смерть. Упоминание фамилии генерала А.В. Самсонова, армия которого в 1914 году во время Восточно-Прусской операции была окружена противником и понесла огромные потери, также выглядит знаковым. Она ассоциируется с библейским образом Божьего воина-назорца Самсона, который тоже однажды потерял бдительность и в состоянии безмятежного сна был схвачен коварным врагом (ср. со словами Великого князя Александра Михайловича об „армии генерала Самсонова, сознательно брошенной в расставленную Людендорфом ловушку”¹⁶).

Свойство событий повторяться во времени свидетельствует о мифологической основе поэтики Пастернака. В финальной части стихотворения, в которой «заблудший» лирический герой-поэт уже в современной Москве аналогично не замечает прихода апокалиптического „всадника”-антихриста

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ А.В. Самсонов, [online] <<http://ru.wikipedia.org/wiki/Самсонов>>.

(„мотоцикл тараторил, / Громкий до звёзд, как второе пришествие. Это был мор”), несущего людям гибель и знаменующего собой конец „лета Господнего”. Согласно Библии, врагу рода человеческого тогда будет на время предоставлена полная свобода действовать. С этим обстоятельством, как нам представляется, связан и тут же возникающий в стихотворении образ „моратория / Страшных судов, не съезжавшихся к сессии” (ср. с упомянутым выше образом скованного зверя).

Итак, название цикла *Сон в летнюю ночь*, на наш взгляд, передаёт мысль о состоянии духовного небодрствования лирического героя, отчего он оказывается проспавшим „лето Господнее благоприятное”. Проецируя своё творение на одноимённую пьесу Шекспира, автор подчёркивает общность ведущих мотивов обоих произведений, а именно – мотива блуждания героев по лесу (символ жизни) под действием демонического дурмана (см. в стихотворении образы пива, табака и т.п.), заставляющего их руководствоваться ложными представлениями о себе и о мире, отчего они едва не пропали; мотива спасительной для заблудившихся „капли”, проливаемой по воле милосердного бога его служителем (см. пастернаковский образ художника-„капли”) и возвращающей им истинное восприятие действительности; мотив вредоносности для людей „капли”, проливаемой по собственной, а не высшей, воле этого служителя (см. образ художника-„блудного сына”). Кроме того, немаловажно, что здесь происходит метонимическое сближение образов автора и великого английского драматурга. Для Пастернака было символичным то, что фамилия „Шекспир”, которая может переводиться как „потрясающий копьём”, является своего рода семантической параллелью к образу Георгия-победоносца – воина, поражающего змея, ведь сам Пастернак – поэт и христианин – видел своё предназначение в том, чтобы быть продолжателем этой духовной традиции в европейской культуре. Недаром героя своего знаменито романа он назовёт Юрием – именем св. Георгия.

Streszczenie

*Szekspir, Chopin, Rembrandt i inni: Koncepcja geniuszu w chrześcijańskim paradygmacie
Borysa Pasternaka*

W niniejszym artykule są rozpatrywane aluzje historyczno-kulturalne cyklu *Sen nocy letniej* z tomu wierszy *Tematy i wariacje* (1916–1922) Borysa Pasternaka. Na szczególną uwagę zasługuje poetycka interpretacja osobowości twórczych Szekspira, Chopina, Rembrandta i innych twórców. Głównym problemem badawczym jest swoistość koncepcji geniuszu w poezji Pasternaka jako fenomenu Łaski Bożej.

Summary

Shakespeare, Chopin, Rembrandt and Others: Conception of Genius in the Christian Paradigm of Boris Pasternak

In the present article historical and cultural allusions in the cycle *A Midsummer Night's Dream* by B. Pasternak (from his book *Themes and Variations*, 1916–1922) are analyzed. The special attention is paid on artistic interpretation of the images of Shakespeare, Chopin, Rembrandt and others. Peculiarities of the Russian poet's conception of genius as a phenomenon of grace of God are investigated.

Key words: B. Pasternak, cycle, historical and cultural allusions, image of artist, biblical motifs.

Maria Mocarz-Kleindienst

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Inność kulturowa w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego i ich rosyjskich przekładach

Twórczość Ryszarda Kapuścińskiego od wielu lat cieszy się dużą popularnością wśród czytelników zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jego utwory, obok książek Stanisława Lema, są najczęściej tłumaczone na języki obce. Szacuje się, że zostały wydane w ponad 50 językach¹. Do najczęściej tłumaczonych tytułów niewątpliwie zaliczyć możemy *Cesarza*, *Heban*, *Imperium*, *Wojnę futbolową*, *Szachinszacha*, *Podróże z Herodotem*. Kluczem do tak wielkiej popularności stało się niewątpliwie dążenie autora do zbliżenia kultur, kształtowania społeczeństw otwartych, świadomych różnorodności kulturowej świata i jego głównych problemów. Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego stanowią pokłosie jego licznych eksploracji antropologicznych, psychologicznych, społecznych. Zdaniem Artura Rejtera, sprawozdawczy charakter tych podróży, połączony z obecnością licznych komentarzy do prezentowanych faktów sytuuje teksty Kapuścińskiego wewnątrz gatunku reportażu podróżniczego², chociaż sam autor, a za nim inni badacze są skłonni uważać, że teksty te należą do gatunku reportażu literackiego, opartego wszakże na „doświadczeniach wieloletnich podróży po świecie”³.

Inność kulturowa jako nieodłączna, konstytutywna cecha reportażu jest postrzegana jako wartość poznawcza. I właśnie tę tezę postaram się w dalszej części niniejszego opracowania udowodnić. Inność ta ukształtowana jest poprzez współoddziaływanie dwóch czynników: heterogeniczność poszczególnych systemów kulturowych oraz otwartość jednostek taki system kulturowy tworzących. Otwartość systemów kultury pozwala dostrzec zjawiska wspólne, jak też dyferencjujące takie systemy. Właśnie zjawiska odmienne, których istnienie stwierdzamy poprzez odniesienie do własnego systemu kultury, leżą u podstaw

¹ Z. Bauer, *Antymedialny reportaż Ryszarda Kapuścińskiego*, PAP, Warszawa 2001, s. 225.

² A. Rejter, *Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej*, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 36.

³ R. Kapuściński, *Ten Inny*, Znak, Kraków 2006, s. 9.

kategorii inności⁴. W cechę odmienności wyposażone są z reguły zjawiska kultury trzeciej, która będzie obiektem niniejszych badań. Kultura trzecia w kontekście przekładu jest postrzegana jako kultura zewnętrzna zarówno w stosunku do kultury i języka oryginału, jak i przekładu. Będzie nią kultura afrykańska (a właściwie kultury afrykańskie) w powieści *Heban* oraz kultury państw, byłych republik kaukaskich (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) i azjatyckich (Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan) w powieści *Imperium*. Zatem obiektem reporterskiego opisu uczynił Kapuściński kulturę egzotyczną, odległą w sensie geograficznym i mentalnym (kultura afrykańska) oraz nieco bliższą – przynajmniej odbiorcom rosyjskojęzycznym – kulturę byłych republik kaukaskich i azjatyckich, włączonych w imperialną przestrzeń Związku Radzieckiego. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na bardzo istotny fakt. Otóż, jak słusznie zauważa Mariusz Dziegłowski, „reporter stawia granice kulturowe ponad narzuconymi granicami państwa radzieckiego, opisuje każdy obszar jako odrębną całość kulturową”⁵. Taka sytuacja ma miejsce w *Imperium*, w którym Kapuściński opisuje kolejne były republiki, dziś niepodległe państwa z zachowaną tożsamością kulturową. Sam autor, zdumiony ocalonym bogactwem kulturowym tych narodów, tak zwerbalizował swój podziw: „mimo sztywnego koszarowego gorsetu sowieckiej władzy, udało się tutejszym, ale prastarym narodom zachować coś ze swoich tradycji, ze swojej historii, swojej z konieczności ukrywanej dumy i godności własnej. Odkryłem tam rozłożony w słońcu dywan wschodni, który w wielu miejscach zachował jeszcze dawne barwy i przyciągał uwagę różnorodnością swoich oryginalnych wzorów”⁶.

Analiza wymienionych tekstów, jak również innych autorstwa Ryszarda Kapuścińskiego, pozwala zauważyć, że spośród elementów kultury w jego reportażach dominują opisy artefaktów kulturowych, do których odnieść możemy postacie, wydarzenia historyczne, obyczaje, wierzenia oraz przedmioty z nimi związane. W niektórych wypadkach, w celu zachowania autentyczności przekazu reporterskiego, autor stosuje oryginalne wtrącenia językowe.

Porównanie przekładu z języka polskiego na język rosyjski wspomnianych utworów Kapuścińskiego jest możliwe dzięki Rosjanom, którzy podjęli się ich tłumaczenia. Mam tu na myśli Siergieja Łarina i Ksenię Starosielską – autorów

⁴ Dokładne omówienie istoty i przejawów kategorii inności w pracy: M. Mocarz, *Interkulturowość w przewodniku turystycznym. Studium o odbiorze inności w przekładzie*, Wyd. KUL, Lublin 2011.

⁵ M. Dziegłowski, *Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego. Źródło poznania społeczeństw i kultur*, Wyd. KUL, Lublin 2007, s. 118.

⁶ Wszystkie cytaty z powieści *Imperium* wykorzystane w tekście pochodzą z następującego wydania: R. Kapuściński, *Imperium*, Czytelnik, Warszawa 2007.

przekładu *Империя* (*Imperium*). Siergiej Łarin przetłumaczył również *Черное дерево* (*Heban*). Z rosyjską wersją *Hebanu* czytelnicy rosyjscy mogli zapoznać się już 2002 r., natomiast *Imperium* w wersji rosyjskiej pojawiło się w 2010 r. – 17 lat po ukazaniu się tej książki w Polsce.

Podmiotem postrzegania i świadomego kreowania inności jako wartości poznawczej jest autor reportażu. W sytuacji przekładu dodatkowym podmiotem staje się również tłumacz, skupiający w sobie dwie role – odbiorcy oryginału oraz nadawcy przekładu, który, podobnie jak autor oryginału, ma możliwość tworzenia obrazu kultury trzeciej jako innej. Sposobem kreowania inności staje się strategia egzotyzacji jako w pełni świadome konsekwentne działanie wspomnianych podmiotów – autora oryginału i tłumacza. W tekście oryginału egzotyzacja w kontekście prezentacji zjawisk kultury trzeciej jest strategią niezależnego opisu, w tłumaczeniu zyskuje nieco inny status – staje się strategią przekładu w odniesieniu do istniejącego zewnętrznego obiektu deskrypcji lub narracji, czyli poszczególnych elementów trzeciej. W obu przypadkach egzotyzacja jest warunkiem spełnienia kryterium poznawczego prezentowanej inności. Dodajmy, że kolejnym podmiotem pozytywnie ustosunkowanym do inności jest odbiorca (zaprojektowany przez autora oryginału, a następnie tłumacza), którym z reguły jest tzw. zainteresowany czytelnik, nastawiony na uzyskanie nowych, interesujących informacji o fragmencie rzeczywistości będącej obiektem reporterskiego opisu. Przyjrzyjmy się następującym przykładom:

1. Szaripow zawiózł nas na koniec wsi, w cień rozłożystego **czinara**.

Шарипов привез нас на окраину села, в тень раскидистой **чинары**. (*Imperium*)

2. O tej porze **czajchany** są pełne Uzbeków. Siedzą w kucki, w kolorowych **tiubitejkach** na głowie, piją zieloną herbatę.

В эту пору в **чайханах** полно узбеков. Они сидят на корточках, в цветных **тиубетейках**, пьют зеленый чай. (*Imperium*)

3. W tej pracowni wiszą wspaniałe ormiańskie krzyże kamienne, tzw. **haczkary**, które Ormianie rzeźbili dawniej na skałach. W całej Armenii napotyka się te haczkary, bo były one symbolem ormiańskiej egzystencji lub znakiem granicznym, a także – czasem – drogowym. Stare haczkary można znaleźć w miejscach najbardziej niedostępnych, gdzieś na szczytach urwistych skał.

В мастерской стоят изумительные армянские каменные плиты с крестами, так называемые **хачкары**, в давние времена армяне вырезали такие кресты на скалах. По всей Армении встречаются эти хачкары – ведь они были национальным символом либо служили пограничными знаками, а также – иногда – дорожными указателями. Старинные хачкары можно увидеть в самых недоступных местах, где-нибудь на вершинах отвесных скал. (*Imperium*)

4. Nastawił nam magnetofon, żebyśmy mogli posłuchać **pataraków**. **Pataraki** to rodzaj starych psalmów ormiańskich, przejmujących, pięknych.

Он включил магнитофон, чтобы мы могли послушать **патараци** – старинные армянские псалмы, красивые, волнующие. (*Imperium*)

Zastosowanie egzotyzmów jako elementów językowych odnoszących się do obiektów typowych dla danej kultury zarówno w wersji oryginalnej, jak i tłumaczonej jest możliwe dzięki eksplikacjom pojęć, sytuujących się w ramach leksyki o nacechowaniu egzotycznym. Eksplikacje takie, jak widzimy, mogą przybierać postać pośrednich, tj. kontekstualnych (przykłady 1 i 2) i bezpośrednich (przykłady 3 i 4), minimalnych lub bardziej rozbudowanych (przykład 6). Dzięki takim mechanizmom egzotyzmy konstytuują wartość poznawczą prezentowanych zjawisk. Spójrzmy na kolejne przykłady, tym razem z zastosowaniem barbaryzmów:

5. – **Kuna nini?** – pytam (w swahili: czy stało się coś złego?). Nigdy nie odpowiadają, tylko pędzą dalej w tumanach kurzu, w łoskocie żelastwa.

– **Kuna nini?** – спрашиваю я (на языке суахили это означает: что-то случилось?). Они никогда не отвечают, только мчатся дальше в тучах пыли под громохание старого, расхлябанного кузова машины. (*Heban*⁷)

6. – **Hatari?** – pytam po jakimś czasie (jakieś niebezpieczeństwo?). Dalej milczą, nie zwracają uwagi.

– **Hatari?** (Какая-то опасность?) – спрашиваю я опять через некоторое время. Снова молчание, на вопрос не обращают внимания. (*Heban*)

Zastosowanie egzotyzmów (w przykładach 1–4) oraz barbaryzmów (przykłady 5–6) w reportażach niewątpliwie podnosi atrakcyjność przekazu, świadczy o jego pewnej autentyczności, nie jest to natomiast zjawisko zbyt częste. Skłaniam się raczej ku stwierdzeniu, iż Ryszard Kapuściński, prezentując szeroko inność kulturową, bynajmniej nie epatuje innością językową. Wychodząc z założenia, że język jest częścią złożonego i rozbudowanego systemu kultury, można stwierdzić hiperonimiczną relację inności kulturowej w stosunku do językowej. Kapuściński jedynie „przemycą” pewne egzotyzmy, próbując zapoznać czytelnika nastawionego na poznanie inności również z wybranymi zjawiskami inności językowej. Oddzielenie inności kulturowej od czynnika językowego jest warunkiem opisu zjawisk kultury trzeciej przy użyciu języka innego niż język genetycznie związany z tą kulturą. Jak zauważa sam Kapuściński, wśród głównych

⁷ Wszystkie cytaty z powieści *Heban* pochodzą z następującego wydania: R. Kapuściński, *Heban*, Czytelnik, Warszawa 1998.

ograniczeń w opisie innej kultury należy wymienić następujące: język, doświadczenie kulturowe, stereotypy oraz różne systemy wartości⁸. Zresztą zaistniałe niedociągnięcia językowe, nieco obniżające wiarygodność językowych eksponentów inności, w pewnym stopniu poświadczają słuszność spostrzeżeń poczynionych we wcześniejszej wypowiedzi autora. Mam tu na myśli zacytowany powyżej (przykład 2) wyraz *tiubitejka*, który został – najprawdopodobniej nieświadomie – nieco zniekształcony przez autora: w języku rosyjskim słowo to, pochodzące z języka tatarskiego, funkcjonuje jako *мябемеўка*, stąd też za prawidłową formę należy uznać *tiubietiejkę*. Przypuszczalnie błąd ów jest wynikiem niedostatecznej znajomości języka: w tekście oryginalnym pojawiła się wersja zmodyfikowana fonetycznie (zgodnie z zasadą redukcji dźwięków w pozycji nieakcentowanej).

Generalnie w analizowanych dwutekstach mamy do czynienia z paralelnym przekazem zjawisk z zakresu kultury trzeciej, czemu niewątpliwie sprzyja wspomniana strategia egzotyzacji. Nie zapominajmy jednak, że trudno mówić o paralelnym stopniu kontaktów kulturowych pomiędzy kulturą trzecią (kulturami trzecimi) a kulturą polską oraz kulturami trzecimi a kulturą rosyjską. W głównej mierze taki brak paralelizmu dotyczy obszarów kulturowych, które funkcjonowały w tytułowym *Imperium*. Fakt kilkudziesięcioletniej przynależności do struktur politycznych w systemie ZSRR przyczynił się do bliższych kontaktów etniczno-językowych społeczności uzbeckiej, kirgiskiej i in. ze społecznością rosyjską. W efekcie mieliśmy do czynienia z dominacją języka rosyjskiego na obszarze geograficznym byłych republik, z drugiej strony – pewne zjawiska kulturowe tych byłych republik zostały zarejestrowane w języku rosyjskim. To też badając tekst przekładu *Imperium* w języku rosyjskim, możemy zauważyć zabiegi konkretyzacji pojęć, a zatem jednostronną egzotyzację – wyłącznie jako strategię przekładu:

7. Na **wsiach** sadzili bawełnę wprost pod oknami domów.

В **кишлаках** сажали хлопок прямо под окнами домов. (*Imperium*)

8. Tutaj [w Turkmenii] herbata to życie. Stary Turkmen bierze czajnik, nalewa dwie **miseczki** – jedną sobie, drugą podsuwa małemu blondasowi.

Здесь [в Туркмении] чай – жизнь. Старый туркмен берет чайник, наливает две **пиалы** – одну себе, другую подсовывает маленькому светловолосому мальчику. (*Imperium*)

⁸ G. Łęcka, *Opisuję stany ducha. O „Hebanie” Afryce i zderzeniu innych kultur. Rozmowa Gabrieli Łęckiej z Ryszardem Kapuścińskim*. „Polityka” 1999, nr 9, s. 46–48.

W systemie leksykalnym języka rosyjskiego, co poświadcza chociażby *Толковый словарь русского языка* С.А. Кузнецова, zarejestrowane są powyższe egzotyzy:

кишлак – [тюрк. *кишлак*]. В Средней Азии – ‘небольшое селение’.

пиала – [перс. *peyale*]. В Средней Азии – ‘сосуд для питья в виде расширяющейся сверху чашки без ручки, изготовленный из фарфора или фаянса’.

W systemie leksykalnym języka polskiego natomiast tego typu egzotyzy nie funkcjonują. Leksem *kiszlak*, opatrzony podstawową eksplikacją znaczeniową ‘wieś w Azji Centralnej’, pojawia się jedynie jako ekwiwalent przekładowy jednostki rosyjskiej *кишлак* w *Wielkim słowniku rosyjsko-polskim*⁹.

Kapuściński, a w ślad za nim również tłumacze, próbują oswoić egzotykę poprzez stosowanie zabiegów metaforycznych, dzięki którym to, co inne, zostaje zaprezentowane w sposób obrazowy na zasadzie zestawienia obiektu z innej przestrzeni kulturowej z obiektem rodzimym, a zatem znanym. Na płaszczyźnie językowej mamy do czynienia ze zjawiskiem nominacji wtórnej. Przykład takich zastosowań znajdujemy w poniższych fragmentach:

9. Prawdziwych pataraków można również posłuchać w Armenii, kiedy pojedzie się pod Erewan, do **Eczmiadzinu**, który jest *Watykanem Kościoła Ormian*.

Настоящие патараги можно услышать и в Армении, если поехать в **Эчмиадзин** близ Еревана – *армянский Ватикан*. (*Imperium*)

Zastosowanie nazwy własnej *Watykan* w funkcji nominatu wtórnego (fakultatywnego), objaśniającego znaczenie obiektu w Armenii, nastąpiło wskutek podobieństwa funkcji dwóch miejsc – Eczmiadzin, podobnie jak Watykan, jest siedzibą zwierzchnika Kościoła i jednocześnie ważnym ośrodkiem życia religijnego.

Oprócz bezpośrednich językowych mechanizmów wprowadzania inności Kapuściński z pozycji zewnętrznego obserwatora opisuje inność jako świat odmiennych wartości, przekonań, zachowań i wierzeń, które same w sobie, bez językowych eksponentów, stanowią odmiennność kulturową. Punktem odniesienia do stwierdzenia tej inności staje się etnocentryczna postawa podróżującego Europejczyka, którego odmienne zwyczaje afrykańskie często szokują lub stają się nawet źródłem nieporozumień na tle kulturowym. Jak zauważa sam autor:

⁹ *Wielki słownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim*, red. J. Wawrzyńczyk, PWN, Warszawa 2004, s. 308.

Kultura afrykańska jest kulturą wymiany [...]. Wiele nieporozumień powstaje, kiedy jedna ze stron nie rozumie, że wymianie mogą podlegać wartości różnego rzędu, na przykład wartości symboliczne wymieniamy na materialne i *vice versa*. Jeżeli Afrykańczyk zbliża się do Szkotów, to obsypuje ich przecież różnymi podarkami; obdarza ich swoją osobą i uwagą, udziela im informacji, ostrzegając przed złodziejami, zapewnia im bezpieczeństwo itd. Jest zrozumiałe, że ów hojny człowiek oczekuje teraz wzajemności, rekompensaty, zaspokojenia oczekiwań. Tymczasem widzi ze zdumieniem, że Szkoci robią kwaśne miny, a nawet odwracają się tyłem i odchodzą! (*Heban*)

Ten fragment reportażu, w zasadzie pozbawiony językowych eksponentów inności, doskonale opisuje różnice w sposobie zachowania, mentalności przedstawicieli różnych obszarów kulturowych. Jednocześnie zaprzecza on przesłankom (a przynajmniej jednej z nich) inności kulturowej jako wartości poznawczej. O ile można potwierdzić fakt heterogeniczności konfrontowanych systemów kultury, o tyle trudno potwierdzić ich obustronną otwartość, co więcej – jest świadectwem antagonistycznego nastawienia Europejczyka do miejscowej kultury afrykańskiej. W kontekście postawionej tezy powstaje więc pytanie: czy faktycznie można mówić o inności kulturowej jako pewnej wartości poznawczej, czy może raczej słuszniej byłoby przyjąć, że mamy do czynienia z obcością, ewokowaną niechęcią czy wręcz wrogością? Przytoczony fragment tekstu stanowi eksplikację różnic kulturowych, wskazuje bowiem na przyczyny i jednocześnie jest swoistą wskazówką dla czytelnika, potencjalnego turysty, jak uniknąć szoku kulturowego. Zatem można zaryzykować stwierdzenie, że inność kulturowa jako wartość poznawcza, z punktu widzenia zaprojektowanego przez autora czytelnika (tzw. zorientowanego czytelnika), jawi się jako pewne *post factum* w stosunku do prezentowanych opisów wydarzeń, faktów. Zatem tekst reportażu poprzez zastosowane strategie egzotyzacji i jednocześnie rozbudowane eksplikacje staje się swoistym medium służącym komunikacji interkulturowej, osławiającym inność kulturową i dodającym jej znamion wartości poznawczej. Zorientowany odbiorca reportażu, sięgając po tekst, jest nastawiony na kontakt z fragmentem innej rzeczywistości kulturowej, pragnie ją poznać, przygotować się na spotkanie z Innym, które, jak słusznie zauważa sam Kapuściński, jest „wyzwaniem XXI wieku”¹⁰.

¹⁰ R. Kapuściński, *Ten Inny*, s. 64.

Резюме

Культурное иное в репортажах Рышарда Капуцинского и их переводах на русский язык

Культурное иное это неотъемлемая черта жанра репортажа. Она считается познавательной категорией, благодаря присутствию культурно обусловленных элементов. Поэтому термину *чужое* предпочитается *иное*. Неоднократно культурное иное сопровождается языковым, благодаря используемым автором прямым заимствованиям как в исходных, так и переводных текстах. Субъектами восприятия и осознанного процесса создания иного являются автор репортажа и получатель, желающий получить интересную информацию о конкретном фрагменте действительности как объекте репортажного описания. В случае перевода дополнительным субъектом становится переводчик как получатель исходного текста и одновременно автор перевода. Положительное отношение к восприятию категории иного в репортажах Рышарда Капуцинского, а также способ передачи иного в исследуемых текстах (путем использования экспликаций) позволяет переводчикам применять экзотизацию как осознанную стратегию.

Summary

Cultural otherness in Ryszard Kapuściński's reportages and their Russian translations

Cultural otherness is an inherent feature of the literary genre of reportage. It is perceived as a cognitive value due to the presence of culturally marked elements. Hence, a preferable term is "otherness" than "strangeness". Frequently, cultural otherness is accompanied by linguistic otherness, thanks to direct borrowings used both in source and translated texts. The subjects of perceiving and consciously creating otherness are the author of the reportage and the target reader projected by him, expecting to gain interesting information about the part of reality which is the object of the reporter's description. In the process of translation, the translator also becomes an additional subject as the recipient of the source text and the author of the translation. The positive approach towards reception of otherness in Kapuściński's reportages as well as the way of presentation of such phenomena in the studied texts (through the use of explication) makes translators use exotisation as a well-thought-out strategy.

Key words: cultural otherness, reportage, linguistic otherness, exotisation.

Iwona Anna NDiaye

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Koncept *śmierć* w poezji emigracyjnej Nadieżdy Teffi

Passionis beatitudini sacrum
Teffi, *Passiflora*

Śmierć jest wieloaspektowym fenomenem kulturowym, którego zagadkę na przestrzeni wielu stuleci próbują rozwiązać uczeni różnych specjalności nauk humanistycznych i antropologicznych¹. Śmierć jako *sacrum*, zjawisko budzące jednocześnie zainteresowanie i strach stanowi przedmiot naukowej eksploracji kulturologów, lingwistów i literaturoznawców. Szczególna rola w ujęciu tego fenomenu przypada literaturze rosyjskiej, w której tematyka śmierci od najdawniejszych czasów była stałym motywem. Badanie śmierci jako jednego z konceptów literackich jest istotne nie tylko z punktu widzenia analizy specyfiki autorskiego rozumienia świata, ale również poznania szerokiej „konceptosfery języka”, w której gromadzone jest indywidualne doświadczenie pisarzy².

Konceptualna analiza motywu śmierci w liryce rosyjskiej pozwala rozszerzyć ramki tradycyjnego spojrzenia na problem ludzkiej egzystencji o perspektywę, zaproponowaną przez twórcę: „Анализ феномена смерти в рамках концепта на основе поэтического творчества представляется чрезвычайно актуальным, т.к. даёт возможность увидеть взаимосвязи и расхождения между лингвокультурологическим концептом смерти и своеобразным авторским видением данного феномена”³.

¹ I. Popadeykina, *Koncept „śmierć” w prozie Olgi Tokarczuk i Dmitrija Lipskierowa*, „Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego” 2012, nr 1 (2), s. 87. Por. Н.В. Деева, *Модусы бытия человека: жизнь (попытка интерпретации концепта)*, [w:] *Концепт. Образ. Понятие. Символ. Коллективная монография*, pod red. Е.А. Пименова, М.В. Пименовой, Изд. ИПК „Графика”, Кемерово 2004, s. 141.

² Е.В. Дзюба, *Концепты „жизнь” и „смерть” в поэзии М. И. Цветаевой*, „Политическая лингвистика” 2015, nr 15, s. 181.

³ С.И. Дербенёва, *Концепт „смерть” в лирике Г. Бенна: когнитивно-авторский подход*, „Известия самарского научного центра Российской академии наук” 2010, t. 12, nr 5, s. 178.

Celem podjętego badania jest przedstawienie semantycznej struktury konceptu *śmierć* i sposobów jej językowej reprezentacji w poezji Nadieжды Łochwickiej, przedstawicielki pierwszej fali emigracji rosyjskiej, znanej pod literackim pseudonimem jako Teffi. W charakterze materiału badawczego wykorzystano konteksty zawierające bezpośrednie nominacje konceptu *śmierć*, jego derywaty, bliskie znaczeniowo słowa oraz antonimy występujące w liryce emigracyjnej Teffi.

Współczesna lingwistyka nie dopracowała się jednoznacznej definicji konceptu. Punktem wyjścia do rozważań stało się określenie zaproponowane przez Władimira Karasika: „концепт – многомерное смысловое образование, в котором выделяются ценностная, образная и понятийная стороны”⁴. Na potrzeby niniejszego artykułu koncept będziemy rozumieć, za Iriną Popadeykiną, z jednej strony jako jednostki mentalne indywidualno-autorskiego obrazu świata, werbalizowane w utworach literackich i reprezentujące wiedzę potoczną, z drugiej – jako indywidualne, autorskie rozumienie istoty przedmiotów i zjawisk⁵.

O wyborze materiału badawczego zdecydował przede wszystkim fakt, iż twórczość poetycka Teffi nie była dotychczas przedmiotem pogłębionej analizy literaturoznawczej. Rosyjska emigrantka zyskała uznanie wśród czytelników, krytyków i badaczy przede wszystkim jako autorka prozy. Sfera twórczości poetyckiej pozostaje poza polem tej uwagi, a przecież Teffi debiutowała jako poetka i poezja niezmiennie zajmowała ważne miejsce w jej dorobku twórczym.

Pojedyncze wiersze opublikowane na łamach gazet „Русское слово” i „Биржевые ведомости” w latach 1905–1907 miały satyryczny charakter⁶. Powstawały pod wpływem wydarzeń rewolucyjnych, których świadkiem była autorka i odzwierciedlały jej krytyczny stosunek do ówczesnych wydarzeń. Pierwszy tomik wierszy *Семь огней* (*Siedem ogni*) został wydany w 1910 r., gdy Teffi była już uznaną felietonistką⁷. Jednak na tle ogromnego sukcesu jej prozy pozostał niemal niezauważalny przez krytyków, a czytelnicy na próżno szukali w nich elementów satyry i humoru.

⁴ В.И. Карасик, *Языковой круг: Личность, концепты, дискурс*, Изд. Гнозис, Москва 2004.

⁵ I. Popadeykina, op. cit., s. 88. Por. Е.В. Дзюба, op. cit., s. 6; Е.Ю. Пономарева, *Концептуальная оппозиция „жизнь-смерть” в поэтическом дискурсе (на материале поэзии Д. Томаса и В. Брюсова)*, Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Тюмень 2008, s. 7; Л.А. Петрова, *Художественный концепт в современной лингвокультурологии*, [online] <www.nbuv.gov.ua/portal/natural> (dostęp: 23.06.2015).

⁶ Pierwszy wiersz *Мне снился сон, безумный и прекрасный...* ukazał się 2 września 1901 r. w czasopiśmie „Север”.

⁷ Тэффи, *Семь огней. Стихи*, Изд. Шиповник, Санкт-Петербург 1910.

Najważniejszy etap twórczości poetyckiej Надежды Тэффи był związany z doświadczeniem emigracyjnym. Poetka nie mogła uskarżać się na typową dla pisarzy emigracyjnych bolączkę – ograniczone możliwości publikacji, bardzo szybko bowiem osiągnęła popularność porównywalną z tą w Rosji. W latach 1920–1940 należała do najbardziej uznanych pisarek w środowisku emigracyjnym. Była ulubienicą w najważniejszych centrach rosyjskiej emigracji: Paryżu, Berlinie, Warszawie, Szanghaju, Harbinie⁸.

Należy jednak pamiętać, że Тэффи spędziła poza Rosją ponad trzydzieści lat, doświadczając wszystkich niedostatków emigracyjnej egzystencji, z takimi jej nieodłącznymi atrybutami jak tęsknota za ojczyzną, poczucie wyobcowania, osamotnienie czy borykanie się z trudnościami materialnymi. Jak zauważa Lidia Spiridonowa, rosyjscy twórcy poszukiwali różnych dróg wyjścia z emigracyjnego chaosu, z których zasadniczych było pięć: religia, nauka, sztuka, miłość i śmierć⁹. Тэффи przeszła wszystkie etapy tych dróg, odwołując się przy tym do różnorodnych środków artystycznego wyrazu: od radosnego humoru zabarwionego nutami smutnej refleksji przez satyrę socjalną aż po pesymistyczną percepcję rzeczywistości, w której nie było już miejsca na śmiech, a zamiast niego rozlegało się bolesne westchnienie: „Бери меня в твою смерть – она лучше жизни”¹⁰.

Emigracja dla Тэффи to przede wszystkim czas rozterek egzystencjalnych uwarunkowanych stanem swoistego zawieszenia pomiędzy krajem a obczyzną. Poetka realnie doświadczała owej pustki pomiędzy życiem a śmiercią czy też wręcz egzystowania w „martwej próżni”, zaś jej twórczość dokumentowała ten stan. „Приезжают наши беженцы, изможденные, почерневшие от голода и страха, отъедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь, и вдруг гаснут. Тускнеют глаза, опускаются вялые руки и вянет душа – душа, обращенная на восток. Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим. Умерли. Боялись смерти большевистской – и умерли смертью здесь. Вот мы – смертью смерть поправшие. Думаем только о том, что теперь там. Интересуемся только тем, что приходит *оттуда*”¹¹ – pisała w jednej z paryskich miniatur *Ностальгия* (*Nostalgia*, 1920).

⁸ Utwory Тэффи były publikowane w periodykach emigracyjnych: „Возрождение”, „Грядущая Россия”, „Звено”, „Общее дело”, „Перезвоны”, „Последние новости”, „Руль”, „Русские записки”, „Сегодня”, „Современные записки”, „Жар-птица”.

⁹ Л.А. Спиридонова (Евстигнеева), *Русская сатирическая литература начала XX века*, Изд. Наследие, Москва 1977, s. 156-170.

¹⁰ Н.А. Тэффи, *Земная радуга*, Изд. им. Чехова, Нью-Йорк 1952, s. 268.

¹¹ Тэффи, *Ностальгия*, [w:] Тэффи, сост., вступ. ст. Л.С. Калужная, Издательский дом Звонница-МГ, Москва 2010, s. 162.

Przygnębienie, tęsknota oraz brak perspektyw powrotu do kraju potęgowały nostalgiczną tonację, którą coraz wyraźniej było słyszeć w jej utworach włączonych do zbiorów poetyckich wydanych w 1923 r. w Berlinie: *Шамрам. Песни Востока* (*Shamram. Pieśni Wschodu*) i *Passiflora*¹². „Убиенная Русь” („Uśmiercona Ruś”) – tak w wierszu *Перед картой России* (*Przed mapą Rosji*) Teffi nazwała opuszczoną ojczyznę. Odwoływała się do symbolicznego losu kobiety-Rosji („умершей, как нищенка на соломе”). Kochającym ją pozostawało jedynie patrzeć na nią jak na ikonę i modlić się o spokój jej duszy:

В чужой стране, в чужом старом доме
На стене повешен ее портрет,
Ее умершей, как нищенка, на соломе,
В муках, которым имени нет.

Но здесь на портрете она вся, как прежде,
Она богата, она молода,
Она в своей пышной зеленой одежде,
В какой рисовали ее всегда.

На лик твой смотрю я, как на икону...
„Да святится имя твое, убиенная Русь!”
Одежду твою рукой тихо трону
И этой рукою перекрещусь¹³.

[19??]

Motyw śmierci w wierszach emigracyjnych Teffi niejednokrotnie stanowi intertekstualne nawiązanie do tematyki biblijnej w literaturze religijnej, filozoficznej i literackiej¹⁴. Taką funkcję spełnia np. wielosemantyczna postać Racheli, żony patriarchy Jakuba, matki dwóch pokoleń Izraela.

Иду по безводной пустыне
Ищу твой сияющий край.
Ты в рубище нищей рабыни
Мой царственный пурпур узнай!

¹² Ponadto wiele jej wierszy opublikowano w tomach zbiorowych (*Родная земля, Русский сборник, Колос*), a także w antologiach (*Якорь, На Западе, Антология сатиры и юмора*).

¹³ Teffi, *Перед картой России*, [w:] „Мы жили тогда на планете другой...”: Антология поэзии русского зарубежья. 1920–1990: В 4 кн., кн. 1, Изд. Московский рабочий, Москва 1995, s. 68.

¹⁴ Szczegółową analizę obrazu Racheli w wierszu Teffi *Иду по безводной пустыне...* przeprowadziła Julia Kudriaszowa – zob. Ю.И. Кудряшова, *Рахиль – блаженная смерть в стихотворении Тэффи „Иду по безводной пустыне”*, „Вестник Удмуртского университета. История и филология” 2010, t. 4: *Поэтика русской лирики XX века*, s. 77–83.

Я близко от радостной цели...
Как ясен мой тихий закат!
Звонят полевые свирели,
Звонят колокольчики стад...
Ты гонишь овец к водопою –
Как ясен твой тихий закат!
Как сладко под легкой стопою
Цветы полевые шуршат!

Ты встанешь к стене водоема,
Моим ожиданиям близка,
Моею душою влекома
В далекие смотришь века...

Замучена зноем и пылью,
Тоскою безводных степей,
Так встречаюсь я с тихой Рахилью
Блаженною смертию моей...¹⁵

Teffi wpisuje się w tradycje poezji „srebrnego wieku”, będącej odzwierciedleniem idei jedności miłości i śmierci, chrześcijańskiej koncepcji poszukiwania Boga oraz „zbawiennej śmierci” („блаженная смерть”) jako finału ziemskiego życia¹⁶: „Семантика образа Рахили в контексте всей книги стихов не ограничивается больной для эмигрантов темой России. Религиозный подтекст данного стихотворения и сборника в целом выдвигают на первый план иной мотив – Рахили как блаженной смерти; эмигрантская «бездомность» и горечь становится честным проявлением более глубокой, метафизической, проблематики»¹⁷.

W procesie analizy wyeksplorowanego materiału odwołaliśmy się do metodologii zaproponowanej przez Iosifa Sternina, która z sukcesem stosowana jest w badaniach literaturoznawczych¹⁸. Rosyjski językoznawca rozpatruje strukturę

¹⁵ Н. Тэффи, *Иду по безводной пустыне...*, [w:] idem, *Passiflora. Алмазная пыль. Рассказы*, сост. Е. Трубилова, Изд. Эксмо, Москва 2010, s. 68.

¹⁶ Jak odnotowała J. Kudriaszowa, różnorodne ujęcia związków Racheli z kategoriami Erosa i Tanatosa możemy odnaleźć w wielu tekstach poetyckich przedstawicieli początku XX wieku – Iwana Bunina (*Гробница Рахили*, 1907), Władysława Chodasiewicza (*Слезы Рахили*, 1916), Anny Achmatowej (*Рахиль*, 1921), Siergieja Sołowjowa (*Иаков*, 1924).

¹⁷ Ю.И. Кудряшова, *Рахиль – блаженная смерть в стихотворении Тэффи „Иду по безводной пустыне”*, „Вестник Удмуртского университета. История и филология” 2010, t. 4: *Поэтика русской лирики XX века*, s. 78.

¹⁸ Metody badania, zaproponowane przez Iosifa Sternina, wykorzystały m.in. Jelena Dziuba, analizująca śmierć jako fenomen językowy w poezji Mariny Cwietajewej oraz Irina Popadeykina, omawiająca koncept śmierci w prozie współczesnych pisarzy polskich i rosyjskich: Olgi Tokarczuk i Dmitrija Lipskierowa – zob. E.B. Дзюба, op. cit., s. 72; I. Popadeykina, op. cit., s. 87–104.

konceptu z perspektywy pola, które posiada jądro i peryferie¹⁹. Zastosowanie takiego podejścia w przypadku twórczości poetyckiej Teffi pozwoliło wyróżnić w strukturze konceptu *śmierć* zarówno sensy i wyobrażenia obiektywne, jak i indywidualno-autorskie.

Za obiektywne będziemy uznawać takie znaczenia dowolnego pojęcia, które zostały zdefiniowane w słownikach języka rosyjskiego i odzwierciedlają tę sferę wyobrażeń o świecie, która jest wspólna dla wszystkich ludzi. W słowniku języka rosyjskiego możemy odnaleźć następujące definicje śmierci: „1) Прекращение жизнедеятельности организма, 2) *перен.* Конец, полное прекращение какой-н. деятельности”²⁰. Zasadniczo taki opis obiektywnych sensów i wyobrażeń konceptu *śmierć* znajdziemy również w poezji Teffi. Podstawowym środkiem werbalizacji semantycznego pola „śmierć jako koniec życia” są leksemy o charakterze mortalnym: *смерть, умереть – умирать, убить – убивать, замереть – замирать, страдать, сгореть – сгорать, погребальный, мертвый* itp. Poetka odwołuje się również do leksemów witalnych użytych z zaprzeczeniem: *неживой, лишен жизни* („никогда не живших снов”) itp. W ramach danego pola semantycznego śmierć jest postrzegana jako nieuchronna i nieodwracalna. W tym znaczeniu późna poezja Nadieжды Teffi ma charakter pożegnania z bliskimi w obliczu nadchodzącej śmierci.

W wierszach Teffi można wyróżnić dwa rodzaje śmierci – naturalną i nie-naturalną. Śmierć nienaturalna następuje w wyniku spalenia na stosie (*Александрит, Монахиня, Эруанд*). Jednym z głównych znaczeń śmierci „jako ustania procesów życiowych” w poetyce Teffi jest idea wybawienia od cierpienia i bólu. W tym kontekście bohaterka liryczna wyraża pragnienie śmierci („О, если б, если б я могла, /Сгорая умереть!/ Огненным вихрем взвейся, мгла!/ Гореть хочу! Гореть!”; „Через пламя огней очищающих,/ Отринув надежду и страх,/ Иду я к блаженству сгорающих/ В безогненных черных кострах”, „Блаженною смертью моей”).

Konceptualizacja śmierci jako końca życia jest wykorzystywana przez Teffi nie tylko w znaczeniu dosłownym, ale i przenośnym. Dotyczy ona uczuć istot żywych, a także przedmiotów i świata przyrody („Я солнцем рождена и в солнце умираю...”, „Я ветер позвала. Дыханьем смерти дую”, „Пусть весь мир погибнет лютой смертью,/ Только б ты был Господом хранимый!/ Если

¹⁹ И.А. Стернин, *Методика исследования структуры концепта*, [w:] *Методические проблемы когнитивной лингвистики*, под. ред. И.А. Стернина, Изд. Воронежский государственный университет, Воронеж 2001, s. 61–63.

²⁰ С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, *Толковый словарь русского языка*, Изд. Азбуковник, Москва 1999, s. 735.

кто, страдая умирает –/ Не равно ль он близок нам и дорог!”; „Недвижна эта ночь. Как факел погребальный/ Кровавая луна пылает в небесах...”):

Дай мне радость нежного привета,
Мне на кудри свой венок надень!
– В день расцвета радостного лета
Распускалась белая сирень.

Ласк твоих хочу я без возврата!
Знойно долгих в долгознойный день!..
– В час заката ядом аромата
Опьяняла белая сирень.

День угаснет, и уйду я снова
В тени ночи, призрачная тень...
–В снах бывшего неба золотого
–Умирала белая сирень²¹.

Znaczenia indywidualne nie są zapisane w słownikach, natomiast pojawiają się w utworach literackich: „Znaczenia konotacyjne [...] określane indywidualnymi, niezależnie od tego, czy są obecne w conceptsferze innych użytkowników języka w rezultacie wspólnego doświadczenia społecznego, historycznego i kulturowego. Znaczenie indywidualno-autorskie reprezentują peryferie i zawierają przestrzenno-czasowe, percepcyjne i aksjologiczne charakterystyki konceptu *śmierć*”²².

Indywidualno-autorskie sensy i wyobrażenia konceptu *śmierć* w poezji Teffi obejmują charakterystyki przestrzenno-czasowe oraz sensy percepcyjne. Śmierć z jednej strony jest zjawiskiej nieuniknionym, z drugiej – nie możemy tego aktu przewidzieć ani określić w czasie. Znajduje to różnorodne egzemplifikacje w twórczości rosyjskiej emigrantki. Poetka przedstawia koncept w trzech aspektach czasowych: jako długotrwały proces, nagłe zdarzenie i wieczność, w której śmierć funkcjonuje poza układem czasowym. W pierwszym z tych aspektów koncept śmierci realizowany jest poprzez wykorzystanie różnorodnych środków językowych, najczęściej czasowników mortalnych w trybie niedokonanym, co ma na celu podkreślenie długotrwałości tego procesu („я умираю”, „И молча пошел умирать”, „Тот молча идет умирать”, „Умирать без конца”). Z kolei zastosowanie czasowników (trybu dokonanego i niedokonanego) z tematycznej

²¹ Н.А. Тэффи, *Песня о белой сирени*, [w:] idem, *Юмористические рассказы*, Изд. Художественная литература, Москва 1990, s. 68.

²² I. Popadeykina, op. cit., s. 89. Por. E.B. Дзюба, op. cit., s. 72.

grupy czasowników ruchu o znaczeniu przybliżania się wskazuje na poszczególne etapy tego zjawiska („И молча пошел умирать”, „смерть не наступила”, „смерть пришла”, „Вчера сожгли мою сестру”, „За что я умерла”, „Я умерла давно”, „Я умерла весною”).

Sensy percepcyjne, obejmujące wzrokowe, dźwiękowe, motoryczne i dotykowe charakterystyki konceptu *śmierć*, reprezentowane są w poezji Tefii dość skromnie. Odnotowaliśmy tylko dwa przykłady, w których śmierć kojarzy się z chłodem („мертвый покой”, „лютая смерть”). Natomiast warto podkreślić, że w procesie kreowania własnego idiolektu artystycznego Tefii chętnie angażuje leksykę kolorystyczną. Jej wiersze stanowią złożony system wzajemnych relacji rytmiczno-malarskich, a symbolika koloru jest jednym ze sposobów wyrazu własnej percepcji świata. Manifestacja indywidualizmu poetyckiego następuje przede wszystkim poprzez dobór odpowiedniej palety barw. Taką tendencję możemy zaobserwować już w jej pierwszym tomiku *Семь огней* z 1910 r., w którym dominował kolor czerwony. Pozostając wierną kanonom modernizmu, poetka utrzymywała symbolikę koloru czerwonego, żółtego oraz niebieskiego. Jednak z chwilą rewolucji kolor czerwony został pozbawiony, zdaniem emigrantki, swojego sensu ezoterycznego, przekształcając się w realny obraz krwi przelanej przez bolszewików. Purpurowe sztandary i flagi przypominają już nie o Wolności, ale o tysiącach ludzi uciekających jak najdalej od głodu i przemocy: „От криков и крови весь душевный пигмент их обесцвечивается, гаснет энергия и теряются возможности. Увиденная утром струйка крови у ворот комиссариата, медленно ползущая струйка поперек тротуара перерезывает дорогу жизни навсегда. Перешагнуть через нее нельзя. Идти дальше нельзя. Можно повернуться и бежать. И они бегут. Этой струйкой крови они отрезаны навсегда, и возврата им не будет” – jak pisała w pamiętnym eseju z 1919 r.²³

Emigracyjna rzeczywistość wyparła z obrazowości poezji Tefii jasną i jaskrawą tonację. W tomiku *Passiflora* dominował kolor biały, czarny i srebrzysty („черный горбун”, „карлик, который погасил солнце”, „белый лебедь, плачущий за северными озерами”, „серебристый корабль смерти” itp.), zaś purpura stała się symbolem śmierci:

Он ночью приплывет на чёрных парусах
Серебряный корабль с пурпурною каймою!

²³ Н.А. Тэффи, *На скале Гергесинской, Рассказы*, сост. Е. Трубилова, Изд. Молодая гвардия, Москва 1990, [online] <http://ocr.krossw.ru/html/teffi/teffi-na_skale-ls_1.htm> (dostęp: 6.07.2015). Pierwsza publikacja – zob. „Грядущий день” 1919, nr 1, s. 34.

Но люди не поймут, что он приплыл за мною
И скажут – „Вот луна играет на волнах”...

Как чёрный серафим три парные крыла,
Он вскинет паруса над звездной тишиною!
Но люди не поймут, что он уплыл со мною
И скажут – „Вот она сегодня умерла”²⁴.

Łacińska nazwa rośliny zwanej męczennicą (łac. *passio* – cierpienie i *flos* – kwiat; ros. *Страстоцвет*)²⁵, wyniesiona do rangi tytułu całego zbioru poetyckiego, symbolizowała cierpienia Chrystusa i bezpośrednio odwoływała się do zasadniczego tematu śmierci w różnorodnych jej kontekstach: sławienia pamięci o męczeńskiej śmierci Chrystusa (*Passiflora*); opłakiwania przez Ruś poległych synów (*Русь*), niezrozumiałego dla bohaterki lirycznej spotkania ze śmiercią (*Я сердцем кроткая была...*) czy też pragnienia śmierci jako uwolnienia od cierpienia (*Chateau de mie, медовый замок...*).

Zaprezentowany materiał udowadnia, że tematyka mortalna zajmuje znaczące miejsce w poezji emigracyjnej Teffi. Analiza pięćdziesięciu utworów, wyodrębnionych pod kątem konceptu *śmierć*, pozwala stwierdzić, że poetka mówi o śmierci wprost, podkreślając świadomość jej nieuchronności, np. w utworach: *Александрит* („В солнце мы вместе умрем”), lub też nawiązuje do niej pośrednio poprzez kontekst sytuacyjny, jak w wierszach *Реквием любви* („Забвенье тяжелой плитой/ Лежит на могиле ее...”) i *Гаснет моя лампада...* („Гаснет моя лампада.../ Тени кругом слились.../ Тише!.. Мне слез не надо./ Ты за меня молись!”).

Struktura owego konceptu zawiera zarówno obiektywne, jak i indywidualno-autorskie sensory i wyobrażenia. Jądro konceptu reprezentuje śmierć w kategoriach fizycznych jako koniec życia i ustanie procesów życiowych. W ramach pola semantycznego „śmierć jako koniec życia” poetka rozumie ją jako zjawisko nieuchronne i nieodwracalne. Ból i cierpienie stanowią, zdaniem Teffi, nieod-

²⁴ Тэффи, *Он ночью приплывет на чёрных парусах*, [w:] Тэффи, *Семь огней*, Санкт-Петербург 1910, s. 68.

²⁵ Мęczennica była używana przez Indian w Ameryce Północnej i Ameryce Środkowej do leczenia bezsenności, histerii i epilepsji, również jako środek przeciwbólowy. Stwierdzono, że jej kwiaty zawierają substancje, które mają działanie uspokajające i są halucynogenne. Nazwę tę nadała roślinie w początkach XVIII wieku misjonarze w Ameryce Południowej. Ich zdaniem roślina symbolizowała ukrzyżowanie Chrystusa: 5 pylników – pięć ran Chrystusa, trójdzielne znamię słupka – trzy gwoździe, którymi przybito go do krzyża, szyja słupka – ramię krzyża, 5 płatków i 5 działek kielicha – 10 apostołów (bez Judasza i Piotra), zaś postrzępiony przykoronek – koronę cierniową – zob. D. Longan, *Pielęgnowanie roślin pokojowych*, przeł. H. Gutowska, H. Szwedler, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1997.

łączne elementy życia ziemskiego. W związku z tym śmierć możemy traktować jako swoiste wybawienie od cierpienia i bólu. Peryferia konceptu tworzą indywidualno-autorskie sensy, zawierające obszerne charakterystyki przestrzenno-czasowe i percepcyjne.

Słowa „*Passionis beatitudini sacrum*” z tomiku *Passiflora*, wykorzystane przez nas w charakterze epigrafu, możemy umownie traktować jako *credo* twórcze Nadzieжды Teffi. Rosyjska emigrantka odwoływała się do chrześcijańskiej postawy, pełnej pokory i cierpienia, prowadzącej do osiągnięcia życia wiecznego: „В основу поэтической системы *Passiflora* положено христианское двоемирие: земная жизнь в свете смерти и вечная жизнь. Земная жизнь в соответствии с христианским учением определяется как испытание, которое следует кротко принять, но в ряде стихотворений возникают „экзистенциальные” мотивы абсурдности/ иррациональности существования (*Благословение Божьей десницы*), несвободы человека (*Я негдешняя, я издалека, Я сердцем кроткая была, Вот завела я песенку*) и творчества (*Пела-пела белая птица*)²⁶.

Bibliografia

- Longan D., *Pielęgnowanie roślin pokojowych*, przeł. Gutowska H., Szwedler H., Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1997.
- Poetycka Atlantyda. Antologia liryki kobiecej „pierwszej fali” rosyjskiej emigracji*, wstęp i oprac. I.A. NDiaye, Wyd. UWM, Olsztyn 2006.
- Popadeykina I., *Koncept śmierci w prozie Olgi Tokarczuk i Dmitrija Lipskierowa*, „Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego” 2012, nr 1 (2), s. 87–104.
- Деева Н.В., *Модусы бытия человека: жизнь (попытка интерпретации концепта, [w:] Концепт. Образ. Понятие. Символ. Коллективная монография, под ред. Е.А. Пименова, М.В. Пименовой, Изд. ИПК „Графика”, Кемерово 2004, s. 141–157.*
- Дербенёва С.И., *Концепт „смерть” в лирике Г. Бенна: когнитивно-авторский поход*, „Известия самарского научного центра Российской академии наук” 2010, t. 12, nr 5, s. 178–181.
- Дзюба Е.В., *Концепты жизнь и смерть в поэзии М.И. Цветаевой*, „Политическая лингвистика” 2015, nr 15, s. 181–189.
- Карасик В.И., *Языковой круг: Личность, концепты, дискурс*, Изд. Гнозис, Москва 2004.
- Кудряшова Ю.И., *Рахиль – блаженная смерть в стихотворении Тэффи „Иду по безводной пустыне”*, „Вестник Удмуртского университета. История и филология” 2010, t. 4: *Поэтика русской лирики XX века*, s. 77–83.
- „Мы жили тогда на планете другой...”. *Антология поэзии русского зарубежья. 1920–1990 в 4-х тт.*, сост. Е.В. Витковский, t. 1, Изд. Московский рабочий, Москва 1994.
- Ожегов С.И., Шведова, Н.Ю., *Толковый словарь русского языка*, изд. 4-ое, Изд. Азбуковник, Москва 1999.
- Петрова Л.А., *Художественный концепт в современной лингвокультурологии*, [online] <www.nbu.gov.ua/portal/natural> (dostęp: 23.06.2015).

²⁶ Ю.И. Кудряшова, op. cit., s. 78.

- Пономарева Е.Ю., *Концептуальная оппозиция „жизнь-смерть” в поэтическом дискурсе (на материале поэзии Д. Томаса и В. Брюсова)*, Дис. на соискание уч. ст. канд. фил. наук, Тюмень 2008.
- Спиридонова (Евстигнеева) Л.А., *Русская сатирическая литература начала XX века*, Изд. Наследие, Москва 1977.
- Стернин И.А., *Методика исследования структуры концепта*, [w:] *Методические проблемы когнитивной лингвистики*, под. ред. И.А. Стернина, Изд. Воронежский государственный университет, Воронеж 2001, s. 61–63.
- Строфы века. Антология русской поэзии*, сост. Е. Евтушенко, Изд. Полифакт, Минск – Москва 1995.
- Тэффи, *Семь огней. Стихи*, Изд. Шиповник, Санкт-Петербург 1910.
- Тэффи Н.А., *Земная радуга*, Изд. им. Чехова, Нью-Йорк 1952.
- Тэффи Н.А., *На скале Гергесинской, Рассказы*, сост. Е. Трубилова, Изд. Молодая гвардия, Москва 1990, [online] <http://ocr.krossw.ru/html/teffi/teffi-na_skale-ls_1.htm> (dostęp: 6.07.2015).
- Тэффи Н.А., *Юмористические рассказы*, Изд. Художественная литература, Москва 1990.
- Тэффи, *Ностальгия*, [w:] Тэффи, сост., вступ. ст. Л.С. Калюжная, Издательский дом Звонница-МГ, Москва 2010, s. 162–164.
- Тэффи Н., *Passiflora. Алмазная пыль. Рассказы*, сост. и автор предисловия Е. Трубилова, Изд. Эксмо, Москва 2010.

Резюме

Концепт смерть в эмиграционной поэзии Надежды Тэффи

Целью исследования является анализ смыслового наполнения концепта «смерть» в эмиграционной поэзии Тэффи и способов его лексической репрезентации, выявление особенностей картины мира.

Объектом анализа является концепт «смерть», а также особенности его словесного воплощения в поэзии Н. Тэффи, который рассматривается как элемент индивидуально-авторской картины мира. Автор уделяет внимание изучению идиостиля поэтессы, его концептуальных признаков, понимаемых как смысловые составляющие художественного текста.

Summary

Concept of „death” in the lyrics of Nadezhda Teffi

Nadezhda Teffi (former Buczynska, born as Lochwicka, 1872–1952) – poet and novelist, one of the most interesting characters in Russian literature of the first half of the twentieth century. In 1920 Teffi left Russia supplying the same community of thousands of Russian immigrants. In Paris, still accompanied by the opinion of eminent satirist, but a poetic works can trace many aspects of the Teffi creative attitude, and especially reflective and nostalgic nature of the emigration work. The experience of exile provoked to think about the country, the world and herself in this world. Similar sentiments reflect the poems included in the books of poetry: *Шамрам. Песни Востока* (*Songs of the East*, Berlin, 1923), *Passiflora* (Berlin 1923) and in the poems published in collective volumes and anthologies.

The article analyses the concept of death in the lyrics of Teffi. Semantical structure of this concept includes both objective senses and individual imaginations of the author.

Key words: concept of „death”, Teffi, cognitive-creative approach.

Wiera Occheli

Państwowy Uniwersytet im. Akaki Cereteli w Kutaisi (Gruzja)

К вопросу о „посредничестве” русской литературы в развитии польско-грузинских литературных связей

Перед каждым, кто изучает историю взаимодействия национальных литератур, неизбежно встает вопрос о путях, по которым осуществляется междокультурный обмен. Так, в определенные исторические периоды в силу относительной слабости культурных связей и знаний иностранных языков, интерес одной нации к достижениям литературного творчества другой осуществлялся, а порой осуществляется и теперь, с помощью третьего, родственного или близкого по ряду других причин, языка. Действительно, литературы могут подчас не соприкасаться, но общение между ними осуществляется в самых широких масштабах. Происходит это с помощью „посредничества” какой-либо третьей литературы.

Например, усиление романтических тенденций в русской литературе первой четверти XIX века определило глубокий интерес к западноевропейскому историческому роману и, прежде всего, к романам Вальтера Скотта. Но вплоть до 30-х годов XIX века Вальтера Скотта переводят на русский язык исключительно с французского и роль Франции в первоначальном знакомстве русского читателя с его романами, трудно переоценить¹. В то же время польский литературовед Янина Кульчицкая-Салони пишет о том, что романы Эмиля Золя пришли в Польшу благодаря их популярности в России и через переводы на русский язык².

В развитии польско-грузинских литературных связей большую роль сыграли русский язык, русская литература и русская литературная периодика, выступившие в данном случае в качестве своеобразного „посредника” или „передатчика”. Именно под влиянием русской печати и по примеру русского театра на страницах грузинской периодической

¹ П.Р. Заборов, *Литературное „посредничество” в процессе взаимодействия национальных литератур*, [в:] *Взаимосвязи и взаимодействия национальных литератур*, Москва 1961, с. 312–314.

² J. Kulczycka-Saloni, *Między Paryżem a Petersburgiem (kilka uwag o recepcji Zoli w Polsce)* „Przegląd Humanistyczny” 1959, № 4, с. 19–42.

печати появляются произведения польских писателей, а на сценах грузинского театра с большим успехом идут пьесы польских драматургов.

Известно, что существуют различные типы „посредников”: индивидуальные, групповые, посредники-люди, посредники-книги и др.³

К индивидуальным посредникам чаще всего относятся люди, имена которых хорошо известны. Такой фигурой был, например, немецкий писатель и широко известный картвелолог Артур Лайст. Заинтересовавшись грузинским народом, его историей, культурой, он изучил грузинский язык и грузинскую литературу, способствовал ее распространению в Германии (очерк *Забытая литература*), а позднее стал популяризатором грузинской литературы в Польше. В *Очерках из Грузии (Szkice z Gruzji)*⁴ он поместил отрывки из поэмы Шота Руставели *Витязь в тигровой шкуре*, выполненные Казимежем Лапчинским, а также собственные переводы некоторых произведений Ильи Чавчавадзе, Важа Пшавелы, Акакия Церетели. В его переводе была опубликована историческая повесть Александра Казбеги *Элисо*⁵. В 1900 году Лайст поместил в польской энциклопедии краткий обзор грузинской литературы⁶.

Среди индивидуальных посредников часто называют путешественников. В XVI–XVIII веках, в связи с расширением торгового обмена Западной Европы со странами Востока, увеличивается интерес к Грузии, через которую протекали важные торговые пути. Путешественники, о которых рассказывается в грузинских исторических трудах, знакомили зарубежный мир с жизнью и культурой грузинского народа. Сведения об истории Грузии, ее культуре печатались в Италии, Франции, Германии, Венгрии, Швеции. В XVI веке появилось первое книжное упоминание о Грузии и в Польше – это труд Мартина Брониовского⁷.

Как было отмечено выше, кроме индивидуальных „посредников”, существуют „посредники” коллективные. Среди них следует упомянуть об особой роли некоторых стран и городов – это Швейцария, Голландия, Венеция, Париж, Петербург, Варшава, Тифлис и т.д. Среди коллективных факторов сближения литератур можно назвать дворы властителей самых

³ Н.И. Конрад, *О литературном „посреднике”*, [в:] idem, *Запад и Восток*, Москва 1972, с. 329–344.

⁴ A. Lejst, *Szkice z Gruzji*, Warszawa 1886.

⁵ A. Kazbegi, *Eliso*, Warszawa 1887.

⁶ A. Lejst, *Literatura gruzińska*, [в:] *Encyklopedia powszechna ilustrowana*, t. XXV–XXVI, Warszawa 1900.

⁷ *Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut*, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, t. 2, Warszawa 1964, с. 46–47.

разных рангов, где часто находили прибежище зарубежные поэты, философы, ученые, например, при дворе прусского короля Фридриха Вильгельма II, российской императрицы Екатерины II, польского короля Станислава Августа Понятовского, князя Александра Чавчавадзе и др.

Однако контактные межлитературные связи в большей мере зависят от распространения самих книг на соответствующих языках. Валерий Брюсов, например, писал: „давно и убедительно доказано – подлинное влияние на литературу оказывают иностранные писатели и только в переводах”⁸.

В центре нашего внимания посредник-рассказ, опубликованный в 1862 году в ноябрьском (11) номере грузинского журнала „Цискари” („Заря”), которым руководил общественный деятель, поэт и публицист Иванэ Кереселидзе (1850–1892). Это был рассказ неизвестного автора, вышедший под названием *Польский король и литовский гетман* в переводе Михаила Чигиани, с указанием „с польского”. Спустя 12 лет, в 1874 году в февральском и мартовском (2–3) номерах этого же журнала, рассказ был опубликован повторно, что бесспорно свидетельствовало об интересе грузинского читателя к рассказу, раскрывающему, как будет показано ниже, одну из интересных страниц польской истории.

Долгие годы попытки идентифицировать имя неизвестного автора оставались безуспешными. Но, наконец, нам удалось его установить. Им оказался Евгений Петрович Карнович (1823–1885), российский историк, публицист, прозаик и журналист, выходец из состоятельного дворянского рода, корни которого, как пишут его биографы, ведут в Чехию (к сожалению, наследие Карновича до сих пор не привлекло к себе внимания исследователей и литературоведов). Получив хорошее домашнее образование, затем окончив Петербургский педагогический институт по отделению классической филологии, Карнович в течение 10 лет работал правителем в канцелярии попечителя Виленского учебного округа. Оттуда начался его интерес к истории Польши. Работая там, он выучил польский язык, изучил и полюбил историю Польши, вследствие чего стал автором нескольких трудов в этой области, а также работ по генеалогии, геральдике и исследованиям по изучению польских старинных шляхетских фамилий⁹.

⁸ В. Брюсов, *Предисловие переводчика*, [в:] Э. По, *Полное собрание поэм и стихотворений*, Москва – Ленинград, 1924, с. 7.

⁹ Использованы материалы сайта *Большая энциклопедия русского народа* [online] <www.rusinst.ru>; *Энциклопедический словарь*, Москва 1985, с. 550.

Литературная деятельность Карновича началась в 1845 году переводом двух комедий Аристофана – *Облака* и *Лизистрата*. В дальнейшем он работал в различных жанрах исторической прозы. Наиболее значительные художественные произведения Карновича в этой области – это романы *Любовь и корона* (1879), *Мальтийские рыцари в России* (1878 и 1880), *Придворное кружево* (1885), *Сельская жизнь* (1886), *Пагуба* (1887), являющиеся художественной иллюстрацией многих важных эпизодов истории России XVIII и XIX веков.

Его перу принадлежит также 2-х томный сборник *Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий* (1884, 1893), который посвящает читателя в тайны политической борьбы Европы и России названного периода, деятельность масонских лож, авантюры известных магов и оккультистов.

В свете избранной темы, особый интерес для нас представляет сборник *Очерки и рассказы из старинного быта Польши*. Очерки и рассказы, вошедшие в сборник, на протяжении нескольких лет (с 1857 по 1863 год) печатались в российской периодической печати („Санкт-Петербургские Ведомости”, „Современник”, „Библиотека для чтения”) и только в 1873 вышли отдельной книгой. В них изображены узловые моменты польской истории XVI–XVIII веков, показаны судьбы наиболее ярких представителей польской нации, а также описаны некоторые курьезные истории из жизни польской шляхты. Рассказ, появившийся в грузинском переводе, относится именно к этому циклу.

Обращаясь к отдельным эпизодам из истории Польши, особое внимание Карнович уделяет последнему польскому королю Станиславу Августу Понятовскому (1732–1798), так как цель очерков и рассказов, посвященных Польше, Карнович видел в том, чтобы показать в каком положении находилась Польша перед концом своего самобытного существования. С образом Понятовского читателя знакомит, прежде всего, очерк *Станислав Август, король польский*, а также рассказы *Панна Эльжбета*, *Нитка жемчуга*, *Panie Kochanki*, *Костюшко*. Станислав Август Понятовский – одна из наиболее ярких личностей в истории Польши. Карьера Станислава Августа, как известно, началась блестящей дипломатической деятельностью в Париже, а нашумевшая любовная история с великой княгиней Екатериной Алексеевной, будущей российской императрицей Екатериной II, сделала персону Понятовского привлекательной и заметной не только в России и Польше, но и в Западной Европе.

В очерке *Станислав Август, король польский* Карнович ведет свое повествование скорее как историк, чем как писатель. В нем нет остроты сюжета, нет любовного конфликта, характерного для художественного произведения, хотя автор и рассказывает о многочисленных любовных похождениях короля, отличавшегося слабостью к женскому полу, любовью к блеску и роскоши светской жизни. Карнович дает в своем очерке психологический портрет последнего короля Польши, показывает противоречивость его натуры, проявляющуюся как в личной жизни, так и государственной деятельности. В характере Станислава Августа, каким представляет его Карнович, кротость сочеталась с жестокостью, упрямство с уступчивостью, сила воли со слабостью, любовь к отечеству с неспособностью и неумением защищать его интересы.

Рассказ *Панна Эльжбета* посвящен одному эпизоду из жизни короля, связанному с красавицей-простолюдинкой, которую, как гласит молва, король отбил у гетмана Огинского, испортив тем самым свои и так не простые отношения с одной из авторитетных и влиятельных личностей Польши того времени.

Грузинский переводчик перевел рассказ *Панна Эльжбета*, но дополнил его отдельными деталями, взятыми из очерка *Станислав Август, король польский*. Таким образом, в переведенном тексте любовная история короля и девушки-простолюдинки перемежается с некоторыми элементами очерка о самом короле – его происхождении, избрании и эпизодами личной жизни. Это определено было вызвано желанием грузинского переводчика привлечь внимание грузинского читателя к столь популярной в Европе и России личности Станислава Августа Понятовского и лучше познакомить его с ней. Об этом же говорит и изменение заглавия переведенного текста. Грузинский переводчик дал рассказам Карновича свое заглавие – *Польский король и литовский гетман*. Таким образом, нами идентифицировано не только имя автора, появившегося в журнале „Цискари” рассказа, но и названия самих рассказов.

Мы считаем, что образ короля Станислава Августа Понятовского мог вызвать у переводчика ассоциации с жизнью и деятельностью последнего грузинского царя Георгия XII Багратиони и он старался вызвать их и у грузинского читателя. Это давало возможность проведения параллелей с историей Грузии периода ее присоединения к России и попыткой ответить на важные и злободневные вопросы современной грузинской действительности. Учеными-компаративистами давно установлено, что возникновение перевода теснейшим образом связано как с потребностями

общества, так и с историей самой национальной литературы, ибо переводится, как правило, то, что соответствует злободневным вопросам времени, отвечает потребностям литературного процесса. „Художественный перевод развивается в одном русле с оригинальным творчеством, – пишет О.Кундзич, – он развивает язык, расширяет круг понятий, обогащает культуру народа”¹⁰.

Проведение параллелей между основными жизненными вехами правителей Польши и Грузии, при которых их страны пришли к катастрофе – утратили национальную независимость, позволяет увидеть между ними немало общего.

Свое повествование о Станиславе Августе Карнович начинает с происхождения его рода и фамилии. „Фамилия Понятовских, – читаем в очерке, – от которой происходил последний польский король, не отличалась в Польше ни знатностью, ни богатством”¹¹.

Говоря о происхождении последнего польского короля, Карнович выдвигает свою версию, отличающуюся от мнения многих историков, часть из которых возводит род Понятовского к династии Пястов. Карнович утверждает, что Понятовские вели свое начало от Лудольфа, герцога саксонского, а также говорит, что прямым родственником Понятовских был граф Торели, который выехал в Польшу из Италии только в первой половине XVII века. Торели женился на наследнице имения Понятова, принял фамилию Понятовского, приписавшись к гербу „Телец”¹². Древность и знатность рода Багратиони не вызывает в Грузии ни у кого сомнений. Род царя Георгия XII принадлежит к древней царской династии. Исторические грузинские писания исчисляют хронологию Багратиони с VI века н.э., а некоторые исследователи, ссылаясь на летописные источники, считают, что род Багратиони ведет свое начало от библейского царя Давида¹³.

Личность широко образованная и одаренная Понятовский, как известно, оставил заметный след в истории и культуре страны. Достаточно сказать, что он был главным автором Польской Конституции 3 мая 1791 года, которая снискала общеевропейскую известность и вызвала восторг просветителей разных стран. Понятовский провел в стране реформы, напра-

¹⁰ О. Кундзич, *Перевод и литературный язык*, [в:] *Мастерство перевода*, Москва 1959, с. 8.

¹¹ Е.П. Карнович, *Станислав Август, король польский*, [в:] *Очерки и рассказы из старинного быта Польши*, Типография Ф.С. Сущинского, Санкт-Петербург 1873, с. 198.

¹² Ibidem, с. 198, 199.

¹³ М.Д. Лордкипанидзе, *История и повествование о Багратионах*, Тбилиси 1979, с. 14–19.

вленные на централизацию государственной власти и ограничение произвола олигархов, стремился к уравниванию в правах католиков и православных, создал удивительный дворцово-парковый комплекс Лазенки в Варшаве, превратил столицу Польши, в один из крупнейших культурных центров Европы и т.д. Нельзя не отметить, что последний царь Грузии Георгий XII Багратиони вопреки крайне короткому периоду пребывания на троне (с января 1898 по декабрь 1800), также оставил значительный след в истории страны, вошел в нее как царь реформатор. Он заботился о восстановлении столицы Грузии Тбилиси, разрушенной иранцами в 1795 году, способствовал восстановлению типографии, что было важно для развития грузинской культуры, провел реформу армии, боролся против утверждения иранских порядков в государстве, стремился к обустройству церквей и единству грузинского и армянского христианства.

Повествуя о Станиславе Августе, Карнович останавливает специальное внимание на моменте избрания его королем, говорит о поддерживающих и противостоящих ему партиях. Положение Польши в момент избрания Станислава Августа – внутренние раздоры, коварные замыслы соседей, прежде всего, Пруссии и России, во многом походило на положение Грузии в момент вступления Георгия XII на престол. Мачеха Георгия, царица Дареджан, учитывая разногласия между пасынком и царем Ираклием II, всячески провоцировала междоусобную борьбу между Георгием и своими сыновьями, которые, ради достижения цели, были готовы пойти на любое соглашение со злейшими врагами Грузии – Турцией и Ираном. Вокруг царевичей-претендентов группировались феодалы, усиливая противостояние и ставя под угрозу существование Картлийско-Кахетинского царства. Турция и Иран, которые не могли смириться с утратой владычества над Грузией, готовы были в любой момент напасть на обескровленную страну.

Таким образом, начало царствования короля Станислава Августа Понятовского и царя Георгия XII Багратиони пришлось на тяжелый для их родины период – период внутренних раздоров и внешнеполитической напряженности, а конец их правления связан с утратой их государствами национальной самостоятельности. Не случайно, что в историю Польши король Станислав Август Понятовский, а в историю Грузии царь Георгий XII Багратиони вошли с трагическим определением „последний”.

Во внешней политике и царь Георгий XII и король Станислав Август, придерживались прорусской ориентации, надеясь с помощью русской армии покончить с внутренней смутой и уладить внешнеполитическое

положение страны. К сожалению, надежды польского и грузинского монархов на помощь России не оправдались. Грузия, вопреки договоренности, утвержденной Георгиевским трактатом 1783 года, по которой после смерти царя Георгия XII власть в Грузии должна была перейти к его старшему сыну Давиду, вскоре превратилась в российскую губернию, возглавляемую российским наместником. Польша, в период правления Станислава Августа, „уверенно” шла к утрате государственной самостоятельности. Активно продвигая Понятовского на польский престол, вопреки крайнему недовольству польской шляхты, императрица Екатерина II преследовала свои политические интересы. Она была уверена в том, что тот, кто меньше других имел прав на польский престол, больше других, став королем, будет чувствовать благодарность к России. И она не ошиблась. Понятовский до конца остался послушным исполнителем ее императорской воли.

Интересно, что 1798 год был пророческой датой для обоих властителей: январь 1798 года стал началом кратковременного периода царствования Георгия XII (до декабря 1800), который после смерти царя Ираклия II был возведен, как его старший сын, на трон, а февраль 1798 года – последним годом жизни Станислава Августа. Существует версия, по которой и Станислав Август II и Георгий XII были отравлены. Поводы для этого, конечно, были.

В личной жизни польского и грузинского монархов мы видим существенную разницу. Станислав Август успешный любовник, считается фавориткой которого женщины почитали за честь, так и не создал семьи. Что же касается царя Георгия, то он был дважды женат и имел многочисленное потомство.

Не исключено, что историки найдут материал для проведения дальнейшего сопоставления.

Подводя итоги, следует отметить, что отдельные рассказы русского историка и писателя Е.П. Карновича, основанные на материале истории Польши и переведенные на грузинский язык, сыграли роль «посредника» в знакомстве грузинского читателя с деталями жизни и деятельности последнего польского короля Станислава Августа Понятовского. Они давали также возможность увидеть сходство некоторых этапов в историческом развитии Польши и Грузии и определенную близость роли, которую сыграли в судьбах своей страны последний король Польши Станислав Август Понятовский и последний царь Грузии Георгий XII Багратиони, что еще в большей степени способствовало сближению польского и грузинского народов.

Представленный материал – это еще один яркий пример литературного «посредничества» столь важного в истории межкультурных отношений способа общения национальных литератур.

Streszczenie

*Do sprawy o „pośrednictwie” literatury rosyjskiej w rozwoju
polsko-gruzińskich związków literackich*

W artykule jeden z typów literackiego pośrednictwa – opowiadanie – rozpatrywano na tle historii polsko-gruzińskich związków literackich XIX wieku. Ukazano, że przetłumaczone na język gruziński opowiadania rosyjskiego historyka i pisarza E.P. Karnowicza pt. *Stanisław August, król polski* i *Panna Elżbieta*, prezentujące epizody z dziejów Polski, niejako pośredniczyły w zapoznawaniu gruzińskiego czytelnika ze szczegółami życia i działalności Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przeprowadzone badanie wskazuje na podobieństwo niektórych etapów historycznego rozwoju Polski i Gruzji, na podobieństwo roli, jaką odegrali w losach swych narodów ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski i ostatni car Gruzji Giorgi XII Bagrationi.

Summary

Mediating function of Russian literature in the development of the Polish-Georgian literary relations

The article describes one of the types of the literary „mediation” – the mediator-story, presented from the history of Polish-Georgian literary relations of XIX century. It is shown that the stories of the Russian historian and writer E.P. Karnovich *Stanislaw August, King of Poland* and *Panna Elzbieta*, reflecting the individual episodes in the history of Poland and translated into Georgian, played the role of „mediator” in familiarizing Georgian reader with the details of the life and work of the last Polish king Stanislaw August Poniatowski II. The study also gives the reason to believe that the stories of Russian writer gave the opportunity to see the similarity of some stages of the historical development of Poland and Georgia, and the proximity of the role played in the destiny of their country last Polish king Stanislaw August Poniatowski II and the last king of Georgia Giorgi Bagrationi XII.

Key word: literature, mediator, interrelation, closeness, history.

Joanna Piotrowska
Uniwersytet Warszawski

Уход Льва Толстого (1910) в оценке русской и польской прессы

Восприятие в Польше творчества и религиозно-философских взглядов Льва Толстого стало предметом научных исследований, начиная с 50-х гг. XX в.¹ В то же время польская рецепция *биографии* русского писателя, отраженная прежде всего в огромном количестве газетных и журнальных публикаций, посвященных его уходу из Ясной Поляны и смерти, по сегодняшний день остается практически неизученной². При этом, на наш взгляд, в первую очередь следует обратиться к рассмотрению публикаций в периодических изданиях, печатавшихся в Царстве Польском и на остальных исторически связанных с Польшей территориях Российской Империи. Указанная польская пресса – материал не только необычный, но, может,

¹ Здесь следует особо выделить посвященные этой тематике монографии Б. Бялокозовича: B. Białokozowicz, *Lwa Tolstoja związki z Polską*, Książka i Wiedza, Warszawa 1966 (см. прежде всего главу „Переписка Толстого с поляками”); idem, *Marian Zdziechowski i Lew Tolstoj*, Łuk, Białystok 1995; idem, *Z polskiej karty Lwa Tolstoja. Nowe i zapomniane o Tolstoju i jego percepcji w Polsce*, Wyd. UWM, Olsztyn 2003. Полную библиографию работ Б. Бялокозовича по указанной тематике см. в книге: *W zgodzie z sumieniem*, red. J. Strycharski, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie, Olsztyn 2012, с. 91–151 (составитель библиографии: I. Rudziewicz). См. также важнейшие работы других исследователей по теме рецепции Льва Толстого в Польше: A. Semczuk, *Prus o Lwie Tolstoju*, „Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego” 1954, № 3, с. 140–168; idem, „Zmartwychwstanie” *Lwa Tolstoja w polskiej opinii*, „Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego” 1956, № 3/4, с. 3–64; F. Sielicki, *Lew Tolstoj w polskiej krytyce literackiej lat 1918–1939*, „Slavia Orientalis” 1960, № 1, с. 33–68; P. Grzegorzczak, *Lew Tolstoj w Polsce. Zarys bibliograficzno-literacki*, PIW, Warszawa 1964; A. Semczuk, *Bolesław Prus jako krytyk Lwa Tolstoja*, [в:] *O wzajemnych powiązaniach literackich polsko-rosyjskich. Tom poświęcony VI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Pradze*, pod red. S. Fiszmiana i K. Sierockiej przy współud. T. Kołakowskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1969, с. 143–158; E. Tymoczko-Tichoniuk, *Krakowska „Krytyka” o twórczości Lwa Tolstoja*, [в:] *Lew Tolstoj i kultury słowiańskie*, pod red. B. Białokozowicza, Wyd. UWM, Olsztyn 2005, с. 143–151; D. Małysek, *Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tolstoja u schyłku XIX stulecia*, „Studia Polonijne” 2007, t. 28, с. 135–145.

² Нам известны лишь две статьи по этой теме: J. Orłowski, *Ostatnie lata życia Lwa Tolstoja w zwierniadle prasy lubelskiej*, „Slavia Orientalis” 2010, № 4, с. 499–510; A. Semczuk, *Échos polonais à la mort de Tolstoj*, traduit du russe par M. Aucouturier, „Revue des études slaves” 2010, t. LXXXI, с. 47–52.

даже уникальный. С одной стороны, она представляла не совсем „чужой” взгляд на Россию – причастность к этому государству сказывалась на содержании польской печати (по сравнению с польскими газетами и журналами, которые выходили на территориях, относившихся к Пруссии и Австрии, польскоязычная пресса Российской Империи гораздо чаще и обстоятельнее описывала и комментировала темы, связанные с Россией). С другой стороны, это был взгляд несомненно инокультурный, взгляд людей в основном не православных, воспитанных в других бытовых традициях, к тому же – взгляд людей, по воле самой России потерявших независимость.

В этой связи перспективность изучения означенного материала обеспечивают его новизна, значимость для толстоведения и историко-культурная ценность в целом. Не менее важными мы считаем теоретический и методологический аспекты, т.е. выявление и осмысление факторов, обуславливающих т.н. „культурный трансфер”, а также механизмов формирования прессой определенного образа другой культуры.

Далее мы рассмотрим оценки и интерпретации ухода Толстого из Ясной Поляны (28 октября 1910 г.) в изданиях Царства Польского, но до того обозначим основные тенденции в характере восприятия этого события русской прессой.

Одним из первых печатных выступлений по этому поводу был фельетон Александра Алексеевича Измайлова *Легенда XX века*, опубликованный в либеральной деловой петербургской газете „Биржевые ведомости”³. Именно этот текст цитировали и пересказывали польские газеты, да и многочисленные русские периодические издания повторяли (с разными вариациями) представленную в нем интерпретацию ухода Толстого.

Так, Измайлов, высоко оценивая поступок Толстого, рассматривает его как осуществление писателем на деле положений созданного им учения. Для этого фельетонист отталкивается от распространенных мнений о несовпадении „слов” Толстого и его „дел” (например, проповедь опрощения и в то же время – обеспеченная жизнь в атмосфере пристальной заботы со стороны семьи). Толстого до ухода Измайлов видит через суждение Кнута Гамсуна: „«В этом писателе и мыслителе мне чувствуется какая-то честная фальшь», – написал однажды о Толстом Кнут

³ А. Измайлов, *Легенда XX века*, „Биржевые ведомости” 1910, № 11996 (30 октября, веч. вып.), с. 2. Все публикации в русской прессе цитируются по антологии: *Уход и смерть Льва Толстого. Корреспонденции. Статьи. Очерки*, сост., подгот. текста, комментарии, указат., статья А. С. Александрова, Э. К. Александровой, вступ. статья В. Е. Багно, под ред. А. В. Лаврова, Изд. Пушкинского Дома, Санкт-Петербург 2010.

Гамсун, прекрасно формулируя мысль, разделяемую огромным числом нашей [русской – И.П.] интеллигенции”⁴. Но, по мнению Измайлова, своим уходом из Ясной Поляны Толстой уничтожил эту „честную фальшь”, „жестокую фальшь” своей жизни. В заключение публицист пишет: „То, чего так недоставало Толстому, – дела, завершающего слово, – теперь налицо. На здание его учения положен последний камень”⁵. При этом Измайлов вводит поступок Толстого в более широкий культурный контекст, видя в его уходе как „что-то былинное, типично русское”, так и библейское: „если бы [...] не вернулся и исчез” этот „маститый *патриарх* [здесь и далее курсив наш – И.П.] нашей литературы”, казавшийся „каким-то *блаженным* или *младенцем*”, то, как предвидит Измайлов, „мировая история в 20-м веке получила бы пленительной красоты легенду, от которой веяло бы силою *первых сказаний Библии*”.

В преобладающем большинстве последующих выступлений в русской печати уход Толстого интерпретировался сходным образом и был воспринят с большим уважением и почтением. Приведем лишь два примера: „великий писатель [...] осуществил реально то, что идеально подсказывала ему вся предшествовавшая деятельность”⁶ – пишет публицист петербургского „Современного слова”; ему вторит журналист провинциальной, житомирской, газеты „Волянь”: „Толстой в течение всей своей жизни последовательно, шаг за шагом стремился к тому, что он сделал теперь. Он никогда не был только проповедником, только моралистом, развивающим всевозможные отвлеченные истины, но предоставляющим осуществление этих истин другим [...] он постепенно уходил от мира и общества и вот довел свое дело до конца”⁷. Показательны в этом плане характеристики, данные журналистами как самому Толстому, так и его поступку. Назовем всего лишь некоторые из них: Толстой – это „царственный лев духа”⁸, „гениальный сын России, ее свет и светоч, [...] бриллиант в духовной короне родины-матери”⁹, „гигант, поднявшийся над утлым миром, мудрец, имя которого уже в настоящее время стоит на одном уровне с именами духовных вождей человечества, пророк, значение которого будет тем

⁴ Ibidem.

⁵ Ibidem.

⁶ Ал. Ожигов [Н. П. Ашешов], *К вечному покою*, „Современное слово” 1910, № 1015 (31 октября), с. 1.

⁷ Апрелев, *Без любви и понимания*, „Волянь” 1910, № 303 (4 ноября), с. 2.

⁸ И. Н. Потапенко, *Великое одиночество*, „Биржевые ведомости” 1910, № 11997 (31 октября, утр. вып.), с. 2.

⁹ Ал. Ожигов [Н. П. Ашешов], *op. cit.*, с. 1.

большее, чем дальше будет удаляться он в глубины истории”¹⁰. Уход Толстого из Ясной Поляны – „бестрепетный шаг”¹¹, „великий и страшный подвиг”, который „ему одному [...] и по силам в настоящее время”¹², „событие [...] огромной величины”, „великий символ, великая легенда”, „факт большого душевного человеческого подвига”¹³, „факт небывалый в истории мировой литературы”¹⁴. Этот ряд можно продолжить.

Помимо представленной доминирующей интерпретационной линии, среди выступлений в русской печати, как правило, правого и консервативного толка, вырисовывается другая, критическая, линия, приобретающая разные оттенки. Здесь толстовский уход обычно предстает средством саморекламы; событием, которое „раздули” журналисты. Так, например, газета „Колокол” (периодическое издание черносотенного направления) высказала предположение, что „газетный шум” вокруг Толстого создан „кликой” сторонников либеральных идей, использующей фигуру писателя в собственных политических целях¹⁵. Газета „Русская земля” (орган Русского Монархического Союза) увидела в уходе четко продуманный, рассчитанный на публику шаг Толстого, якобы „настойчиво требующего к себе напряженного внимания”¹⁶. „Лев Толстой, – писала газета, – не может жить без шума вокруг своего имени. [...] Он, как индийский факир, наслаждается созерцанием собственного пупка и больше ничего знать не хочет. [...] О нем молчали некоторое время, теперь о нем опять говорят. И он бесконечно счастлив. Что же, пусть потешат этого старого младенца!”¹⁷.

Обращаясь к восприятию ухода Толстого польскими газетами, укажем, что при сравнении с русской прессой расхождения обнаруживаются уже в способе номинации. Все польские газеты чуть ли не в обязательном порядке упоминают графский титул Толстого: „граф Лев Толстой”, „граф Толстой”, иногда просто „граф”. Значительно реже встречаются другие характеристики, такие как: „великий русский писатель”¹⁸, „великий

¹⁰ А. Александров, *Власть земли и власть неба*, „Южная заря” 1910, № 1332 (3 ноября), с. 1.

¹¹ А. Доброхотов, *Великий шаг*, „Утро России” 1910, № 288 (31 октября), с. 2.

¹² Ал. Ожигов [Н. П. Ашешов], *op. cit.*, с. 1.

¹³ С. Р. [С. С. Раецкий], *Бегство из великого плена*, „Утро России” 1910, № 288 (31 октября), с. 3.

¹⁴ [Б.п.], *Беседы с читателями*, „Время” 1910, № 76 (31 октября), с. 2.

¹⁵ К., *Где он?*, „Колокол” 1910, № 1383 (2 ноября), с. 1.

¹⁶ Тучстон, *Толстой и фраза*, „Русская земля” 1910, № 239 (4 ноября), с. 2.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ б., „*Ucieczka Tolstoja*”, „Kurier Warszawski” 1910, № 318 (17 (4) listopada), с. 14; м., *Chory lew...*, „Kurier Polski” 1910, № 318 (17 (4) listopada), с. 2.

писатель”¹⁹, „знаменитый писатель”²⁰, „автор *Войны и мира*”²¹, „пожилой писатель из Ясной Поляны”²², „писатель почтенных лет”²³, „русский художник почтенных лет”²⁴, „известный русский писатель и мыслитель”²⁵, „великий старец из Ясной Поляны”²⁶, „мыслитель почтенных лет”, „объект преклонения и восхищения для многочисленных представителей русского народа”²⁷, „законченный агностик” (характеристика из католического издания „*Polak-Katolik*”)”²⁸, „лев” (игра слов в заголовке *Больной лев*²⁹), „пожилой Лев Толстой”³⁰, „великий Лев Толстой”³¹. Этим списком практически исчерпываются характеристики, данные Толстому польской прессой. Таким образом, польские журналисты акцентируют внимание своих читателей на следующих элементах: высокое положение Толстого на социальной лестнице, его писательская деятельность, получившая мировое признание, почтенный возраст и авторитет у русского народа. Проповедническая ипостась Толстого, его нравственно-философская деятельность, которая была значима для русских журналистов, в польской прессе практически никак не отражена (в качестве исключения можно рассматривать разве что характеристики в газете „*Polak-Katolik*”, подчеркивающей отпадение Толстого от религии).

Оценки и интерпретации ухода Толстого в польской прессе можно, как в случае с русскими газетами, разделить на две группы.

¹⁹ [B.p.], *Odnalezienie hr. Tolstoja*, „Kurier Polski” 1910, № 316 (15 (2) listopada), с. 1; [B.p.], *Lew Tolstoj*, „Kurier Poranny” 1910, № 320 (18 (5) listopada), с. 1.

²⁰ [B.p.], [b.t.], „Kurier Poranny” 1910, № 315 (13 listopada / 31 października), с. 3; [B.p.], *Zniknięcie Tolstoja*, „Kurier Polski” 1910, № 315 (14 (1) listopada), с. 1.

²¹ b., „*Ucieczka*” *Tolstoja*, op. cit., с. 14.

²² [B.p.], *Tolstoj ukrył się*, „Słowo” 1910, № 515 (12 listopada / 30 października, numer wieczorny), с. 1; [B.p.], *Zniknięcie Lwa Tolstoja*, „Kurier Polski” 1910, № 314 (13 listopada / 31 października), с. 1.

²³ [B.p.], *Zniknięcie Lwa Tolstoja*, с. 1; [B.p.], *Tolstoj ukrył się*, с. 2.

²⁴ [B.p.], *Choroba Tolstoja*, „Słowo” 1910, № 523 (17 (4) listopada, numer wieczorny), с. 3.

²⁵ [B.p.], *Zniknięcie hr. Lwa Tolstoja*, „Nowa Gazeta” 1910, № 519 (12 listopada / 30 października, wyd. popołudniowe), с. 4; [B.p.], *Zaginienie hr. Lwa Tolstoja*, „Polak-Katolik” 1910, № 258 (12 listopada / 30 października), с. 3.

²⁶ [B.p.], *Zaginienie hr. Lwa Tolstoja*, „Kurier Warszawski” 1910, № 313 (12 listopada / 30 października, dodatek poranny), с. 5; [B.p.], *Choroba Tolstoja*, „Nowa Gazeta” 1910, № 529 (18 (5) listopada, wyd. popołudniowe), с. 6.

²⁷ [B.p.], *Choroba Tolstoja*, „Nowa Gazeta”, с. 6.

²⁸ [B.p.], *Zaginienie hr. Lwa Tolstoja*, „Polak-Katolik”, с. 3.

²⁹ m.: *Chory lew...*, с. 2.

³⁰ [B.p.], *Choroba Tolstoja*, „Nowa Gazeta” 1910, № 527 (17 (4) listopada, wyd. popołudniowe), с. 5.

³¹ m.: *Chory lew...*, с. 2.

К первой группе мы отнесем публикации, для которых характерны умеренность тона, установка на объективность и нейтральность. Речь идет в первую очередь о комментариях в двух варшавских газетах – „Kurier Warszawski” и „Gazeta Warszawska”.

Так, в заметках, опубликованных ведущей, самой читаемой в Царстве Польском газетой „Kurier Warszawski”, которая не была органом какой-либо партии, акцент делается на незаурядной личности Толстого: „в Толстом, – читаем в заметке, – всегда соединялись писатель-беллетрист и философ-идеалист, общественный реформатор и создатель секты, мыслитель, в котором национальное начало сочеталось с сильной индивидуальностью, наконец, исключительная склонность к аскетизму и мистицизму”³². При этом особое внимание обращено на пристальный интерес западноевропейской прессы к уходу Толстого, превосходящий даже, по мнению газеты, интерес восточноевропейской печати. „Kurier Warszawski” объясняет эту ситуацию тем, что „там [в Западной Европе – И. П.] всегда будет в значительной мере непонятным душевный порыв автора *Войны и мира*”³³. Как видим, журналисты используют оппозицию „Восточная – Западная Европа”, чтобы подчеркнуть близость поляков к русским и таким образом акцентировать, что сущность ухода Толстого понятна и полякам.

Говоря о восприятии газетой „Kurier Warszawski” поступка Толстого, необходимо отметить еще один интересный момент: несмотря на то, что газета довольно широко использовала материалы из русской прессы, кратко излагая их содержание, она не упомянула ни одного выступления, где уход рассматривается в контексте толстовского учения, как осуществление Толстым собственных идей (такая трактовка, как мы помним, доминировала в русской печати).

Установка на беспристрастное представление толстовского ухода характерна также для другого довольно популярного издания – „Gazeta Warszawska”, которое выражало интересы консерваторов с националистским уклоном. Газета указывает, что „русская пресса очень высоко оценивает поступок Толстого, видя в этом достойный венец его учению”³⁴,

³² „w osobie Tolstoja jednoczył się zawsze pisarz-beletrysta i filozof-idealista, reformator społeczny i twórca sekty, umysł, w którym kojarzyły się pierwiastki narodowościowe z silną indywidualnością własną, a wreszcie skłonność wybitna do askezy i mistycyzmu”. b., „*Ucieczka*” Tolstoja, c. 14.

³³ „tam [w Europie Zachodniej – J. P.] bowiem zawsze pozostanie w znacznej części niezrozumiałą odruch psychiczny autora *Wojny i pokoju*”. Ibidem.

³⁴ „Prasa rosyjska bardzo wysoko podnosi czyn Tolstoja, widząc w nim godne uwieńczenie jego nauki”. [B.p.], *Miejsce pobytu L. Tolstoja*, „Gazeta Warszawska” 1910, № 312 (14 (1) listopada), c. 3.

однако она не сопровождает эту констатацию каким-либо комментарием. Публикация лаконичного изложения фельетона Измайлова *Легенда XX века* могла бы быть аргументом в пользу того, что „Gazeta Warszawska” по большому счету разделяет точку зрения автора. Однако пафос измайловского текста в пересказе, сделанном газетой, был изменен: „Противоречие между учением об опрощении, об отказе от любых мирских благ и барскими условиями, в которых жил Толстой, было поистине поразительным. Уже Кнут Гамсун [...] заметил, что жизнь этого человека [т.е. Толстого – И. П.] основывается на «честной фальши». На исходе своей жизни, будучи 82-летним старцем, Толстой, *вероятно*, решил с этой «честной фальшью» покончить”³⁵. Ключ к пониманию различия между фельетоном и его польским изложением лежит в слове „вероятно”. Если для Измайлова уход имеет однозначный смысл – Толстой покинул Ясную Поляну, чтобы осуществить на деле свое учение, то в изложении эта интерпретация не представлена как абсолютно верная, единственно возможная, есть какая-то доля сомнения в том, что именно так нужно толковать поступок писателя.

Для польских публикаций, относящихся ко второй группе, характерно открыто выраженное негативное восприятие ухода Толстого и его личности в целом. Варьируются лишь оттенки интерпретации и способы выражения критики.

Так, газета „Słowo”, испытывающая влияние примиренцев, сторонников сотрудничества с властью, рассматривает уход как „новую необычную идею”, очередное проявление „некоторой оригинальности или, может, даже ненормальности”³⁶ Толстого. Это поступок, пишет газета, в духе „целого ряда странных действий Толстого в последние годы”, среди которых „то сочетание удобных палат яснополянского дворца с крестьянской сермягой, то отказ от гонораров, получаемых за произведения, о которых, однако, продолжала заботиться супруга писателя, то весь образ жизни, то последние публичные выступления”³⁷. С точки зрения газеты,

³⁵ „Sprzeczność między nauką o ubóstwie i wyrzeczeniu się wszelkich dóbr ziemskich i wielkopolańskim otoczeniem, wśród którego Tolstoj mieszkał, była zbyt uderzająca. Już Knut Hamsun [...] zauważył, że życie tego człowieka jest oparte na «uczciwym kłamstwie». Tolstoj u schyłku dni swoich, jako starzec 82-letni, postanowił *widocznie* skończyć z tem «uczciwym kłamstwem». Ibidem.

³⁶ [B.p.], *Tolstoj ukrył się*, c. 2.

³⁷ „Czy to połączenie wygodnych salonów [в источнике опечатка – „salonach” – J. P.] jasnopolańskiego pałacu z wieśniaczą sukmaną, czy to wyrzeczenie się wszystkich dochodów z dzieł, któremi jednak nie przestała się opiekować małżonka pisarza, czy cały tryb życia, czy ostatnie wystąpienia publiczne”. Ibidem.

Толстой если не сумасшедший, то, по крайней мере, чудака, и таким образом следует воспринимать его уход из Ясной Поляны.

В свою очередь газета „Goniec”³⁸, орган правых с националистским уклоном, представила поступок Толстого вместе с последующей на него реакцией как событие редкое по своему комизму. В заметке под заголовком *Робинзонада гр. Льва Толстого* читаем: „Граф Лев Толстой, который тридцать лет «томился» в великолепном дворце Ясной Поляны, [...] исчез вдруг [...] вместе со своим личным врачом, д-ром Маковицким. [...] Эффект был огромным. [...] Все чувствительные и жаждущие сенсации сердца по всей Европе задрожали в приятном волнении. Какой-то современный русский писатель уже написал черным по белому в *Бирж[евых] вед[омостях]*: «Если гр. Толстой не вернется, но исчезнет, то мировая история в XX веке получит пленительной красоты легенду, от которой будет веять силою первых сказаний Библии»»³⁹. Автор заметки приводит отрывок из фельетона Измайлова, но лишь для того, чтобы высмеять его пафос. Этот прием – саркастическая трактовка возвышенных реакций на уход Толстого – использовался журналистами и в дальнейшем. Кроме того, газета довольно активно цитирует источники, где представлена негативная точка зрения на поступок писателя. Чтобы подчеркнуть различия в восприятии толстовского ухода представителями русской и западноевропейской культуры, газета приводит высказывание Павла Хейзе, немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе за 1910 год: „Толстой – комедиант. Это комедийные номера. Кто 80 лет жил в собственном имении, тот спокойно мог бы прожить в нем остаток дней своих. Если Толстой сбежал из Ясной Поляны не по семейным причинам, то он это сделал от старческой дряхлости или со скуки»»⁴⁰. Газета „Goniec”, как ранее „Kurier Warszawski”, актуализирует оппозицию „Восточная – Западная

³⁸ Газета выходила в двух вариантах – утреннем („Goniec Poranny”) и вечернем („Goniec Wieczorny”).

³⁹ „Hr. Lew Tołstoj, który od trzydziestu lat „męczył się” we wspaniałym pałacu Jasnej Polany, [...] zniknął nagle [...] wraz ze swym lekarzem przybocznym, d-rem Makowickim. [...] Efekt był ogromny. [...] Wszystkie tkliwe i spragnione sensacji serca w całej Europie zadrżały w lubym niepokoju. Jakiś aktualny pisarz rosyjski napisał już czarno na białem w *Birż. Wied.* [„Birżewyje wiadomości” – J. P.] „Jeżeli hr. Tołstoj nie wróci, ale zginie, – dzieje świata w XX wieku pozyskają legendę upajającej piękności, od której powieje moc pierwszych rozdziałów Biblii”. [B. p.], *Robinsoniada hr. Lwa Tołstoja*, „Goniec Wieczorny” 1910, а 522 (14 (1) listopada), c. 2.

⁴⁰ „Tołstoj jest komedjantem. To są komedjanckie szusy. Kto przez lat 80 mieszkał we własnym majątku, mógłby z powodzeniem przeżyć w nim tę resztę lat życia, która mu pozostaje. Jeżeli Tołstoj nie uciekł z Jasnej Polany ze względów na stosunki rodzinne, uczynił to z powodu starczej zgrzybiałości, lub z nudy”. [B.p.], *Tołstoj i Heyse*, „Goniec Poranny” 1910, № 533 (20 (7) listopada), c. 6.

Европа”, где Восточная Европа – это восторженное, т.е. неадекватное, а Западная Европа – скептическое, т.е. адекватное, восприятие происходящего. Таким образом, указанная оппозиция представлена в польской прессе двумя противоположными идеологическими вариантами: если „*Kurier Warszawski*” с ее помощью стремился указать на определенную близость русских и поляков, в частности, в видении Толстого и его ухода, то газета „*Goniec*” при помощи того же противопоставления пытается подчеркнуть различия между русскими и поляками и сходства последних с Западом.

Итак, заинтересованность польской прессы уходом Толстого была столь же высока, как русской печати, однако в характере рецепции этого события польскими и русскими газетами прослеживаются существенные различия. В русской периодической печати на первый план выдвигается восприятие ухода Толстого в контексте его учения. Польские же газеты, рассматривая толстовский поступок, концентрировались на личности писателя, и видели в нем либо человека необычного, незаурядного (как правило, аполитичные издания), либо чудака и комедианта (как правило, печатные органы консерваторов и правых, взгляд которых на уход Толстого близок со взглядом русских консервативных изданий). Несмотря на то, что вся польская пресса использовала материалы из русскоязычной печати, указания на значимость созданного Толстым учения для интерпретации его ухода в польских газетах практически отсутствуют. Причина этого – характер обращения с русскими публикациями, актуализирующими этот аспект: изменение их содержания либо вообще игнорирование подобных выступлений. Эту ситуацию можно объяснить прежде всего совершенно иным статусом Толстого в польском культурном пространстве (писатель, автор художественных произведений, а не нравственный авторитет). Возможно, следует учитывать также религиозный аспект толстовского учения, отрицающего догматические основы христианства, и значимость для польского общества католицизма как важного элемента национальной идентичности.

Streszczenie

Ucieczka Lwa Tolstoja (1910) w ocenie rosyjskiej i polskiej prasy

W artykule omówione zostały reakcje prasy rosyjskiej i polskiej (przede wszystkim – warszawskiej) na słynną ucieczkę Lwa Tolstoja z Jasnej Polany w 1910 r. Analiza porównawcza publikacji pozwoliła zauważyć, że gazety polskie pisały o tym zdarzeniu stosunkowo dużo i często, lecz interpretowały je odmiennie niż gazety rosyjskie. Prasa rosyjska odczytywała ucieczkę głównie w kontekście stworzonej przez Tolstoja nauki, natomiast prasa polska w kontekście

osobowości pisarza – jako czyn niezwykłego człowieka lub też, podobnie do rosyjskiej prasy konserwatywnej, jako desperacki krok szaleńca czy komedianta. Tę zasadniczą różnicę w interpretacji można tłumaczyć przede wszystkim odmiennym statusem Tolstoja w rosyjskiej i polskiej przestrzeni kulturowej – dla Polaków Tolstoj był w głównej mierze wybitnym pisarzem, nie zaś, jak dla Rosjan, autorytetem moralnym. Istotnym czynnikiem mógł być również światopogląd późnego Tolstoja, zwłaszcza jego poglądy religijne, i znaczenie dla społeczeństwa polskiego katolicyzmu jako jednego z ważnych elementów tożsamości narodowej.

Summary

Leo Tolstoy's escape (1910) in the opinion of Russian and Polish press

The paper discusses reactions of Russian and Polish (first of all – Warsaw) press to the famous Leo Tolstoy's escape from Yasnaya Polyana in 1910. A comparison between publications shows that Polish newspapers wrote relatively much and regularly about the event, but interpreted it in a different way than the Russian ones. While the Russian press explained Tolstoy's escape mostly in the context of his beliefs and views, the Polish one clarified the situation through the personality of the writer, as an act of an extraordinary person or a desperate step of a madman or of a pretender (such interpretation was also presented by the Russian conservative press). This fundamental difference in interpretation can be explained first of all by another status, which Tolstoy had between the Russian and Polish people – for the Poles he was mainly not, as in Russia, a moral authority, but an outstanding writer. Tolstoy's world-view could also play an important role, especially his religious views, and the significance of Catholicism for the Polish people as one of the most important elements of the national identity.

Key words: Leo Tolstoy, escape, Yasnaya Polyana, Russian press, Polish press.

Monika Sidor

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Obcy i swoi. Polacy w cyklu *Czerwone Koło* Aleksandra Solżenicyna

Czesław Miłosz pisał w *Rodzinnej Europie*, że złożona i niestety pełna niechęci wzajemna relacja Polaków i Rosjan jest w gruncie rzeczy dość typowa dla stosunków między sąsiadami: „Nie jest wykluczone, że Polacy wiedzą o Rosjanach to, co Rosjanie wiedzą o sobie samych, nie chcąc się do tego przyznać, i odwrotnie”¹. Autor *Doliny Issy* oczywiście przychylił się do opinii, że bezpośrednimi przyczynami zaszłości są wydarzenia historyczne, w świetle których obydwie narody mogą czuć się ofiarami. Zwracał jednak uwagę, że przy wydawaniu jakichkolwiek ocen należy dążyć do obiektywizmu i zdać sobie sprawę z całej sieci powiązań oraz uwarunkowań, dotyczących najbardziej dramatycznych dla obydwu krajów wydarzeń, które tkwią u podstaw animozji. Na pewno literatura dostarcza w tym względzie nieocenionych materiałów, nie dlatego, że miałyby być obiektywne, ale przekazuje sytuację i ciągi zdarzeń, pozwalające – nieraz wbrew intencjom autorów – wyabstrahować takie zjawiska, jak resentymenty, ujęcia stereotypowe, poczucie krzywdy, ale także sympatię, podziw, sprzeciw wobec dyskryminacji itp. Oczywiście trzeba przy tego typu rozmyślaniach zachować należyty dystans, pamiętając o wyjątkowości dzieła literackiego i regułach obcowania z nim.

Obraz Polaka w literaturze rosyjskiej różnych epok oraz wzajemne oddziaływanie kultury polskiej i rosyjskiej już od dawna przyciągało zainteresowanie badaczy komparatystów i temat ten doczekał się bardzo wnikliwych i wielostronnych analiz². Sam przywołany na początku Miłosz omawiał stosunek Rosjan do Polaków na przykładzie wielkiej powieści realistycznej drugiej połowy XIX wieku, a mianowicie dzieł Fiodora Dostojewskiego. Tego rodzaju szkice

¹ Cz. Miłosz, *Rosja. Widzenia transoceaniczne*, t. 1: *Dostojewski – nasz współczesny*, wybór B. Toruńczyk, M. Wójciak, opr. B. Toruńczyk, wstęp C. Cavanagh, wyd. Zeszyty Literackie, Warszawa 2010, s. 19.

² Zob. *Polacy w życiu kulturalnym Rosji*, red. R. Łużny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986; *Chrześcijański Wschód a kultura polska. Studia pod redakcją R. Łużnego*, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1989 i in.

nie są oczywiście analizami literaturoznawczymi, ale realizują w jakimś sensie postulaty dzisiejszych kierunków badań humanistycznych nakierowanych na refleksję nad obrazem „innego” i stanowią pewną inspirację dla zamierzonych przeze mnie rozważań. Monumentalne dzieło Aleksandra Solżenicyna *Czerwone Koło* może bowiem z powodzeniem posłużyć jako materiał do podobnych badań. Należy ono do późnej twórczości autora *Zagrody Matryony*, gdyż poczynając od 1971 r., kiedy ukazała się pierwsza powieść z cyklu, było wielokrotnie poprawiane, aż do 2005 r. Podczas pracy nad ostatnią redakcją *Czerwonego Koła* miał więc Solżenicyn za sobą doświadczenie człowieka wydalonego z ojczyzny, emigranta i repatrianta. Próżno jednak szukać w wielotomowym dziele śladów tego doświadczenia, nie ma też refleksji nad tożsamością, obcością czy innością charakterystycznych dla kondycji współczesności, a manifestujących się z wielką siłą w filozofii postmodernistycznej³. Celem nadrzędnym przyświecającym pisarzowi podczas pracy nad całym zbiorem prozatorskim jest odtworzenie prawdy dziejowej⁴. Cykl łączy w sobie cechy powieści historycznej i dokumentu, jako że wśród rozdziałów przedstawiających losy fikcyjnych bohaterów autor wplata także wydzielone graficznie teksty archiwalne, pochodzące z przedstawianej epoki oraz fragmenty analizy historycznej⁵. Solżenicyn – jak sam podkreśla – stara się być obiektywny nawet wtedy, gdy używa chwytów nastawionych na ekspresję, gdy celowo „zagęszcza farbę”⁶, gdy ironizuje lub gniewnie wykrzykuje. Ukazując newralgiczny dla przyszłości Rosji okres krystalizowania się idei wywrotowych w pierwszych latach XX wieku, pisarz dąży do nadania każdemu zjawisku odpowiedniej proporcji, dostrzeżenia i odnotowania wszelkich czynników, które wpłynęły na powodzenie przewrotu. Rewolucja i jej konsekwencje niewątpliwie są tematem zarówno całego cyklu, jak i każdej oddzielnej jego części. Nic nie może równać się z rozmiarami tej dziejowej tragedii rosyjskiej, dlatego prozaik przedstawia ją drobiazgowo, koncentrując się niejednokrotnie na faktach z pozoru zupełnie nie związanych z motywem przewodnim.

Wśród licznej grupy bohaterów, a jest ich według obliczeń samego autora kilkuset, należy więc spodziewać się wielu Polaków, którzy przecież w przedstawianym

³ Zob. *Postmodernizm. Antologia przekładów pod redakcją Ryszarda Nycza*, Wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 1997, tu teksty J. Derridy, F. Jamesona, J. Clifforda, Z. Bauman, C. Owensa.

⁴ Э. Б. Вахтель, *Назад к летописям: Солженицынское „Красное Колесо”*, przeł. Б.А. Ерхова, [w:] *Солженицын: Мыслитель, историк, художник. Западная критика: 1974–2008*, red. Э.Э. Эриксона, Русский путь, Москва 2010, s. 628–629.

⁵ O metodzie twórczej Solżenicyna zob. Ж Нива, *Поэтика Солженицына между „большими” и „малыми” формами*, „Звезда” 2003, nr 12, s. 143–148.

⁶ Por. Solżenicynowskie oceny emocjonalności opisu literackiego np. А.И. Солженицын, *Иван Шмелёв и его „Солнце мёртвых”*. Из „Литературной коллекции”, „Новый мир” 1998, nr 7, 186–187.

okresie nie byli w Rosji rzadkością. Poza oczywistym faktem, że terytoria polskie wraz z mieszkającymi tam Polakami pozostawały zależne od Imperium Rosyjskiego lub były wprost inkorporowane do Rosji, nasi rodacy żyli przecież w różnych innych zakątkach państwa carów. Poszukując perspektyw albo też rzuceni w dalekie strony przez los czy wolę monarchy stanowili dość zwartą grupę narodowościową, prowadzącą ożywioną działalność kulturalną, naukową, ekonomiczną i społeczno-polityczną, która jest ciągle obiektem badań historyków⁷. Warto zaznaczyć, że akcja utworu, ogarniająca ogromne połacie lądu od Jezior Mazurskich po Kaukaz, nieraz rozgrywa się na terenach, które – bardziej lub mniej licznie – zamieszkiwali Polacy. Jednakże nasi rodacy zaskakująco rzadko pojawiają się w ogromnym cyklu prozatorskim jako oddzielni bohaterowie⁸. Solżenicyn poświęca im niewiele uwagi, mimo że w relacjonowanych przez niego ze stenograficzną dokładnością posiedzeniach Dumy, a potem różnych organów władzy porewolucyjnej tzw. kwestia polska miała niebagatelne znaczenie. I chociaż zwykle pisarz stara się wyjaśniać podobne zawile problemy polityczne, które były dyskutowane w owych gremiach, to kwestia polska jest pozostawiona właściwie bez komentarza. Solżenicyn przedstawia ją raczej jako problem drugoplanowy, komplikujący i tak już niezwykle złożoną sytuację wewnętrzną Rosji. Polacy są w jego wizji częścią ludności Imperium Rosyjskiego i ich dążenia niepodległościowe są nieuzasadnione. Dyskusja nad sprawą polską w tym ujęciu spowalnia funkcjonowanie parlamentu lub rządu i odsuwa w czasie konieczność zajmowania się kwestiami kardynalnymi. Decyzje odnoszące się do przyszłości Polski podejmowane przez różne wcielenia nowej władzy mają charakter propagandowy. Różne formacje aspirujące do przejęcia władzy, przyznając Polakom za pomocą języka performatywnego prawo do samostanowienia, starają się utwierdzić swoją pozycję, a nawet legitymizować istnienie. Dobitnie przedstawia tę sytuację migawka z przygotowań Stankiewicza do narady rewolucyjnej:

А пока мы ломаем голову надо всеми этими проблемами и тянем – а жизнь идёт, и что-то надо решать, и вон Временное правительство без всякого Учредительного Собрания утвердило акт о самостоятельности Польши. Немало⁹.

⁷ Zob. A. Kijas, *Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Słownik biograficzny*, Inst. Wydawniczy PAX, Poznań 2000.

⁸ Oczywiście uwzględniając fakt, że Polacy w ogóle nie należą do narodowości zajmujących w rosyjskiej świadomości potocznej szczególnie znaczącą pozycję. Zob. K. Diaczenko, *Polak i Polka w oczach Rosjanina*, [w:] *Narody i stereotypy*, red. T. Walas, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1995, s. 161.

⁹ А. Солженицын, *Собрание сочинений в тридцати томах*, t. 15: *Апрель Семнадцатого*, Время, Москва, 2006, s. 54. Dalej cytaty pochodzące z tego samego wydania oznaczone są numerem tomu i strony.

Kwestia polska bywa więc w fabule dzieła okazją do zaistnienia w dyskursie publicznym i zdobycia sobie przychylności mniejszości narodowych. Wiele znaczący jest fakt, że bardzo krytycznie przedstawiany przez Sołżenicyna Kierenski – polityczny parweniusz zabiegający o jak największą popularność – wśród wielu przeczących sobie wzajemnie gestów, obliczonych na przykucie uwagi tłumu, wypowiada się przychylnie na temat polskich dążeń niepodległościowych:

Несмотря на позднее вечернее время (но специальный поезд ждал его до любого времени), он ещё замчался в польский демократический клуб – и там под очередные аплодисменты разъяснил, что не удивляется полякам, относившимся с недоверием к России: дело в том, что и русские до сих пор не верили сами себе. (13, 592)

W rzeczy samej, na tle całej przedstawionej w utworze płataniny problemów wewnętrznych, przed którymi przyszło stanąć Rosji walczącej w tym samym czasie z wrogiem zewnętrznym na frontach I wojny światowej, podobne deklaracje solidarności z Polakami potęgują tylko zamęt w państwie. Sołżenicyn celowo tak konstruuje fabułę utworu, aby uwydatnić niezwykle skomplikowany moment dziejów i ukazać jasno, jakim złem z punktu widzenia rosyjskiej racji stanu są dążenia separatystyczne poszczególnych narodów. Jedność Rosji jest zagrożona z powodu swobód udzielonych innym narodom wchodzącym w skład imperium. Pisarz przekazuje tę myśl z emfazą i można odnieść wrażenie, że Rosja pada ofiarą własnych obywateli, których przyciągnęła, i o których zadbała. W całym cyklu *Czerwone Koło* dominuje taki rosyjski punkt widzenia. Nie jest to więc – jak deklaruje Sołżenicyn – wizja obiektywnie prawdziwa, ale narracja historyczna w sensie White'owskim, operująca środkami modyfikującymi sens wydarzeń historycznych¹⁰. Za narratorem, który w dziele określa siebie jako pisarza-historyka badającego dzieje kraju na podstawie losów jego mieszkańców, stoi niewątpliwie Rosjanin poszukujący materiałów dla udowodnienia swoich, z góry uznanych za prawdziwe, tez. Pozycja reprezentowana przez narratora w wypowiedziach innego typu nazywana byłaby nacjonalizmem, a w przypadku utworu literackiego może być traktowana jako przejaw dyskursu kolonialnego¹¹.

¹⁰ Zob. H. White, *Proza historyczna*, red. A. Domańska, przeł. R. Boryslawski, T. Dobrogoszcz, E. Domańska, D. Kołodziejczyk, J. Mydla, M. Nowak, A. Żychliński, Universitas, Kraków 2009, s. 146–149.

¹¹ Por. L. Gandhi, *Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne*, postłowie E. Domańska, przeł. J. Serwański, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 127–129.

Zastosowanie teorii postkolonialnej w badaniach nad kulturą literacką Europy Środkowej i Wschodniej budzi wprawdzie wiele dyskusji, ale przyznać trzeba, że idea tekstualizacji świadomości imperialnej w jakiś sposób objaśnia widoczne w dziele Solżenicyna marginalizowanie mniejszości narodowych¹². Ewa Thomson twierdzi nawet, że „wymazywanie głównych mniejszości imperium” w pierwszej części *Czerwonego Koła*, powieści *Sierpień Czternastego* „może być jedną z przyczyn, dla których zestarzała się ona tak szybko”¹³. Według teorii postkolonialnej przedstawiciele rozległego imperium nawet nie dopuszczają do siebie myśli, że zdominowane kraje nie są wdzięczne za cywilizacyjne i polityczne dobrodziejstwa płynące z faktu podporządkowania silnemu państwu. Ukazane w *Czerwonym Kole* dążenia Polaków do niezależności wydają się niezrozumiałe i tak właśnie są ukazywane na poziomie fabularno-narracyjnym cyklu. Solżenicyn ilustruje to fragmentem obrad rady rewolucyjnej z lutego 1917 r., kiedy przedstawiciele wszystkich sił politycznych byli zaskoczeni ideą uznania niepodległości Polski, wysuniętymi przez Sokołowa:

Совет должен принять приветствие к польскому народу и заявить, что вся демократия России стоит на почве признания независимости Польши. Но слушали его рассеянно, отмахивались: одни заняты были переездом, другие не могли понять, почему именно независимость Польши – сегодня самый первый и острый вопрос. (13, 706)

Zdaje się, że dobrym podsumowaniem wątku polskich dążeń do niezawisłości w cyklu *Czerwone Koło* jest fraza pojawiająca się przy opisie działalności Pawła Milukowa: „непомерные претензии из подчинённого королевства сразу обратиться в великую державу, прихватя побольше русских земель”. Trudno określić jednoznacznie, do kogo należy ta opinia. W skomplikowanej strukturze narracyjnej cyklu przywołana wypowiedź znajduje się gdzieś pomiędzy narracją personalną a podejściem badacza dziejów – może więc jednocześnie wyrażać osobiste poglądy Milukowa, ale może być również częścią oceny postaci ministra przez narratora-historyka. Solżenicyn zresztą przyznawał, że dążąc do odzwierciedlenia postawy życiowej jakiegoś bohatera historycznego, pozwalał sobie na uzupełnianie portretu psychologicznego danej postaci¹⁴.

¹² Zob. E. Domańska, *Badania postkolonialne*, [w:] L. Gandhi, op. cit., s. 162–164; M. Janion, *Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury*, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 12, 223–229.

¹³ E. M. Thomson, *Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm*, przeł. A. Sierszulska, Universitas, Kraków 2000, s. 236.

¹⁴ А.Н. Латынина, *Солженицын и мы*, „Новый мир” 1990, nr 1, s. 241–258.

W takim razie „wybują ambicje Polski” mogą być traktowane jako fakt bezsporny, będący miernikiem liberalizmu polityka, a całe określenie będzie przykładem sensotwórczego dyskursu kolonialnego.

Mimo stosunkowo niewielkiej liczby występujących w utworze Polaków, jego fabuła przekazuje całkiem niemało wtrąconych jakby mimochodem wzmianek o spotkaniach z polskimi delegatami lub o działalności politycznej polskiej mniejszości. W narracji *Czerwonego Koła* polskie akcenty są oceniane zwykle jako aktywność powodowana egzaltacją, budząca znużenie innych obywateli i jeszcze mocniej komplikująca złożoną sytuację kraju. A sprawa polska, według Solżenicyna, po prostu została załatwiona przez władze źle. Nie była ona kwestią pierwszorzędного znaczenia, ale takie właśnie mało ważne sprawy, które nie były należycie przemyślane, bardzo osłabiły Rosję i rozbudziły apetyty niepodległościowe innych grup narodowościowych. Winnym upadku jedności imperium, według wizji pisarza-historyka, jest zaś przede wszystkim Mikołaj II, który poprzez serię pochopnych posunięć i skłonność do otaczania się pochlebcami zachwiał siłą militarną Rosji, osłabił jej wewnętrzną jedność i naraził kraj na rewolucyjną burzę. Władza cara zapewniała bowiem trwałość państwa, zaś po jej zniesieniu kraj uległ rozkładowi (13, 378).

Polacy w świecie przedstawionym utworu znani są ze swej nienawiści do Rosjan i marzeń o wolności. Dobrze oddaje tę postawę formuła: „весь свет гори огнём, лишь бы была свободна Польша” (16, 241). Wrogość, jaką naród polski obdarza Rosję, według narratora jest niezasłużona i nieracjonalna. Dobrze znany w teorii badań postkolonialnych dyskurs hegemonia jest w *Czerwonym Kole* bardzo wyraźny. Solżenicyn ukazuje na przykład, że Rosjanie niosą na swoich barkach ciężar wielkości Imperium, które jest gwarantem dobrobytu wszystkich mniejszości. Narrator wspomina, że na frontach I wojny światowej obecne były polskie pułki, lecz – jak pisze – nie budziły one żadnego szacunku nieprzyjaciela (9, 23). Bohaterskich czynów dokonywali za to prości Rosjanie ze wsi wielkoruskiej, wyróżniając się przy tym bezprecedensowym męstwem, odwagą i sprytem. Solżenicyn nie szczędzi przykładów indywidualnego heroizmu Rosjan, przede wszystkim w *Sierpniu Czternastego*. Nieliczni zaś w ogromnym cyklu bohaterowie Polacy jawią się jako postacie niejednoznaczne – przez Rosjan są traktowani jako „swoi”, bliscy i należący do jednego organizmu państwowego, a jednak „inni” – niezależni, nieprzewidywalni. Solżenicyn zupełnie nie interesuje Polak jako przedstawiciel obcej kultury. Nie wspomina ani razu o polskich zwyczajach, osiągnięciach sztuki czy spuściźnie literackiej. Nie stara się także wnikać w sytuację Polaka otoczonego żywiołem rosyjskim. Refleksja nad obcością – jak twierdzi Michel Foucault – zakłada bowiem w pierwszym

rzędzie pytania o własną tożsamość: „czego trzeba bym był, ja, który myślę i jestem swym myśleniem”¹⁵. U Sołżenicyna zaś – jak się wydaje – kwestie własnej, rosyjskiej tożsamości nie podlegają żadnej dyskusji. Polski uczony Mieczysław Dobrowolski zauważa, że pojawienie się we współczesnej kulturze dyskursu inności i akcentowanie różnic kulturowych jest związane z załamaniem się panującego powszechnie jeszcze do I wojny światowej przeświadczenia „o stabilności naszego świata, o niezmienności zasad nim rządzących”, które było „oparte na dualistycznej logice i metafizyce chrześcijańskiej”¹⁶. Sołżenicyn niejednokrotnie w swoich utworach i wystąpieniach publicystycznych pokazał, że jego wizja rzeczywistości jest właśnie niezmienna i stabilna. Co więcej, świadom zagrożeń, jakie niesie ze sobą hybrydyczna nowoczesność, dokładał wysiłków, aby zachować tradycyjny, wolny od tożsamościowych dywagacji, system wartości i model funkcjonowania świata. W *Czerwonym Kole* realizował więc tę swoistą strategię, w którą wpisuje się również sposób ujmowania spraw polskich.

Warto przypomnieć, że Sołżenicyn starał się przekazać w swojej relacji prawdę historyczną, na którą składają się indywidualne i nietypowe przemyślenia poszczególnych osób, a także sądy ogólne, powszechne przekonania, popularne odczucia obywateli ówczesnej Rosji. Według takiego więc ogólnego przekonania Polacy są „swoi” i takimi powinni pozostać. Jest to relacja akceptująca i pełna sympatii, ale tylko do momentu, w którym zaczynają demonstrować swą odrębność narodową. Podobne apodyktyczne traktowanie Polaków jest związane z przekonaniem o kompletności i nienaruszalności terytorialnej Rosji. Swojskość nie oznacza więc akceptacji inności. Z chwilą, gdy naród manifestuje swą odmienność, staje się obcy, a nawet wrogi. Przyjaźń i sympatia przedstawiona przez Sołżenicyna nie dopuszcza więc zgody na odrębność czy indywidualność. Ten stosunek do Polaków pisarz ilustruje poprzez obrazy kilku postaci, z których dwie zasługują na wspomnienie z powodu ich roli w warstwie zdarzeniowej.

Pierwsza z nich – inżynier Obodowski to Polak, który poświęcił swoje życie, wiedzę i umiejętności Rosji. Jego oddanie nowej ojczyźnie jest bardzo silnie waloryzowane przez narratora. Bohater ów pojawia się w kilku częściach *Czerwonego Koła*, najwyraźniej zaś w *Marcu Siedemnastego*. Narrator wielokrotnie podkreśla jego działalność polityczną i naukową, zaangażowanie w budowę nowego ładu. Obodowski jest niemal wzorem nowego inteligenta, który

¹⁵ M. Foucault, *Człowiek i jego sobowtóry*, przeł. T. Komendant, „Literatura na Świecie” 1988, nr 6, s. 215.

¹⁶ M. Dąbrowski, *Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej*, Świat Literacki, Izabelin 2001, s. 22.

podporządkowuje wszystkie swoje siły i dążenia idei lepszego państwa. Wprowadzony do fabuły w pierwszym węźle *Czerwonego Koła* od razu przedstawiony jest jako postać wyjątkowa:

Еще вчера был эмигрант, позавчера – государственный преступник и преследуемый революционер, [...] – и третий месяц совершает по инженерным узлам России негласный триумфальный объезд, с особым теплом встречаемый и за яркий талант, и по своему революционному прошлому. (7, 436)

Historię Obodowskiego Solżenicyn ukazuje w kategoriach heroicznego wysiłku uwieńczonego sukcesem. Jednak dopiero w *Październiku Szesnastego* narrator wspomina, że dawny rewolucjonista jest Polakiem:

Происхождения Ободовский был польского, но к Польше не причислял себя, жил всецело одной Россией. (9, 329)

Kreacja postaci inżyniera podkreśla jego swojskość. Obodowski może być ukazany jako swój, gdyż odżegnuje się od własnego pochodzenia i inności w imię wspólnej sprawy – rewolucji. Solżenicyn z nieukrywaną sympatią w licznych ustępach *Marca Siedemnastego* szczegółowo ukazuje dokonania Obodowskiego po przewrocie lutowym i podkreśla jego prorosyjską postawę. Warto także zatrzymać się nad chwytem artystycznym, który pisarz zastosował przy konstruowaniu tej postaci. Natalia Solżenicyna w *Krótkich objaśnieniach do Sierpnia Czternastego* pisze, że pierwowzorem dla figury inżyniera był zasłużony uczestnik rewolucji lutowej Palczyński¹⁷. Sam zaś autor *Czerwonego Koła*, wyjaśniając metodę twórczą opowieści w ustalonych odcinkach czasowych, twierdzi, że w budowaniu większości wątków opierał się na autentycznym materiale historycznym i starał się, aby postaci historyczne funkcjonowały w fabule pod własnymi nazwiskami. W przypadku zaś jakichkolwiek modyfikacji ich losów, pisarz zmienia nazwisko lub imiona¹⁸. Postać zruszczonego Polaka jest więc efektem modyfikacji prawdziwego życiorysu. Taki chwyt pozwolił Solżenicynowi dowartościować zmianę identyfikacji narodowej i przyjęcie nowej wspólnej tożsamości przez przedstawicieli narodów zależnych od Rosji.

Inną zaś postacią, o której tu wspomnę, jest hrabia Adam Zamojski. Figura ta nie pełni ważnej roli w kompozycji dzieła, nie pojawia się także często w fabule, ale stanowi doskonały przykład stereotypowego ujęcia Polaka, do którego

¹⁷ Н. Солженицына, *Краткие пояснения*, [w:] А. Солженицын, op. cit., t. 8, s. 483.

¹⁸ А.Н. Латынина, op. cit., s. 241–258.

odwołuje się Solżenicyn. Zamojski, młody wojskowy, jest przedstawicielem arystokracji pełnym romantycznej wiary w odrodzenie Polski. Nietrudno w tej postaci odnaleźć podobieństwa do typu heroicznego bojownika o wolność ojczyzny. Niedoświadczony Zamojski jest najwyraźniej ukształtowany pod wpływem wzorców literatury romantycznej, gdyż poznajemy go w chwili, gdy odgrywa patetyczną scenę przed cesarzową Aliks:

Ваше Императорское Величество! Оказавшись случайно в Петрограде и будучи свидетелем событий, я почёл за долг не возвращаться в Ставку, но явиться к вам и предложить вам свою шпагу. И стоял, гордо-почтительно. (11, 415)

Solżenicyn wyraźnie ironizuje na temat dramatyzmu owej sceny i dodaje jej nieco lekceważącego odcienia, w dość tradycyjnej formule ofiarowania pomocy wspominając nie o polskiej szabli, ale o brzmiącej dość teatralnie i romansowo szpadzie. Zresztą ta podmiana ma także pewne modyfikujące znaczenie dla charakterystyki samej cesarzowej. Zauważa ona bowiem, że na wyposażeniu wojskowym adiutanta nie ma szpady, lecz prosta żołnierska szabla, jednak mimo to słowa Zamojskiego rozczulają ją do łez. Czułostkowość, sentymentalność i idealizm romansowej proveniencji są więc cechami wspólnymi Zamojskiego i Aliks – przedstawicieli obcych narodowości w Rosji. Narrator podsyca jeszcze to wrażenie dodając pompatyczny komentarz: „Ах, польский гонор! – ты несправним!” (11, 415). W ten sposób całe zdarzenie zyskuje znamiona groteski. Pisarz zresztą zadbał o to, aby zdemaskować sztuczność zachowania Zamojskiego i skonfrontować ją z wyidealizowanym rosyjskim rozsądkiem, kiedy jeden ze znajomych adiutanta, reprezentant niewielkiej, ale z wielką atencją przez Solżenicyna ukazanej grupy świadomych rosyjskich oficerów, reaguje śmiechem na wieść o całym zajściu. Wątek Zamojskiego ma także znamienne zakończenie, otóż przesiąknięty ideami patriotycznymi wojskowy po jakimś czasie znów zjawia się u Aleksandry, aby w podobnym tonie oświadczyć, iż po abdykacji cara czuje się zwolniony z danego wcześniej słowa: „И кроме того, теперь он, как поляк, должен отдать себя служению Польше” (13, 238). Narracja Solżenicyna podkreśla niezrozumiałość i obcość podobnego zachowania. Postawa honorowego Polaka, oddanego sercem idei narodowej jest więc w sumie oceniona negatywnie – jako niekonsekwentna i nienaturalna.

Pewne wyjaśnienie takiego, a nie innego obrazu Polaków w cyklu *Czerwone Koło* można znaleźć w wypowiedziach publicystycznych Solżenicyna, poczynwszy od artykułu *Skrucha i ograniczenie jako kategorie życia narodowego* (1973) po pracę *„Kwestia rosyjska” pod koniec XX wieku* (1994). Polscy badacze, tacy

jak Jan Orłowski, Jerzy Litwinow czy Robert Andrzejewski¹⁹, zgodnie odnotowują w owych tekstach nieścisłości historyczne i niekonsekwencje charakterystyczne dla rusocentrycznego punktu widzenia. Warto przypomnieć, że w szkicu *Kwestia rosyjska pod koniec XX wieku* pisarz analizuje wielowiekowy wysiłek narodu rosyjskiego, kosztem którego imperium scalało pod swoim panowaniem ogromne terytoria. W świetle tej pracy zagarnięcie tak dużej części Polski podczas rozbiorów było błędem, lecz Polacy znajdowali się w o wiele lepszej sytuacji niż rdzenni obywatele Rosji: „Россия дважды заплатила за мечтательно-вздорную затею Александра I держать под своим «попечительством» – Польшу. Насколько надо было не чувствовать времени, века, чтобы столь развитый, культурный и интенсивный народ, как польский, держать при Империи в подчинённой роли! (Оба эти польские восстания вызвали большое сочувствие в Западной Европе и отдались России новой враждебностью и изоляцией.)”²⁰.

Polskie dążenia niepodległościowe owocowały zaś nie tylko osłabieniem samej Rosji, lecz także wrogością, z jaką spotykała się ona ze strony opinii publicznej Zachodu. Między innymi ze względu na Polaków Rosja była więc postrzegana jako obca i wroga przez wielu polityków zachodnich. Lucjan Suchanek interpretuje tekst Sołżenicyna konstruktywnie – jako rozliczenie z mocarstwową przeszłością i „wołanie o równe prawa narodu rosyjskiego”²¹. Ludmiła Saraskina odnotowuje zaś, że takie uświadomienie sobie własnych historycznych błędów było potrzebne Rosjanom na progu XXI wieku, przeżywającym boleśnie upadek ZSRR, odczuwającym rozkład państwa jako narodowe upokorzenie²². Trudno jednak zaprzeczyć, że próba dowartościowania rosyjskiego ducha narodowego odbywa się u Sołżenicyna za cenę deprecjonowania innych punktów widzenia.

Wy tłumaczenie marginalizującego stosunku do Polaków w *Czerwonym Kole* znajduje się także w samej warstwie narracyjnej i zdarzeniowej cyklu. Prawozorem postawy implikowanej w narracji dzieła jest niezwykle korzystnie przedsta-

¹⁹ Zob. J. Orłowski, *Historia Polski w ocenie Aleksandra Sołżenicyna*, [w:] *Aleksander Sołżenicyn i Polska*, red. J. Litwinow, Wyd. UAM, Poznań 1997, s. 9–21; R. Andrzejewski, *Polska i Polacy w oczach rosyjskiego demokracji*, ibidem, s. 39–51; J. Litwinow, *Aleksander Sołżenicyn w kręgu spraw polskich*, ibidem, s. 70–80.

²⁰ A. Солженицын, „Русский вопрос” к концу XX века, „Новый мир” 1994, nr 7, s. 151.

²¹ L. Suchanek, *Aleksander Sołżenicyn. Dramat w czterech odsłonach. Na okoliczność śmierci pisarza*, „Slavia Orientalis” 2008, nr 4, s. 459.

²² L. Saraskina, *Rosjanie w zwierciadle własnym*, przeł. A. Kępiński, [w:] *Narody i stereotypy...*, s. 150–151.

wiany przez Solżenicyna Piotr Stołypin²³. Pisarz z wyraźnym upodobaniem przywołuje najbardziej spektakularne sukcesy polityki wewnętrznej premiera, szczegółowo odtwarza wybrane fragmenty jego wystąpień parlamentarnych i podkreśla jego szlachetne zachowanie. Jako jednoznacznie korzystne przedstawia więc zaproponowane przez Stołypina zmiany zmierzające do ograniczenia w parlamencie liczby posłów reprezentujących inne narodowości, cytując patetyczną wypowiedź premiera:

Государственная Дума должна быть русскою по духу. Иные народности, входящие в состав Державы Нашей, должны иметь в Думе представителей нужд своих, но не должны и не будут являться в числе, дающем им возможность быть вершителями вопросов чисто-русских. (8,180)

Niewątpliwie obiektem największej troski Stołypina była Rosja, jej dobrobyt i spokój. Solżenicyn, odmalowując wyidealizowany portret premiera, daje wyraz swojego poparcia dla idei i przedsięwzięć tego polityka. Stosunek do Polaków wyrażony w badanym cyklu ma więc realizować Stołypinowskie zasady polityczne i troskę o naród rosyjski. W tych okolicznościach można stwierdzić, że świat przedstawiony w *Czerwonym Kole* jest spolaryzowany i nietrudno, mimo zilustrowania ogromnej różnorodności poglądów i idei, określić w nim, kto jest wrogiem, a kto przyjacielem. Jednak określenia „swoi” i „obcy” nie są przypisywane bohaterom na stałe, nie są także uwarunkowane przez jakieś cechy permanentne, takie jak na przykład przynależność narodowa. Polacy, pod wieloma względami bliscy Rosjanom, są jednocześnie uznawani za swoich i obcych. Według specyficznej dialektyki ta sama osoba może być wrogiem i przyjacielem w zależności od aktualnej sytuacji. Swoista ironia losu sprawia, że Solżenicyn, znany ze swojego radykalizmu, w *Czerwonym Kole* przychylił się do takiego ambiwalentnego pojmowania swojskości i obcości. Podstawą zaś wszelkiego wartościowania jest dla niego zawsze Rosja. Jej dobro i jedność stanowią najważniejsze kryterium oceny bohaterów, zarówno rodowitych Rosjan, jak i cudzoziemców.

²³ Więcej na temat tej postaci w cyklu *Czerwone Koło* zob. M. Sidor, *Obrazy literackie Piotra Stołypina i Mikołaja II w Aleksandra Solżenicyna narracji o historii*. „Sierpień Czternastego”, [w:] *Wschód – Zachód. Dialog języków i kultur*, red. J. Kazimierczyk, P. Gancarz, Wyd. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2012, s. 124–130.

Резюме

Чужие и свои. Поляки в цикле „Красное Колесо” Александра Солженицына

Романный цикл *Красное Колесо* – одно из важнейших и менее известных произведений Александра Солженицына – представляет собой очень богатый материал для исследований вопросов национальной идентичности, а также взаимоотношений поляков и русских. Анализ, содержащихся в нем образов поляков в контексте оппозиции „чужой” – „свой” является тем более интересен, что касается особенно значимого для Польши исторического времени. Солженицын подробно показывает период исхода многонародной империи, который ведь считается самым важным моменом в истории польского стремления к государственной независимости.

Summary

Strangers and own people. Poles in the „The Red Wheel” cycle by Alexandr Solzhenitsyn

The cycle of novels *The Red Wheel*, one of the most significant and yet least-known works of Alexandr Solzhenitsyn, offers a profound insight into the issue of national identity and relationships between Poles and Russians. The analysis of how Solzhenitsyn depicted Poles in the cycle, in terms of their being strangers or own people, is all the more interesting for the fact that it relates to a specific point in history. Indeed, in *The Red Wheel* novels, Solzhenitsyn provides a detailed description of the period of decline of the multinational Russian Empire, which, by extension, was a pivotal time in the history of the Polish quest for independence.

Key words: national identity, Russian Empire, strangers, Poles, Russians.

Anna Strykowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wschód porwany? Obraz westernizującej się Polski w eseistyce Wiktora Jerofiejewa i Andrzeja Stasiuka

Pochodzących ze wschodnioeuropejskiego kręgu kulturowego Wiktora Jerofiejewa i Andrzeja Stasiuka łączy korzystanie z formy eseju oraz gatunków publicystycznych, dekonstrukcja ograniczeń rodzimej kultury w duchu gorzkiego patriotyzmu, odwoływanie się do motywu podróży jako perspektywy oglądu lokalnej rzeczywistości czy wreszcie konstruowanie narracji o tożsamości wschodnioeuropejskiej w dobie ponowoczesności. Jednym z czynników spajających światy artystyczne autorów jest w szczególności wizja Europy Środkowo-Wschodniej jako przestrzeni tracącej swoją oryginalność pod wpływem ekspansji liberalnej demokracji i zachodniej kultury masowej. Tworzony w ten sposób obraz regionu będzie przedmiotem rozważań w przedkładanej analizie. Za materiał badawczy posłużą szkice Jerofiejewa zebrane w tomach *Rosyjska apokalipsa*, *Świat diabła* i *Mężczyźni* oraz eseje podróżne Stasiuka pt. *Fado* i *Dziennik pisany później*¹.

Tytuł niniejszego artykułu nawiązuje do głośnego eseju Milana Kundery *Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej*, opublikowanego po raz pierwszy w 1983 r. Czeski prozaik utrzymuje w nim, iż region Europy Środkowej jest pod względem kulturowym immanentną częścią cywilizacji zachodniej, natomiast na Wschodzie znalazł się za sprawą arbitralnych rozstrzygnięć politycznych. Kundera utożsamia Zachód ze spuścizną łacińską, do której zawęza również kategorię Europy jako formacji historyczno-kulturowej. Z tak konceptualizowanej Europy zostaje wykluczona Rosja, stanowiąca zdaniem autora *Żartu* odrębną przestrzeń cywilizacyjną, rzekomo kompletnie obcą środkowoeuropejskiej kulturze. Obok zawłaszczenia regionu przez Związek Radziecki prawdziwą tragedią jest dla Kundery bierna postawa Europy Zachodniej, świadcząca

¹ W. Jerofiejew, *Rosyjska apokalipsa. Próba eschatologii artystycznej*, przeł. A. de Lazari, Warszawa 2008; idem, *Świat diabła. Geografia sensu życia*, przeł. M.B. Jagiełło, Warszawa 2009; idem, *Mężczyźni*, przeł. M. Buchalik, Warszawa 2006; A. Stasiuk, *Fado*, Wołowiec 2006; idem, *Dziennik pisany później*, Wołowiec 2010. Bezpośrednie odwołania do wskazanej literatury podmiotu będą dalej zaznaczone w nawiasie przez wskazanie akronimu tytułu i numeru strony.

o kulturowym regresie tego regionu. Europa Środkowa okazuje się wobec tego jedyną obrończynią ogólnoeuropejskich wartości, czego dowodzić mają liczne protesty przeciwko władzy komunistycznej².

Wiktor Jerofiejew i Andrzej Stasiuk konstruują tymczasem przeciwstawny obraz Europy Środkowo-Wschodniej – integralnej części cywilizacji europejskiej, zarazem wszakże przestrzeni wyraźnie odmiennej od zachodniej części kontynentu. Warto przy tym nadmienić, iż obaj pozostają sceptyczni wobec terminu „Europa Środkowa”. Jerofiejew podkreśla w głównej mierze polityczny i antyrosyjski charakter tej kategorii opisu przestrzeni. Dystansuje się od niej również Stasiuk, po wydaniu wraz z Jurijem Andruchowyczem *Mojej Europy* uznawany często za propagatora koncepcji środkowoeuropejskości. Analiza kolejnych esejów podróżnych autora pozwala jednak sądzić, że bardziej adekwatnym pojęciem jest w jego przypadku Europa Wschodnia. Świadczy o tym konstruowanie narracji o kulturze europejskiej wokół binarnych opozycji Wschód-Zachód, a także rozwój drogi twórczej laureata Nike, który decyduje się włączyć Rosję do dyskusji o tożsamości regionu.

W badanej twórczości Europa Wschodnia, obejmująca kraje byłego bloku socjalistycznego wraz z Rosją, stanowi w punkcie wyjścia unikatowy obszar kulturowy, poddawany przez autorów z równym zaangażowaniem zarówno rekonstrukcji, jak i dekonstrukcji. Wśród pozytywnych cech kojarzonych z regionem wymieniają oni chociażby spontaniczność, dążenie do wolności, wyrazistość czy gotowość na wszystko, natomiast jako lokalne ograniczenia wskazują między innymi uwikłanie w historię, bałagan, kruchość bytu, kompleksy oraz paradoksalnie towarzyszącą tym kompleksom manię wielkości. Powyższych właściwości pozbawiona jest tymczasem przestrzeń Europy Zachodniej, która uwolniła się od przeszłości i osiągnęła dobrobyt za cenę utraty charyzmy.

Eseistykę Wiktora Jerofiejewa i Andrzeja Stasiuka wolno w świetle powyższego uznać za próbę konserwacji dychotomicznego podziału kontynentu wzdłuż granicy zimnowojennej. Z tej przyczyny adekwatnym kontekstem do analizy ich twórczości wydaje się eseistyka innej słowiańskiej autorki – Dubravki Ugrešić. W zbiorze *Kultura kłamstwa* wspomina ona o zanikającej powoli kulturze wschodnioeuropejskiej jako wspólnocie doświadczeń wpływającej z systemu politycznego, który odcisnął pieczęć na kulturze, „niezależnie, czy rozwijała się ona zgodnie z żądaniami ideologii, czy wbrew nim”³. Oczywiście

² M. Kundera, *Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej*, „Zeszyty Literackie” 1984, nr 5.

³ D. Ugrešić, *Kultura kłamstwa (eseje antypolityczne)*, przeł. D. J. Ćirić, Wołowiec 2006, s. 247.

zastrzeżenia wymaga fakt, iż pojęcie Europy Wschodniej nie pełni w dyskursie roli neutralnego toponimu, lecz uległo niebywałemu upolitycznieniu zgodnie z właściwą gatunkowi ludzkiemu logiką konstruowania map mentalnych oraz stygmatyzacji przestrzeni. Namacalnych źródeł polaryzacji Europy należy upatrywać w gospodarczym podziale Starego Kontynentu, ukonstytuowanym w późnym średniowieczu wzdłuż rzeki Łaby, umocnionym w okresie zimnej wojny i – zdaniem Immanuela Wallersteina – po dziś dzień nieprzezwyciężonym, o czym świadczą ciągle niezatarte różnice w poziomie życia obywateli⁴. Rzeczywista odmienność obu części kontynentu jest jednak pogłębiania przez szereg praktyk dyskursywnych, najczęściej utożsamiających kategorię Europy Wschodniej z krajami gorzej rozwiniętymi, peryferyjnymi wobec lepiej sytuowanego Zachodu. Na ciężar semantyczny pojęcia składa się orientalizacja dokonywana przez dyskurs zachodni, przypisujący mieszkańcom regionu szereg specyficznych, zwykle negatywnych cech i kwestionujący na tej podstawie ich europejskość, najczęściej w celu podkreślenia własnej wyższości. Omawiani autorzy mają pełną świadomość własnego uwikłania w powyższe regresywne praktyki, dlatego też z użyciem strategii autoironii starają się podkreślać konwencjonalność narzuconych narracji przestrzennych. Mimo wszystko twórczość Jerofiejewa i Stasiuka wypada uznać za intencjonalną rekonstrukcję dualnego podziału Europy. W dalszej części rozważań zostanie podjęta próba wskazania odpowiedzi na pytanie o motywy leżące u podstaw wyboru takiego kierunku drogi twórczej.

Tożsamość wschodnioeuropejska jest przez Jerofiejewa i Stasiuka konstruowana w wyraźnej opozycji wobec Europy Zachodniej. Zachód kontynentu okazuje się zdehumanizowaną przestrzenią wymuszonej koegzystencji, pogrążoną w impasie wobec hipertrofii poprawności politycznej. Takie spostrzeżenia w przypadku Wiktora Jerofiejewa mogą budzić zdziwienie polskiego odbiorcy, często postrzegającego rosyjskiego pisarza jako okcydentalistę i kontestatora przede wszystkim rodzimej rzeczywistości. Należy zatem zdecydowanie podkreślić, iż uprawiana przez Jerofiejewa dekonstrukcja regresywnych struktur nie ogranicza się wyłącznie do kultury rosyjskiej i dotyka również świata zachodniego. Autor *Życia z idiotą* przypatruje się kierunkowi rozwoju kultury zachodniej z coraz większym sceptycyzmem. Dla przykładu esej *Niezwykły faszyzm* (RA, 208–213) stanowi wyraz ironicznej krytyki przesadnej poprawności politycznej, ekologizmu i nachalnej promocji zdrowego stylu życia, które w swej

⁴ M. Starnawski, P. Wielgosz, *Kapitalizm nad przepaścią, społeczeństwa wobec wyboru*, [w:] I. Wallerstein, *Analiza systemów-swiatów. Wprowadzenie*, przeł. K. Gawlicz, M. Starnawski, Warszawa 2007, s. XXX.

radikalnej formie okazują się nieludzkie, zaprzeczając utożsamianej z Zachodem idei humanizmu i prowadząc do mentalnego regresu. Nieludzkość Zachodu przejawia się również w dążeniach do wyeliminowania instynktów głęboko zakorzenionych w naturze człowieka, nie wyłączając agresji i popędu seksualnego. Krytyczne oko Jerofiejewa dotyka w szczególności kondycji współczesnych mężczyzn, którzy, rzekomo z obawy przed oskarżeniami o seksizm, popadają w marazm i wyzbywają się cech postrzeganych za typowo męskie. Wyczerpani uległy prócz tego osiągnięcia rewolucji seksualnej, po której seks „wrócił do swego koryta” i nawet w tak intymnej czynności człowieka będzie wkrótce mogła zastąpić maszyna (*ŚD*, 114–115). Europa Zachodnia stała się ponadto obszarem pozbawionym wyraźnych punktów odniesienia – w wymiarze politycznym obserwuje się zanik tradycyjnego podziału na lewicę i prawicę, natomiast w sferze religijnej niepożądane staje się deklarowanie zarówno gorliwej wiary, jak i ateizmu. Klasyczne europejskie wartości, takie jak wolność, humanizm czy autorefleksja, albo uległy zdaniem Jerofiejewa dewaluacji i zostały zastąpione przez konsumpcjonizm, pogoń za modą i prestiżem, albo ewoluują w niebezpiecznym kierunku i grozi im niepożądana przez autora hipertrofia:

Demokracja przekształciła się w poprawność polityczną. Liberalizm przekształcił się w tolerancję. Wyeliminowano hierarchiczność kultury jako formę braku szacunku dla elektoratu. Kultura przyjęła pozycję poziomą. Władza zachowała układ piramidy, ale o tym nie wypada mówić. (*ŚD*, 113)

W tym miejscu rozważania Jerofiejewa stają się bliskie krytyce zachodniej liberalnej demokracji konsekwentnie prowadzonej przez Andrzeja Stasiuka. Również zdaniem polskiego eseisty przesadne doskonalenie wypracowanych wartości może prowadzić do skutków odwrotnych od zamierzonych. Zachód Europy to w świecie artystycznym Stasiuka przestrzeń znudzona własną doskonałością. Przyjęte zasady tolerancji i pokojowej koegzystencji wymuszają tłumienie wszelkich emocji, a uzyskaną w ten sposób nadwyżkę energii kieruje się ku hedonistycznej satysfakcji z osiągniętego dobrobytu. Uzyskanie pożądanego poziomu cywilizacyjnego działa zdaniem Stasiuka demotywująco wobec braku dalszych perspektyw rozwoju.

Unaocznąą sytuacją zdecydowanie bardziej zatroskany wydaje się Wiktor Jerofiejew, który podkreśla możliwe konsekwencje polityczne niemocy Zachodu. Pograżenie w świecie konsumpcji i nader szeroka tolerancja skutkuje bowiem przyzwoleniem na odradzający się w całej Europie dyskurs nacjonalistyczny bądź pozornie tylko mu przeciwstawny fundamentalizm islamski, które dla wielu stanowią antidotum na ponowoczesny dyskomfort pustki. Rozważania

rosyjskiego eseisty są zatem bliskie spostrzeżeniom Terry’ego Eagletona, przekonanego, iż wbrew postulatam filozofii postmodernistycznej niektóre metaopowieści, jak na przykład idee wolności jednostki czy sprawiedliwości, powinny zawsze pozostawać w mocy⁵. Jerofiejew podziela przeświadczenie brytyjskiego neomarksisty o granicach tolerancji, która nie może stać się usprawiedliwieniem bierności i przyzwolenia na przemoc. Akceptacja praktyk antyhumanitarnych pod pozorem krzewienia wielokulturowości jest dla Jerofiejewa działaniem bez wątpienia autodestrukcyjnym, w dłuższej perspektywie prowadzącym do anihilacji projektu europejskiego rozumianego jako koncept kulturowo-aksjologiczny. Również w opinii Andrzeja Stasiuka brak adekwatnej autorefleksji grozi schyłkiem starej Europy. Tymczasowym środkiem zaradczym jest jednak nadzieja na eksport zachodniej liberalnej demokracji i dostatku ku najdalszym peryferiom kontynentu, przyświecająca kolejnym rozszerzeniom Unii Europejskiej.

Wobec tak konstruowanego wizerunku Europy Zachodniej warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób w analizowanej twórczości kształtuje się obraz Polski, która aspiruje wszakże do bycia integralną częścią świata zachodniego. W świecie artystycznym szkiców Wiktora Jerofiejewa Polska, niegdyś przypominająca wyzwoloną, pełną temperamentu młodą dziewczynę, obecnie jest pochłaniana przez zarysowaną wyżej nijaką przestrzeń, przy czym nigdy nie stanie się jej pełnoprawną częścią. Sama zresztą wydaje się w danych okolicznościach zadowalać rolę peryferyjnego konsumenta zdobyczy późnego kapitalizmu, jaką przeznaczył dla niej Zachód:

Kiedy przyjeżdżasz do nowej Europy w rodzaju Polski, widzisz, jak smutna jest ta Europa. Warszawa stała się przedmieściem Wiednia. Kijów ma nadzieję stać się przedmieściem Warszawy. (ŚD, 113)

Obaj pisarze burzą europejskie mity zjednoczeniowe. Na kartach eseju *Fado* Andrzej Stasiuk sugeruje, że jedność Europy może ograniczać się do wolnego przepływu towarów, usług i kapitału, nie obejmując transgranicznej wymiany wartości duchowych. Podobnie jak u Jerofiejewa, wschodni Europejczycy w twórczości Stasiuka są społeczeństwem uwikłanym w różnorodne dylematy tożsamościowe. Mimo postępującej integracji kontynentu ciągle nie są oni gotowi do uznania europejskości za konstytutywną cechę indywidualnej i zbiorowej świadomości. Europejskość Wschodu nie jest w pełni honorowana również przez Zachód, który z nie mniejszą konsekwencją kultywuje dychotomiczny podział kontynentu:

⁵ T. Eagleton, *Iluzje postmodernizmu*, przeł. P. Rymarczyk, Warszawa 1998, s. 155–157.

[...] trudno nam Europę jako całość uznać za swoją własność, za swoją ojczyznę, za swoje dziedzictwo. Jesteśmy w niej obcy, przychodzimy z zewnątrz, z krain, o których sama Europa ma mgliste pojęcie, traktując je raczej jako zagrożenie niż część siebie samej. (F, 81)

Z właściwą sobie ironią Stasiuk i Jerofiejew obnażają powierzchowność popularnej narracji o dialogu kultur. W istocie krajom wschodnioeuropejskim ma ich zdaniem wystarczać import zachodniego dobrobytu w postaci pomocy finansowej i dóbr konsumpcyjnych. Perspektywa wyzbycia się tradycyjnej konserwatywnej mentalności na rzecz wartości liberalnych skutkuje moralną histerią i duchowym rozdarciem. Import zachodniej duchowości, artefaktów kultury wysokiej czy myśli naukowej wydaje się sprawą drugorzędną. Zdaniem Stasiuka nie jest on również celem Zachodu, który nie wykazuje zainteresowania ani eksportem własnego dorobku myślowego, ani tym bardziej partycypacją w dziedzictwie kulturowym Europy Wschodniej. Wyłaniająca się w procesie europejskiej wymiany asymetria dotyczy wobec tego zarówno kierunku transferu osiągnięć kultury, jak i rodzaju przekazywanych dóbr. Co więcej, lektura wspomnianej eseistyki pozwala sądzić, iż przejmowanie zachodnich wzorców konsumpcji odbywa się w sposób bezrefleksyjny i powierzchowny, będąc raczej reprodukcją wyobrażeń o nowoczesności niż rzeczywistą modernizacją. Wprost mówi o tym Stasiuk, Jerofiejew natomiast w opisie problemu odwołuje się do obrazowej metafory w szkicu *Jaskraworóżowe majtki Europy Środkowej*, konstatując, iż pstra bielizna, przez Czeszki uważana za krzyk mody, na Zachodzie tak naprawdę nie cieszy się popularnością (M, 84–85). Zdjęcie wierzchniej części ubrania odsłania zatem rzeczywisty prowincjonalizm Europy Środkowej, również przez Stasiuka uznawany za immanentną właściwość regionu, przez nieporadne kopiowanie Zachodu jedynie uwypuklaną.

Jak zaznaczono, obaj autorzy nie stronią od bardziej lub mniej bezpośrednich refleksji politycznych. Andrzej Stasiuk w jaskrawy sposób czyni to w *Dzienniku pisanym później*, z gorzką ironią nawiązując do wojen w byłej Jugosławii i sytuacji w Polsce po katastrofie smoleńskiej. W świetle faktu, iż kult zdobyczy kapitalizmu tłumi w środkowych Europejczykach instynkty postrzegane jako typowo słowiańskie, w ich poszukiwaniu podróżnik musi udać się na Bałkany – do krajów o „wyrazistej osobowości”, które w obliczu lokalnych animozji były gotowe na otwartą konfrontację. Tymczasem w Polsce doby po-smoleńskiej, choć zauważalny jest wzrost wewnętrznego napięcia, ciągle pozostaje ono w sferze werbalnej. Konflikt jugosłowiański, podobnie jak w publicystyce

Slavoja Žižka⁶, funkcjonuje u Stasiuka w roli burzyciela fukuyamowskiego mitu o końcu historii i uniwersalizmie pokojowego współistnienia w demokracji liberalnej jako najlepszym z możliwych systemów. Jednocześnie region Bałkanów jest swego rodzaju budulcem zachodnioeuropejskiej tożsamości, na zasadzie *alter ego* utwierdzającym starą Europę we własnej doskonałości i umożliwiającym projekcję tłumionych instynktów na peryferia kontynentu. Kraje postjugosłowiańskie można zatem uznać za *pars pro toto* Europy Wschodniej, wobec ekspansji zachodniego konsumpcjonizmu i bylejakości urastające do rangi depozytariusza wschodnioeuropejskiej autentyczności. Polsce, która nie ma odwagi na rozlew krwi, pozostają już tylko wakacje *last minute* i korzystanie z bogatej podaży:

Dlatego jeżdżę do Srebrenicy, żeby o tym wszystkim myśleć. O mojej ojczyźnie, która płacze za masakrą, ale już nie ma odwagi jak Bałkany i musi oplakiwać stare trupy. Wykopuje z grobów i wleczce przed oczy. [...] Po tygodniu zostaje tylko skrobanie stearyny z trotuarów. I znowu Tunezja i chipsy. Postmodernizm i nekrofagia. (DPP, 138)

Logika pankonsumpcjonizmu wdziera się jednak i w przestrzeń Bałkanów, które wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej będą stopniowo włączane w ekskluzywny krąg liberalnej demokracji. Losy westernizującej się Polski mogą być w tym kontekście dla krewniaków z Południa prognozą.

Podczas gdy Stasiuk w *Dzienniku pisanym później* opisuje polską niemoc agresji, Jerofiejew koncentruje się na problemie niemocy reakcji na budzącą się agresję, sytuując tę niemoc przede wszystkim po zachodniej stronie Odry. W eseju *Trzy Polski* porównuje on ojczyznę Stasiuka nie tylko do paskudnie starzejącej się kobiety, owładniętej strachem i niepewnej swojej atrakcyjności. Drugie jej wcielenie to nieufny, ksenofobiczny chłop, który nie jest już postrzegany wyłącznie jako zabawna egzotyka, lecz z powodzeniem odnajduje się w pierwszej linii walki politycznej. Wyraźnie nawiązując do realiów polskiej sceny partyjnej, autor *Rosyjskiej piękności* wspomina o „ludziach o lisim uśmiechu i ze starymi wrzodami w rodzaju nacjonalizmu i antysemityzmu”, którzy „z zapalem prowincjonalnego mesjanizmu zaczęli decydować o losach Polaków” (ŚD, 128). Opisywana w powyższy sposób Polska nie może rzecz jasna być obrończynią klasycznych europejskich wartości, lecz raczej miejscem ich brutalnego zaprzeczenia. Odradzającym się nastrojom nacjonalistycznym nie

⁶ S. Žižek, *Raduj się swoim narodem jak sobą samym!*, przeł. A. Chmielewski, „Nowa Krytyka” 1999, nr 10, [online] <<http://nowakrytyka.pl/spip.php?article78>> (dostęp: 28.06.2013).

towarzyszy odpowiednia reakcja zblazowanej Europy, która „bardziej niż polskiego nacjonalizmu boi się polskiego hydraulika” (*ŚD*, 128). Energii do protestu w unaocznionej sytuacji brakuje również polskiej inteligencji, której etos został unicestwiony przez banalną kulturę konsumpcji – w ocenie Jerofiejewa jej pielęgnowanie staje się ostatnio postulatem ważniejszym niż cele natury moralnej.

W tak kontekstualnie sytuowanej europejskiej przestrzeni wyraźnym outsiderem pozostaje Rosja. Dzięki zachowaniu wyrazistej tożsamości staje się ona adekwatnym punktem obserwacji westernizujących się państw nowej Europy. W przestrzeni twórczej Wiktora Jerofiejewa zderzenie z zachodnim brakiem fantazji pozwala podmiotowi literackiemu docenić specyfikę tak często piętnowanej przez niego rodzimej kultury. Kraje Europy Środkowej i Zachodniej energetycznie znacznie ustępują tętniącej życiem Moskwie, która nie ma powodów do odczuwania kompleksów typowych dla miast peryferyjnych. Jerofiejew przyznaje, że odczuwa z tego powodu pewną satysfakcję opuszczonego kochanka – permanentne deprecjonowanie Rosji przez odczuwających cywilizacyjną wyższość Polaków w nowym układzie kulturowo-politycznym traci rację bytu. Przestrzeń rosyjska zaczyna być właściwą perspektywą oglądu polskiej rzeczywistości również dla Andrzej Stasiuka, który wobec okcydentalizacji ubóstwiających Bałkanów poszukuje nowych kierunków penetracji twórczej:

Potem dalej i dalej, ale zawsze na południe. Ponieważ czułem, że na północy, na zachodzie nie dla mnie nie ma, a wschód ze swoją pograniczną bandyterką był wyzwaniem ponad siły. Teraz jednak wiem, że powinienem był stać w tych cuchnących kolejkach albo wciskać prikordonnym szemrańcom trzy dolce w łapę, żeby puszczała przed wszystkimi. Tak powinienem był robić. Ponieważ pojąć Polonię, znaczy tyle, co patrzeć na nią ze wschodu. Patrzeć ze wschodu jak się przebiera, jak się drapuje, jak błękitne majtki w złote gwiazdy przymierza, by się przypodobać. (*DPP*, 132)

Wcześniej wykluczana z europejskiej przestrzeni Rosja jest dziś przez autora *Murów Hebronu* włączana do mentalnej mapy Europy Wschodniej, a nawet urasta do rangi przedłużenia i intensyfikacji polskości.

Dotychczasowe rozważania skłaniają do konstatacji, iż przedstawione konceptualizacje europejskiej przestrzeni w dobie ponowoczesnej wykazują dużą zbieżność, jeśli chodzi o diagnozę sytuacji. Zasadnicza różnica między nimi dotyczy natomiast oceny procesu dekadencji Zachodu. Mimo iż obaj autorzy opisują spodziewany schyłek tego regionu z pewną dozą satysfakcji, Jerofiejew skłania się ostatecznie ku krytycznej ocenie zjawiska z pozycji moralnej, upatru-

jąc w nim nie tylko szansę, ale przede wszystkim zagrożenie dla przyszłości Rosji. Pograżanie się w marazmie hipertroficznej demokracji czyni bowiem zachodni model nieatrakcyjnym dla Rosjan, a przez to zwiększa prawdopodobieństwo niepożądanego *apokalipsy*, utożsamianej z autorytarną stagnacją. Twórczość eseistyczna autora *Dobrego Stalina* może być z tego względu czytana jako apel do odbiorcy europejskiego o dokonanie rewizji własnej drogi rozwoju, która powoli przestaje być w Rosji postrzegana jako alternatywa. Jerofiejew odnotowuje to z wyraźnym niepokojem, gdyż choć odżegnuje się od miana okcydentalisty, ciągle uważa ideową spuściznę Zachodu za godną głębszego zakorzenienia w rodzimej kulturze. Rosja nie może rzecz jasna zadowalać się statusem państwa peryferyjnego. Jerofiejew jest jednak przekonany, iż modernizacja nie musi wiązać się z zatraceniem lokalnej specyfiki:

Jesteśmy na tyle oryginalni w przejawach kulturalnej działalności, na tyle bogaci w wyobraźnię, że żadna globalizacja nie jest w stanie pozbawić nas osobowości. (RA, 324–325)

Analiza eseistyki Andrzeja Stasiuka pozwala sądzić, że również Polsce i – szerzej – Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu westernizacji uda się zachować autentyczność. Przesądza o tym właśnie charakterystyczny, powierzchowny i nieporadny sposób adaptacji dorobku zachodniego oraz niemal immanentna niemoc unifikacji z tym lepiej rozwiniętym regionem. W *Fado* niedbałe kopiowanie zdobyczy zachodniego dobrobytu okazuje się jedynie maską i pozorem, w groteskowy sposób przedłużającym mu życie, ale i obnażającym nieostateczność osiągniętego punktu rozwoju. W *Dzienniku pisanym później* narrator wypowiada się już w bardziej optymistycznym tonie, dążąc do pogodzenia z wyłaniającą się hybrydyczną kulturą współczesnej Polski. Stasiuk zdradza wyraźną fascynację pograniczną tożsamością, „leżeniem na boku” między Wschodem a Zachodem i spektakularnym przejściem od feudalizmu wprost w epokę postkonsumpcji (*DPP*, 134–136). Ponowoczesna przestrzeń Europy Wschodniej jawi się zatem jako heterotopia – w rozumieniu Michela Foucault miejsce spotkania różnych, często niekompatybilnych dyskursów⁷. Przyszłości regionu nie przekreśla także Jerofiejew, upatrując szansę przewyciężenia impasu w ponownej fascynacji kulturą rosyjską, a także w ciągle krytycznej postawie

⁷ D. Kołodziejczyk, *Trawerses przez glob: studia postkolonialne i teoria globalizacji*, „Er(r)go” 2004, nr 1, s. 21. Cyt. za: E. Rybicka, *Zwrot topograficzny w badaniach literackich. Od poetyki przestrzeni do poetyki miejsca*, [w:] *Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje*, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012, s. 333.

wschodnio-europejskiej inteligencji, która mimo wszystko ciągle potrafi „odróżnić humanizm od programów partii lewicowych” (RA, 210).

W świetle tak tworzonego kontekstu myślowego wypada przyjąć konkluzję, iż eseistyka Wiktora Jerofiejewa i Andrzeja Stasiuka, przychodząc z odsieczą porywanemu Wschodowi, jest platformą negocjowania wschodnioeuropejskiej tożsamości w warunkach paradoksalnie sprzyjających temu procesów globalizacyjnych. Choć zaproponowany przez autorów sposób konceptualizacji procesu integracji europejskiej nosi znamiona regresywnego dyskursu samoorientalizującego i przyczynia się do reprodukcji podziału kontynentu w świadomości interpretatora, można go uznać za próbę wypracowania własnej narracji w obliczu prób jednostronnej okcydentalizacji regionu. Co więcej, twórczość słowiańskich pisarzy można rozumieć jako świadomy apel do czytelnika zachodnioeuropejskiego o refleksję nad przyszłością kontynentu. Obaj pisarze korzystają ze statusu tzw. insiderów, przedstawiających wschodnie racje z perspektywy mieszkańca regionu⁸, ciesząc się przy tym popularnością zarówno wśród własnych narodów, jak i czytelników zachodnich. Owa szczególna pozycja wiąże się z dysponowaniem odpowiednim kapitałem symbolicznym, pozwalającym żywić nadzieję na podjęcie przez odbiorców wyzwania ograniczenia asymetrii we wzajemnej recepcji oraz uznania Europy Wschodniej, ze wszystkimi jej przywarami i zaletami, za immanentną część europejskiej przestrzeni kulturowej.

Резюме

„Украденный Восток?” Образ вестернизирующейся Польши в эссе Виктора Ерофеева и Анджея Стасюка

Настоящая статья является попыткой компаративистского анализа избранных эссе Виктора Ерофеева и Анджея Стасюка. К факторам, объединяющим творчество авторов, принадлежит изображение Центрально-Восточной Европы в качестве региона, лишаящегося своей подлинной культуры под давлением экспансии западной либеральной демократии. Объединяющаяся Европа оказывается в данном контексте дегуманизированным пространством вынужденного сосуществования, оказавшимся в тупике вследствие гипертрофии политкорректности. Польша кажется в указанных обстоятельствах вполне удовлетворенной ролью периферийного потребителя завоеваний позднего капитализма. Четкую идентичность сохраняет в свою очередь Россия, становящаяся благодаря этому соответствующей точкой наблюдения за вестернизирующимися странами „новой Европы”. Неотъемлемую часть предлагаемого анализа составляет критическая

⁸ Zob. M. Koch, „My” i „Oni”, „Swój” i „Obcy”. *Balkany XX wieku z perspektywy kolonialnej i postkolonialnej*, „Porównania” 2006, nr 6, s. 82.

оценка принятых писателями стратегий конструирования нарратива, свидетельствующих о глубокой связи с собственной культурой и невозможности полностью преодолеть воспроизводимые ей (авто)стереотипы.

Summary

„The stolen East?” The image of Poland being westernized in the essays of Victor Erofeev and Andrzej Stasiuk

The article is an attempt of comparative analysis of selected essays by Victor Erofeev and Andrzej Stasiuk. One of the factors uniting their work is the vision of Central-Eastern Europe as a region which has been losing its genuineness due to the expansion of the Western liberal democracy. In this context the uniting Europe turns out to be a dehumanised space of forced coexistence, having reached a deadlock owing to the hypertrophy of political correctness. In the outlined circumstances Poland seems to be fully content with the role of peripheral consumer of the gains of late capitalism. Meanwhile Russia manages to save a distinctive identity and is thus becoming an appropriate viewpoint on the westernized countries of „the new Europe”. An integral part of the proposed analysis is a critical assessment of the writers’ narrative strategies, that prove a deep connection to the own culture and an inability to completely overcome (auto)stereotypes reproduced by this culture.

Key words: Victor Erofeev, Andrzej Stasiuk, Eastern Europe, westernization, European Identity.

Joanna Wasiluk
Uniwersytet w Białymstoku

**Вобраз селяніна ў паэмах Вінцэся Каратынскага
і Янкі Лучыны
(*Таміла і Паляўнічыя акварэлькі з Палесся*)**

Увага да селяніна, яго проблем актывізуецца ў беларускай літаратуры з пачатку XIX стагоддзя. Просты чалавек пераважна не задумваўся над пытаннямі сваёй нацыянальнай прыналежнасці, сацыяльнага ці палітычнага становішча краю. Аднак сама рэчаіснасць, рух эканамічных фармацый абумоўлівалі зрухі ў грамадскай свядомасці. На жаль, адмена прыгоннага права ў 1861 годзе няшмат змяніла ў лёсе большасці сялян, што абвострана адчувалася лепшымі прадстаўнікамі тагачаснай беларускай інтэлігенцыі, сапраўднымі патрыётамі.

Розніца і падабенства ў тэматычным абсягу, галоўных матывах, урэшце творчым метадамі асэнсавання жыццёвага матэрыялу польска-беларускімі паэтамі Вінцэсем Каратынскім і Янкам Лучынам у значнай ступені вызначаюцца агульнасцю і адрозненнем іх жыццёвых біяграфій. Адзін з паходжання – наднёманскі селянін, другі – інтэлігент, мінчанін, але абодвух іх хваляваў лёс селяніна.

Вінцэс Каратынскі (1831–1891) належыць да нешматлікай кагорты прадстаўнікоў сялянства сярэдзіны XIX стагоддзя, якія шчаслівым збегам абставін мелі магчымасць засвоіць здабыткі элітарнай шляхецкай культуры і стаць вядомымі людзьмі таго часу. Янка Лучына (Ян Неслухоўскі, Іван Неслухоўскі) (1851–1897) паходзіў са старадаўняга шляхецкага роду, атрымаў добрую адукацыю ў Мінску і Пецярбурзе. Абодва пісалі на беларускай і польскай мовах.

У паэме *Таміла* (1858) В. Каратынскі паспрабаваў паказаць уласную версію рэчаіснасці, адрозную ад варыянтаў пісьменнікаў шляхецкага паходжання, у тым у ліку Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. У адрозненне ад В. Дуніна-Марцінкевіча, які ў сваіх творах найперш аптымістычна спадзяецца на паразуменне паміж добрым панам і селянінам, мастацка-эстэтычнае адлюстраванне рэчаіснасці, канцэптуальны погляд на яе ў В. Каратынскага

вельмі песімістычныя. У наднёманскага паэта няма асветніцкіх ілюзій, уласцівых В. Дуніну-Марцінкевічу, ў дарэформеннай творчасці якога прасочваецца вернасць асветніцкім канонам.

Эмацыянальным штуршком для напісання *Тамілы*, відаць, было пачуццё пратэсту супраць агульнапрынятага і непрымаемага Каратынскім стаўлення да сялянства. Можна меркаваць, што Каратынскі імкнуўся паказаць абразок з народнага жыцця як своеасаблівую ілюстрацыю да ўласных эстэтычных поглядаў. Ён лічыў, што „творчасць – гэта лінза, што кандэнсуе промні думак сучаснага яму свету”¹. Галоўны герой паэмы мае ўласнае імя і з’яўляецца прадстаўніком пэўнага, сялянскага саслоўя. У вобразе селяніна Тамілы паэт раскрывае вобраз беларуса дарэформеннага часу, працавітага гаспадара, маральна трывалага чалавека, вартага лепшай долі. Аднак, загнаны ў кут несправядлівасцю, пазбаўлены волі, галоўны герой выступае ў якасці ахвяры неспрыяльных абставін, як бесхарактарная асоба.

Пачатак паэмы арганізуецца радасцю і светлай тугой лірычнага героя пры вяртанні ў родныя мясціны. „Дзякаваць Богу! Хоць клопат вярэдзіць,/ Ды я ўсё ж вярнуўся да ніў прадзядоўскіх” (115). Вітаецца ён шчыра з Нёманам – сваім сябрам ад маленства, прынёманскай вёскай, з зялёнымі нівамі. Свет не змяніўся, вёска, як і раней, „зрошвае потам надзеі палоскі, а зло не знікае [...]”. Як зло акрэсліваюцца сацыяльная несправядлівасць, здзек над чалавекам працы, вечны голад:

Голад спрадвеку,
З якім тут цяпліва абвыкліся знацца,
І розум, і сілы, і цягу да працы –
Усё адбіраў пакрыху ў чалавеку. (121)

Гнецца як і раней „над плугам мужых гэтаксама” (115). Лірычны герой бачыць знаёмыя дрэвы, буслянкі, крынічку, але ўжо „другая па воду збягае дзяўчына”, „равеснікаў многіх зямліца пакрыла” (116). Таміла адзначае, што сяляне ўвесь час спадзяюцца на паляпшэнне свайго становішча, высільваючыся на полі:

Тую ж тут сеюць надзею на ўдачу,
А жнуць, як і некалі, марнасць надзеі. (117)

¹ В. Каратынскі, *Творы*, укл. прад. У. Мархеля, Мінск 1994, с. 177. Далей пры спасылцы на гэтае выданне ў дужках падаецца старонка.

І ўрэшце даводзіцца ім „посціць сем пятніц на тыдні” (121), але гэта не дэфармуе іх пашанотных адносін да зямлі, да хлебаробчай працы:

Спакой табе, праца, мазолі цяжкія!
Спакой табе, ніва, загон узараны!
Спакой у імя ўсеагульнай пашаны. (117)

Таміла адчувае сваю сыноўнюю зрошчанасць з неўраджайнай роднай зямлёй, што выяўляецца ў разгорнутай метафары:

На лобе маім рала здоўжаных летаў
Барозны кладзе, як на ваших прасторах. (115)

Пасля лірычнага зачыну паэт знаёміць чытача з галоўным героем паэмы. Вось стары Таміла, насунуўшы „на вушы шапку з аўчыны,/ дзіравую світку на спіну” (120), арэ, сее поле. Падганяе спрацаванага, стомленага, як і сам, каня. Ён шчыра спачувае жывёліне:

Жвавей жа, Пярэсты, мой конік адданы!
Закончым араць, адпачнем абое,
Тады напаю ўжо крынічнай вадою
І сенам цябе накармлю я духмяным. (119)

Год выдаўся неўраджайным. Стары пазычыў вясною ў пана насенне, а восенню разлічыцца няма чым. Таміла пахаваў сына і жонку і застаўся на старасці з клопатам пра малалетніх унукаў. Няшчасці сыплюцца на старога адно за другім, выйсця ён не знаходзіць. Некалі ж Таміла быў першым гаспадаром у ваколіцы, яго багаццю зайздросцілі, шапталіся, што ён чароўнік. Пісьменнік паказвае ненадзейнасць, крохкасць сялянскага шчасця. Ад былога заможжа ў селяніна не засталася нічога.

З унукамі беднасць прыйшла на астатак,
Расселася ў хаце і з’ела ўсё сора:

Гумно як падмецена, пуста ў каморы
І хлеба апошні ўжо бохан пачаты;
Сабака, і кот, і Пярэсты, вядома –
Увесь твой набытак. (120)

Дастатак і гаспадарка сплылі, як яго маладосць і сіла, але ж не прагуляў іх Таміла. Нават пан у час размовы з селянінам адзначае, што той

„працуе крывава, як вол у ярме”, што „не траціць налева, направа” (129). Але Тамілу няма чым плаціць, няма чаго везці ў горад на продаж. Па загаду пана яму трэба прадаць каня. Будуць грошы аддаць доўг і пракарміцца да вясны. Слёзы наплываюць на яго вочы, калі ён думае пра сваю апошнюю надзею – коніка. Сляза – кроў душы ад цярных калючак. Таміла просіць літасці ў пана: ідзе зіма, не будзе чым дроў прывезці дахаты, вясною не будзе як працаваць на полі і памруць яго маленькія ўнукі з голаду. Але пан з усмешкай адказвае, што „ў жылах у хлопа/ агню ёсць нямала” (129). Нездарма Таміла яшчэ ў хаце вельмі перажывае сустрэчу з панам. Сама думка аб спатканні будзіць у ім прадчуванні аб ліхім: „здранцвеў неяк, распаччу скуты,/ Знявага душы або целу пакуты”. Хаця гаварылі, што цяперашні пан не такі сярдзіты, „ды памяць пра злое – то ж памяць на векі!” (124).

Таміла сваё бядотнае жыццё тлумачыць лёсам, вышэйшай прадвызначанасцю, з чым змагацца немагчыма. Вярнуўшыся ад пана з расэннем прадаць каня, ён „доўга стаяў утрапёны, без думкі, без плачу” (130). Цярпліва зносячы ўдары лёсу, селянін можа наракаць толькі на долю:

Ох, долечка ж наша, адкуль ты паслана?
І пану пакрыўдзіць мяне нецікава,
І ў вёсцы шкадуюць усе маіх дзетак;
Здаецца, працую – з-пад рук уцякае...
Ды што тут чыніць, калі суджана гэтак. (130)

Свае стасункі ў аўтара паэмы і з Богам. Яго герой – веруючы чалавек, дзякуе Богу, моліцца яму, часта хрысціцца, „як маці наўчала яго шчэ малога” (123). Таміла не ставіць пад сумненне парадкі на свеце: „Ці ж гэта папраўдзе патрэбна ўсё Богу? Не нам дапытацца...” (130). Аўтар жа паказвае, што боскай воляй тлумачыць свае няшчасці як Таміла, так і пан, калі адмаўляе скрыўджанаму жыццём селяніну. „Ды цяжка змяніць, што назначана... Богам” (129), – гаворыць ён у сваё апраўданне.

Горад агаломшыў старога, чалавечы натоўп „папхнуў, закружыў і панёс яго ў тлуме”. На гэты тлум і мітусню са стромай гары горада пазірае замак з Міндоўгавай вежай, які многа пабачыў на сваім вяку. Ён памятае мінуўшчыну. Сучаснасць, у параўнанні з ёй, здрабнела і змізарнела. Селяніну горад атаясамліваецца з амаральнасцю, п’янствам: „карчомкі часцей, а крыжы парадзелі” (135), здэкам:

Едзе цівун, што пачаў ад'ядацца,
Ці пан аканом, што ніяк не ад'есца,
Ці добра-такі ўжо ад'еты пан радца. (135)

В. Каратынскі паказвае, што простыя людзі са страху перад уладай ставяць Бога і пана побач. Не адрозніваюць вышыні і значэння Госпада ад фігуры пана:

Панок або крыжок – а люд утрапёны
Аднолькава нізка схіляе галовы
І адбівае пакорна паклоны
Прад панам сусвету і панам вясковым. (135)

Старому селяніну яго конік, безадказны памочнік і таварыш, сведка ўсіх няшчасцяў, што абрынуліся ў апошнія гады на яго, здаецца бяспечным („золатам можна асыпаць такога” [140]). Аднак пакупнікі і проста глядачы „знаходзяць не вартасці – бачаць заганы” (140) каня. Урэшце Таміла прадаў Пярэстага цыганам, а на заканчэнне ў карчме папалам па закону быў выпіты барыш. Наіўнага, п'янага селяніна абакралі. Тамілу няма з чым вяртацца дамоў, дзе чакаюць галодныя ўнукі.

У многіх аўтарскіх адступленнях таксама гучыць думка пра наканаванасць лёсу, пра спрадвечную несправядлівасць на зямлі, і вывад, што „свет на асновах сваіх пахіснуты” (118). Шляхоў, каб змяніць становішча народа, В. Каратынскі не бачыў, таму столькі скрухі і гаркоты ў яго разважаннях пра жыццё чалавека працы:

Свіццяца аконцы, як воўчыя вочы,
Чорнае вёскі, як лес яе чорны,
У хатках прыгорбленых, цемрай засланых,
Нахіленых долу маўкліва, пакорна,
Як спіны сялян перад воблікам пана
І думкі зацягвае цемра такая ж [...]. (121)

Пачуцці сялян, схаваныя ад чужога, параўноўваюцца В. Каратынскім у паэме з конікам, шчасліва ўкрытым ў траве. Аўтар гаворыць:

Не раз зняважаныя крыўдаю злою,
Яны пацішэлі пад дошкай грудною. (131)

Так, просты народ прывык да несправядлівасці і здзерства. Лепш цішэй сядзец у сваёй гнілай хаце, чым голасна дамагацца лепшай будучыні:

Добра б, каб мы ўсе аглухлі, аслеплі,
Бо чорт які ўчуе, з даносам папрэцца. (149)

Страх перад панамі адбірае ў сялян надзею на годнае і справядлівае жыццё.

Трагічны лёс Тамілы паказаны праз вяртанне ў мінулае краіны (апавед пра разбурэнне татарамі касцёла і гераічную перамогу хрысціян [126]), праз зварот да народных паданняў беларусаў (пра пачвару-кабету [152], пра старога чараўніка [157]), да прытчаў (пра мучэнне ката [122]), а таксама праз маральнасць беларускага народнага светабачання. Як паэт-селянін, Каратынскі добра ведаў рэальнае жыццё прыгоннай вёскі, але ў творчасці ён так ці інакш мусіў арыентавацца на літаратурныя густы адукаванай шляхецкай аўдыторыі. Такая дваістасць падказвала неабходнасць выпрацоўкі пэўнага спосабу выказвання. Каратынскі спачуваў свайму герою – Таміле, перажываў разам з ім нястачы і безвыходнасць. Але разам з тым „прымушаў яго прайсці праз ланцуг фатальных выпрабаванняў”². „Як ніхто з сучаснікаў, – заўважае даследчык Ігар Запрудскі, – ён адлюстравваў сялянскае жыццё, якое ведаў не ў знешніх праявах, а ва ўнутранай сутнасці, спазнанай на ўласным вопыце”³.

Вялікую ролю ў стварэнні вобраза беларуса, акрэсліванні нацыянальных рысаў яго характару напрыканцы XIX стагоддзя адыграў Янка Лучына. Зварот пісьменнікаў канца XIX стагоддзя да вобраза селяніна быў абумоўлены не толькі патрэбай часу, але, як гэта відаць і ў паэзіі Я. Лучыны, захапленнем творчасцю папярэднікаў. Менавіта творчасць лірніка вясковага Уладзіслава Сыракомлі была вельмі блізкай сэрцу як Янкі Лучыны, так і Вінцэся Каратынскага. Лірнік вясковы, як адзначае У. Мархель, „імкнуўся паказаць высокія маральныя якасці простага чалавека, апяваў яго сумленнасць і дабрыню, мудрасць і спагадлівасць, схіляў чытача да думкі, што сапраўдная высакароднасць уласціва якраз простанароддзю, а ў паноў яна ўяўная, і ставіў тым самым пытанне аб правах абяздоленых на роўнасць і зямное шчасце”⁴.

² І. Запрудскі, *Стратэгія ўзаемадзеяння аўтар-чытач у творчай спадчыне В. Каратынскага*, [у:] *Вінцэсь Каратынскі ў беларуска-славянскім літаратурным узаемадзеянні*, с. 118.

³ Ibidem, с. 119.

⁴ У. Мархель, *Творчасць Уладзіслава Сыракомлі*, Мінск 2005, с. 47–48.

Найзначным творам Я. Лучыны з'яўляецца польскамоўная паэма *Паляўнічыя акварэльні з Палесса*, якая цалкам адпавядае беларускаму культурнаму канону. У творы расказваецца пра жыццё і побыт беларускага народа, а галоўным героем яе з'яўляецца просты беларускі селянін, ляснік Грышка, які ўсімі сваімі клопатамі і справамі непарыўна звязаны з роднай зямлёй і акаляючай прыродай. Я. Лучына багата карыстаецца ў творы беларускай гаворкай, лексікай і фразеалогіяй.

У вобразе лясніка Грышкі паэт раскрывае жывы нацыянальны характар беларуса, чалавека разумнага, па-народнаму вынаходлівага. Так, у адзін момант ён стварае з кавалка бярозы клічку на ласёў. У лясной пушчы Грышка адчувае сябе як у сваёй хаце. Прырода і звычаі, звязаныя з паляваннем, паказаны ў розныя поры года як, напрыклад, на куццю. Стары паляўнічы дасканала ведае кожную мясціну, звычкі звяроў і птушак, уважлівы да кожнага руху і гуку прыроды.

Я. Лучына адзін з першых у новай беларускай літаратуры ў такой ступені апаэтызаваў прыгажосць роднай прыроды:

Прыгожы, некрануты край перада мною,
Чарот бязмежны, пушча з сіняй глыбінёю,
Дзе хвой выносістых завершаны стажок,
Як галаву, траха пасерабрыў сняжок. (40)

У паэме Я. Лучыны лес-аазіс⁵ мае такую самую вартасць для беларускага селяніна як зямля ў творы В. Каратынскага. Для Грышкі прырода з'яўляецца „ідэалам гармоніі, як існасць быцця”⁶, хаця варта ўзгадаць, што і ў *Таміле* прырода называецца роднай маці⁷. Палеская пушча выяўляе жывую, духоўную існасць прыроды. Яна ў сваёй шматстайнасці набывае эстэтычную каштоўнасць, ачышчае і ўзвышае чалавека:

Як сэрца раптам цяжкай сціснецца тугой,
Яго сучешыць пушчы шум над галавой. (81)

Стары Грышка не хоча мірыцца з новымі парадкамі: чаму праз яго роднае Палессе будзе праведзена чыгунка?! Ён баіцца, што знішчыцца цудоўная палеская прырода, знікне звер, „памрэ павольным сконам зубра

⁵ G. Górski, *Narracja w „Akwarelkach myśliwskich z Polesia” Jana Niesłuchowskiego*, „Acta Albaruthenica. Literatura, język, kultura: tradycje i współczesność”, Warszawa 2011, nr 11, s. 71.

⁶ Л. Уладыкоўская-Канаплянік, *Акварэлі любові*, Мінск 2000, с. 105.

⁷ В. Каратынскі, *Творы*, укл. прад. У. Мархеля, с. 131.

ў Белавежы” (37), а таксама згінуць на Палессі „памяткі князеў, тых Рурыка нашчадкаў” (37).

Стары адчувае, што змяняюцца і адносіны паміж людзьмі, якія раней жылі згодна з прыродай, з народнымі звычаямі і абрадамі. Я. Лучына, як і жыхары не толькі Палесся, але і цэлай Беларусі, балюча ўсведамляў няўхільнае разбурэнне адвечных беларускіх традыцый, аднак перамены немагчыма было затрымаць.

Прызнанне паэта, што сюжэт паэмы быў узяты з яго ўласных назіранняў, сведчыць пра аўтабіяграфічнасць твора. Магчыма, у вобразе паніча, які ходзіць з ахвотай на паляванне з лесніком, увасоблены сам паэт. На летнія і зімовыя канікулы студэнт І. Неслухоўскі заўсёды прыязджаў да бацькоў – у Менск ці Мархачоўшчыну, тую самую, якую раней, яшчэ ў 30-я гады, арандаваў бацька У. Сыракомлі. Апрача палявання Лучыну цікавіла таксама рыбалка. У паэме ён стварыў чудоўную карціну, у якой паяднаны і грэчаская міфалогія, і еўрапейская культура, і народны фальклор:

З лучынай яснаю на чоўне калыўным,
Нібы Нептун з трыzubам, з восценом даўгім
Плыве адважны сын Палесся, вёскі ўбогай,
Не ўвекавечыў пэндзаль Рэмбранта такога,
У мроку пры святле лучыны век-вяком
Здаецца духам чалавек, вадзяніком. (58)

Я. Лучына падкрэсліваў у лістах да Зянона Пшасмыцкага, што яго *Акварэлькі* былі не вынікам фантазіі, а тварыліся ў адпаведнасці з жыццёвай праўдаю: „яны арыгінальныя і праўдзівыя, як фатаграфія, бо спісаны яны з сапраўдных факцікаў” (183). Пейзаж і этнаграфічныя дэталі побыту простых людзей, а таксама паказ галоўнага героя ў розных абставінах пацвярджаюць, „што ў адлюстраванні жыццёвых з’яў Лучына не адрываўся ад рэальнай глебы і што ў самім характары выбару матэрыялу з рэчаіснасці, самой манеры падачы вобразных малюнкаў ён прытрымліваўся ў *Паляўнічых акварэльках* рэалістычнага спосабу ўзнаўлення пазнаных ім бакоў жыцця Беларусі⁸. Абодва пісьменнікі карысталіся рэалістычным падыходам да рэчаіснасці і тым самым паказалі іншыя вобразы сялян, адпаведныя перыяду жыцця аўтараў – селяніна сярэдзіны і канца XIX стагоддзя.

⁸ У. Мархель, *Крыніцы памяці*, Мінск 1990, с. 163.

У характары і паводзінах старога паляўнічага прывабліваюць высокая маральнасць, сумленнасць і спагадлівасць. Грышка – гэта ўжо чалавек з пачуццём уласнай годнасці. Ён часта дакарае маладога паніча, які, на яго думку, не адпаведна паводзіць сябе ў пушчы. Такім чынам, Лучынаў герой мае ўжо адвагу навучаць панскае дзіця, не баіцца глянуць яму проста ў вочы. Ён вучыць паніча любіць усё жывое, не забіраць без патрэбы нічыё жыццё (*раздзел Першае маё паляванне на ласёў*), паважаць хлеб і даражыць ім (*раздзел Голад*). Што ж тычыцца палявання, то тут стары Грышка ўвогуле непераўзыходны знаўца. Паніч згаджаецца са старым, што ў лапцях латвей хадзіць па снезе, што нельга курыць у лесе, бо звер адыдзе, калі пачуе непрыемны пах. Ляснік вучыць гарадскога хлопца быць цярплівым, паслядоўным у выкананні сваіх намераў. Пры тым Лучынаў селянін мае адвагу таксама спагадліва падсмейвацца над панічом, калі той не патрапіць ціха захоўвацца ў лесе і ўпускае звера:

Ласі не верабейкі, паўтару шчэ раз,
Ад сораму згарэць, як уцякуць з-пад носу.
А Божа ж мой! Паніч якую стрэльбу носіць!
Цьфу! З руляў нешта сыплецца, пабач, само. (39)

Нельга рвацца наперад, не ведаючы, што там чакае: „Поспех людзям на смех” (40) – вучыць стары паляўнічы. Грышка адважна, не так як паніч „Дрыжэў увесць, нібы кісель аўсяны” (53), раіць шляхце і службоўцам слухаць яго і бярэ на сябе ролю кіраўніка аблавай на ваўкоў. Селянін стаіць на нагах упэўнена, цвёрда, з узнесенай высока галавой. Стары ўспамінае таксама калі-нікалі ранейшыя часы, калі просты чалавек быў прыніжаным слугой пана, які адбіраў у яго апошні кавалак хлеба. На зыходзе стагоддзя характар беларускага селяніна прыкметна эвалюцыяніруе.

Я. Лучына стварае рэалістычны вобраз беларускага селяніна канца XIX стагоддзя, мудрага, настойлівага, але і з уласцівымі яму слабасцямі. Ідучы на паляванне, стары заклапочаны, каб толькі не сустрэцца з жанчынай, што абазначае няўдачу на паляванні: „Не стрэлі бабы – удача будзе адмысловай” (39). Ён не любіць гаварыць пра злых духаў і д’яблікаў, якія жывуць у пушчы і дакарае пана, які, ведаючы пра гэту слабасць Грышкі, падбівае яго на такія размовы. Людзі, выхаваныя ў гарадах, не вераць у прыкметы і магічную сілу з’яў прыроды. Стары зазначае, што можа ў горадзе людзі і мудрэйшыя, але толькі тут, на вёсцы, чалавек адчувае сябе вольным, жывейшым і шчаслівейшым. Вера ў прыкметы ніяк не перашкаджае Грышку цвяроза і крытычна думаць і адпаведна паводзіць

сябе ў жыцці. На паляванні ён разлічвае не на добрых або злых духаў, а толькі на ўласную кемлівасць і вынаходлівасць, а часам і сілу. У многіх эпізодах мы бачым Грышку як сапраўднага чалавека-асілка, моцнага не толькі фізічна, але і сваёй народнай мудрасцю, разважлівасцю, вопытам. Паэт скіроўвае галоўную ўвагу чытача на душэўны стан селяніна Грышкі. Ён, нягледзячы на сваю пэўную ўжо нямогласць, звязаную са старасцю, здолеў высачыць і забіць велізарнага мядзведзя, які прыносіць шкоду аднавяскоўцам. Гэта справа яго гонару і абавязку, гэта ўрэшце магчымасць сцвердзіць сябе.

Аналізуючы *Паляўнічыя акварэлі з Палесся*, Л. Уладыкоўская-Канаплянік адзначае: „Нацыянальны светапогляд выявіў сябе праз увасабленне ў мастацкіх вобразах беларускага нацыянальнага светаадчування, светабачання, светаразумення – праз той глыбокі грунт нацыянальнага светапогляду, які цяжка знішчаецца стагоддзямі”⁹. Вобразам Грышкі Лучына ўзнёс хвалу чалавеку-працаўніку, апаэтызаваў яго сілу і душэўную прыгажосць. Я. Лучына супастаўляе беларускага мужыка з антычнымі, традыцыйна высокімі персанажамі як роўнага з роўнымі:

Я дзёрся праз кусты, разносіліся ўдары,
Яшчэ нябожчыка [ваўка] ўсё Грышка кіем жарыў,
Чыніў з ахвяры здзек, як анямеў быў лес,
Як з трупа Гектара калісыці Ахілес. (50)

Паэт не толькі паказаў таленавітага, сціплага, мужа, цяроўнага чалавека, а зрабіў з яго сапраўднага героя канца XIX стагоддзя – апаэтызаваў беларускага селяніна.

Грышка ўздываецца над героямі іншых твораў свайго часу шырынёй бачання рэчаіснасці, імкненнем спасцігнуць змены ў жыцці народа. Стары бачыць, што, дзе раней была аблога, разлеглася поле, гатовае да сяўбы, высушана балота, на якім расце буйная трава. Але цяжка яму пагадзіцца з новым краявідам, хоць і адчувае, што змены абавязковыя, непазбежныя. Праз некалькіх гадоў паніч прыязджае на Палессе і бачыць, што спраўджаюцца песімістычныя прадказанні старога паляўнічага. Прыгажосць прыроднага свету неразумна нішчыцца, багачце спусташаецца – над усім пануюць голы разлік і карысць. Апавядальнік-паніч вымушаны прызнаць:

⁹ Л. Уладыкоўская-Канаплянік, *Акварэлі любові*, с. 53.

Ды што такое?... дзе лясы? Ці ж край той самы?
Хіба абшар вось той, пустэльна тая з пнямі
І ёсць Кругліца, дзе быў птушак спеў наўкол?...
Бярозы дзе шумелі, хвоі і асіны? (77)

Апошняе спатканне старога Грышкі і яго любімага паніча выклікае сум, але і роздум над будучыняй Палесся-Беларусі. Яны пры сваіх сустрэчах вучыліся адзін ад другога: стары, расказваючы, вучыў паніча любіць родны край, яго прыроду, шанаванне людзей працы, звычаі і абрады, яго „прыяціч” (78) паказваў яму ролю прагрэсу і навукі ў дасягненні лепшага, шчаслівейшага жыцця: „Абы нашчадак працавіты быў, сумленны” (80). Урэшце Грышка ў канцы паэмы паказваецца чалавекам, які разумее неабходнасць навукі, ведаў у жыцці народа, які з гэтым звязвае шчаслівую будучыню сваіх унукаў-беларусаў.

Творчасць Я. Лучыны сваімі тэмамі і вобразамі адлюстравала ментальнасць беларускага народа на мяжы стагоддзяў. Паэт, мабыць, разумеў, што нацыянальны характар беларуса раскрываецца не толькі праз этнаграфічна-бытавую сферу яго жыцця, але ў першую чаргу – праз паказ яго ўнутранага свету, успрымання рэчаіснасці.

Паляўнічыя акварэلكі з Палесся Я. Лучыны, „сагу аб беларусах як свабодалюбівым і цяплівым народзе”¹⁰, многія даследчыкі ставяць у адзін рад з выдатнымі творамі пра беларускі край і яго жыхараў: рэнесансавай *Песняй пра зубра* Міколы Гусоўскага і эпапеяй першай паловы XIX стагоддзя *Пан Тадэвуш* Адама Міцкевіча.

Дзевятнацатае стагоддзе з’яўляецца для беларускай літаратуры перыядам узнікнення і фарміравання беларускай нацыянальнай ідэі, стварэння нацыянальнага характару беларуса. Характару, які традыцыйна атаясамліваўся і творча адлюстроўваўся дзякуючы вобразу селяніна, як творцы ўсяго нацыянальнага. Сапраўды, галоўным героем беларускай літаратуры ў XIX стагоддзі быў просты селянін. Галоўная заслуга творцаў гэтага перыяду заключалася ў тым, што яны з пачуццём вялікай адказнасці за будучыню народа ўздымалі ў сваёй творчасці праблему сацыяльнай несправядлівасці і адначасова выступалі супраць нацыянальнага прыгнёту беларускага народа. Менавіта „specyficzne odbicie w literaturze mentalności chłopskiej przyniosło w rezultacie i te elementy historycznie ukształtowane,

¹⁰ Ibidem, s. 52.

które potwierdzały stopniowe dochodzenie chłopstwa do rozumienia spraw narodowych i potwierdzenia własnej odrębności społecznej”¹¹.

„Chłopstwo, – сцвярджае Юзаф Хлябоўчык, – to potencjalna baza społeczna procesu narodotwórczego”¹². Паэты В. Каратынскі і Я. Лучына бачылі ў сялянах прыхаваную мужнасць і ўнутраную прыгажосць. Яны імкнуліся высветліць маральныя якасці чалавека працы, узвысіць яго сумленнасць і працавітасць, паказаць, што праўдзiвай высакароднасцю надзелены якраз просты народ, які таксама заслугоўвае зямнога шчасця. Творчы метады абодвух паэтаў, адпаведна селяніна і інтэлігента, быў бліскі рэалістычнаму асэнсаванню рэчаіснасці.

Streszczenie

Obraz chłopa w poematach Wincentego Korotyńskiego i Janki Łuczyny („Tomilo” i „Akwarelki myśliwskie z Polesia”)

Głównymi bohaterami dzieł Wincentego Korotyńskiego i Janki Łuczyny byli ludzie prości, chłopcy – twórcy i nosiciele podstawowych pierwiastków narodowych. Ludzie prości posługiwali się językiem białoruskim, kultywowali zwyczaje i obrzędy przodków, na co dzień korzystali z mądrości ludowych, zaczerpniętych z folkloru. Korotyński w poemacie *Tomilo* dążył do ukazania mentalności tych ludzi i stawiał w ich obronie. Łuczyna w utworze *Akwarelki myśliwskie z Polesia* ukazał pozytywny wizerunek Białorusina schyłku XIX, określił cechy narodowe jego charakteru. Wgłębiając się w duszę prostego człowieka, jego świat wewnętrzny, mówiąc o jego przeżyciach, uczuciach i zmartwieniach, poeta poruszał w swoich utworach problemy społeczno-narodowe.

Obaj pisarze, przedstawiając w poematach różne oblicza chłopcy białoruskiego, byli bliscy realistycznego ukazania jego rzeczywistości.

Summary

The image of peasant in poems of Wincenty Korotyński and Janka Łuczyna („Tomilo” i „Akwarelki myśliwskie z Polesia”)

The main heroes of Wincenty Korotyński and Janka Łuczyna's works were simple people, peasants – authors and bearers of main national elements. Just these people spoke Belorussian, they cultivated customs and rituals of their ancestors. They used folk-wisdom in their everyday life. W. Korotyński in *Tomilo* aspired to show mentality of working people, who also deserved for better lot. J. Łuczyna in *Akwarelki myśliwskie z Polesia* showed positive image of Byelorussian people of decline of XIX century, determined national features of their character. Delving in a simple man's soul, his internal world, saying about his experience, feelings and troubles the poet showed social and national problems in his works.

Both writers were close to realistic showing the reality, but they showed different faces of byelorussian peasant in their works of the middle and end of XIX century.

Key words: Byelarusian literature of XIX century, realism, picture of the Byelarusian people, byelorussian peasant, poems of XIX century.

Spis treści

Od Redaktora	3
--------------------	---

Językoznawstwo

Aigul Bahanova, Lyudmila Kilevaya (Ałmata), <i>Вербализация каритивной семантики в русском и польском экономическом дискурсе</i>	7
Kamil Dwornik (Warszawa), <i>Stanowisko ks. Josyfa Łewyckiego (1801–1860) w sporze o alfabet języka ruskiego (ukraińskiego) w Galicji w latach 30. i 40. XIX wieku</i>	17
Magdalena Jeż (Warszawa), <i>Фразеологізми з числовим компонентом в українській та польській мовах</i>	27
Łukasz Malecki (Poznań), <i>Definicja kognitywna jako narzędzie opisu emocji negatywnych w językach rosyjskim i ukraińskim (na przykładzie emocji strachu)</i>	39
Michał Mordań (Białystok), <i>Czy nadawane współcześnie „stare” imiona prawosławne zawsze są zamierzonym przejawem powrotu do tradycji?</i>	51
Teresa Pluskota (Bydgoszcz), <i>Nazwy zawodów oraz stanowisk świeckich i kościelnych w toponimach dzierzawczych na dawnych Kresach południowo-wschodnich w wiekach XVI–XIX</i>	67
Anna Rudyk (Rzeszów), <i>Rosyjskie odpowiedniki przekładowe polskiego predykatywu „trzeba”</i>	77
Andrzej Sitarski (Poznań), <i>Атрибутивные коллокации, как источник языковой экспликации концепта „любовь” в русском лингвокультурологическом пространстве</i>	89
Wanda Stec (Gdańsk), <i>Metafora w nazewnictwie roślinnym: polskie i rosyjskie nazwy roślin leczniczych motywowane nazwami ze świata zwierząt</i>	99

Literaturoznawstwo

Irena Betko (Olsztyn), <i>Дослідження творчості Лесі Українки в Польщі: вибрані сторінки історії (З нагоди 100-ої річниці смерті письменниці)</i>	119
Jolanta Brzykcy (Toruń), <i>„Królewska дума z wielkiej niepomyślności”. Doświadczenie emigracji w poetyckiej perspektywie Lwa Gomołickiego</i>	133
Marcin Cybulski (Lublin), <i>Polscy księża zesłańcy postyczniowi o Rosji</i>	145
Monika Grącka (Warszawa), <i>Myśl narodnicka a polski ruch niepodległościowy. Powstanie styczniowe w prozie Nikołaja N. Złatowratskiego</i>	161
Zbigniew Kaźmierczyk (Gdańsk), <i>Wschodnia świadomość zła według Miłosza</i>	175
Andrzej Ksenicz (Zielona Góra), <i>Jerzy Harasymowicz – poeta pogranicza</i>	185
Liudmila Macapura (Chersoń), <i>Сборник рассказов „Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических повествованиях” Яна Барцевского в контексте русской готической прозы</i>	195
Oksana Malcewa (Kaliningrad), <i>Шекспир, Шопен, Рембрандт и другие: Концепция гения в христианской парадигме Бориса Пастернака</i>	205
Maria Mocarz-Kleindienst (Lublin), <i>Inność kulturowa w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego i ich rosyjskich przekładach</i>	217
Iwona Anna NDiaye (Olsztyn), <i>Koncept „śmierć” w poezji emigracyjnej Nadiězdy Teffi</i>	225

Wiera Occheli (Kutaisi), <i>К вопросу о „посредничестве” русской литературы в развитии польско-грузинских литературных связей</i>	237
Joanna Piotrowska (Warszawa), <i>Уход Льва Толстого (1910) в оценке русской и польской прессы</i>	247
Monika Sidor (Lublin), <i>Obcy i swoi. Polacy w cyklu „Czerwone Koło” Aleksandra Solżenicyna</i>	257
Anna Strykowska (Poznań), <i>„Wschód porwany?” Obraz westernizującej się Polski w eseistyce Wiktora Jerofiejewa i Andrzeja Stasiuka</i>	269
Joanna Wasiluk (Białystok), <i>Вобраз селяніна ў паэмах Вінцэся Каратынскага і Янкі Лучыны („Таміла” і „Паляўнічыя акварэльні з Палесся”)</i>	281

Contents

From the Editor	7
-----------------------	---

Linguistics

Aigul Bahanova, Lyudmila Kilevaya (Ałmata), <i>The verbalization of karitive semantic in Russian and English economic discourse</i>	17
Kamil Dwornik (Warszawa), <i>Position of father Josyf Levytskyi (1807–1860) in the „alphabet war” of Ruthenian (Ukrainian) language in Austrian Galicia in 30s and 40s of 19th century</i>	27
Magdalena Jeż (Warszawa), <i>Semantic peculiarities of phraseological units with the numeral component in Ukrainian and Polish languages</i>	39
Łukasz Małecki (Poznań), <i>The cognitive definition as a tool for describing negative emotions in the Russian and Ukrainian languages (on the example of fear)</i>	39
Michał Mordań (Białystok), <i>Old-style Orthodox first names given in modern times – do they always reflect an intentional return to tradition?</i>	51
Teresa Pluskota (Bydgoszcz), <i>Names of professions and positions of secular and ecclesiastical possessive toponyms in the former south-eastern borderlands in the 16th–19th century</i>	67
Anna Rudyk (Rzeszyw), <i>The Russian textual equivalents of the Polish modal predicative „trzeba”</i>	77
Andrzej Sitarski (Poznań), <i>Attributive collocations as a source of linguistic explication of the concept „love” in Russian linguistic and cultural space</i>	89
Wanda Stec (Gdańsk), <i>Metaphor in the linguistic nomination of plants: Polish and Russian names of medicinal plants conveying animal-related metaphor</i>	99

Study od Literature

Irena Betko (Olsztyn), <i>Researches of Lesia Ukrainka’s literary works in Polish: chosen problems (In 100-th anniversary of writer’s death)</i>	119
Jolanta Brzykcy (Toruń), <i>„The royal pride in great distress”. The experience of emigration in Leo Gomolitzky’s poetic perspective</i>	133
Marcin Cybulski (Lublin), <i>Polish priests-exiles about Russia (after the January Uprising)</i>	143
Monika Grącka (Warszawa), <i>The Narodnik Social Ideal in Comparison with the Polish Struggle for the National Liberation. Nikolaj N. Zlatovratskij’s Fiction</i>	161
Zbigniew Kaźmierczyk (Gdańsk), <i>The eastern awareness of evil according to Miłosz</i>	175
Andrzej Ksenicz (Zielona Góra), <i>Jerzy Harasymowicz – poet boundary</i>	185
Liudmila Macapura (Kherson), <i>Collection of stories „Nobleman Zawalnia, or Belarus in Fantastic Stories” by Jan Barszczewski in the context of Russian gothic prose</i>	195
Oksana Malcewa (Kaliningrad), <i>Shakespeare, Chopin, Rembrandt and Others: Conception of Genius in the Christian Paradigm of Boris Pasternak</i>	205
Maria Mocarz-Kleindienst (Lublin), <i>Cultural otherness in Ryszard Kapuściński’s reportages and their Russian translations</i>	217
Iwona Anna NDiaye (Olsztyn), <i>Concept of „death” in the lyrics of Nadezhda Teffi</i>	225

Wiera Occheli (Kutaisi), <i>Mediating function of Russian literature in the development of the Polish-Georgian literary relations</i>	237
Joanna Piotrowska (Warszawa), <i>Leo Tolstoy's escape (1910) in the opinion of Russian and Polish press</i>	247
Monika Sidor (Lublin), <i>Strangers and own people. Poles in the „The Red Wheel” cycle by Alexandr Solzhenitsyn</i>	257
Anna Strykowska (Poznań), <i>„The stolen East?” The image of Poland being westernized in the essays of Victor Erofeev and Andrzej Stasiuk</i>	269
Joanna Wasiluk (Białystok), <i>The image of peasant in poems of Wincenty Korotyński and Janka Łuczyna („Tomilo” i „Akwarelki myśliwskie z Polesia”)</i>	281